



ЮНОСТЬ

12

1966



В. ПЕРЕЯСЛАВЕЦ,
военный художник
студии имени М. В. Грекова.

Народ Вьетнама в борьбе. (Правая часть диптиха).



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ

ДЕКАБРЬ

1966

12

[139]

ГОДИЗДАНИЯ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПОЭЗИЯ

- Расул ГАМЗАТОВ. Граница. Голова Хаджи-Мурата. Про сокола с бубенцами. В зеленом, желтом и багряном. Воспоминания. Песня молодых. Перевод с аварского Якова Козловского 2
- Юлия ДРУНИНА: «...И если захочу я щегольнуть...», «Мысль странная мне, в голову запала...». Успех 4
- Анатолий ПРЕЛОВСКИЙ. У моря. Птица. Конь. Наука. 27
- Натан ЗЛОТНИКОВ. «Волна открытая, нагая...» «Ополченцы!..» «Не знаю, долго ли я спал...» «Звезда стоит одна над нашим домом...» После грозы. «Даленой осени черты...» «Войду без стука...» «Обыденное не запоминая...» «Ваше грустное молчанье...» 28
- Анисим КРОНГАУЗ. «Мы все себе нажемся больше...» Притча. Конец 30
- Виктор БОКОВ. Из новой книги стихов 31
- Лиджи ИНДЖИЕВ. Буря и деревья. Тимофей БЕМБЕЕВ. Другу. Скачки. Перевод с калмыцкого Германа Блисецкого 32
- МУДРОЕ СЛОВО. Народные изречения и пословицы Дагестана. Перевод Наума Гребнева 44

● ПРОЗА

- Анатолий АЛЕКСИН. А тем временем где-то... Повесть 12
- Василь БЫКОВ. Свои. Рассказ 33
- Владимир МАРАМЗИН. Портрет завода как он есть. Рассказы 36
- Николай ЧУКОВСКИЙ. Ранней ранью. Повесть (Окончание) 45
- Мария КРАСАВИЦКАЯ. «Бешеная тетка» Рассказ 56
- Илья ЭРЕНБУРГ. О собаках 81

● ПУБЛИЦИСТИКА

- И. С. КОНЕВ. В битве за Москву 5
- Юрий ЛЕВИТАН. Говорит Москва... 62
- Виктор БУХАНОВ. Зеленое райское яблоко 75
- Максим ШТРАУХ. Сережа, Сергей, Сергей Михайлович 86

● ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

- Павел АНТОКОЛЬСКИЙ. Николай Тихонов (К семидесятилетию со дня рождения) 65

● НАВСТРЕЧУ IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

- Валерий ГЕЙДЕКО. Заводская проходная 69

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

- Те Лан Виен. Винтовки и лотосы 64

● НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

- М. КУРИЛКО. В добрый час! 102

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации 84

● НАУКА И ТЕХНИКА

- С. ВЛАДИМИРОВ, М. КАРЕВ. Информационный взрыв в науке 94

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- * Иван КУПЦОВ. «Куда ты скачешь, гордый конь...» * Бронислав ГОРБ. Пятёрка по черчению * А. РОМАНЕНКО. Золотой венок советскому поэту 99

● СПОРТ

- Какова спортивная жизнь? (Беседа с хоккеистами Б. Майоровым, Е. Зининым и В. Шадриным. Комментарии Е. Рубина и Д. Рыжкова) 103

● «ПЫЛЕСОС»

- Я. ЗИСКИНД. Зверь в очках 107
- Арк. ИНИН, Л. ОСАДЧУК. Общее мнение 108

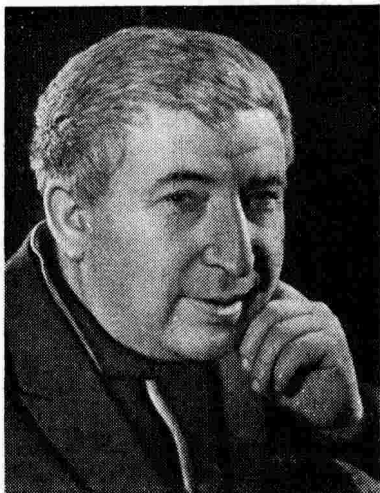
- СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» за 1966 год 109

На 1—4 страницах обложки рисунок Г. Пондопуло.
Портреты Анатолия Алексина (стр. 12), Владимира Марамзина (стр. 36)
и Марии Красавицкой (стр. 56) — работы А. Шульца

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Зябкина
Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 32. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 10761. Подп. к печ. 7/XII—1966 г. Формат бумаги 84×103¹/₁₆. Объем 7,25 физ. печ. л.
12,18 усл. печ. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 2181. Заказ № 2877.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Расул
Гамзатов

Граница

Когда я был проездом в Лисабоне,
Таможенники, вежливость храня,
За словом недозволенным в погоне,
Тетрадь стихов изъяли у меня.

И, может быть, поныне изучают
Там строки на аварском языке,
Которые опасность излучают
От горного аула вдалеке.

Да помоги им бог! А я гордиться
Таким вниманьем пристальным могу.
Мне издавна незримая граница
На каждом открывается шагу.

Не вдоль отдельной речки иль поляны
Идет ее суровая черта,
Где смотрят в души, а не в чемоданы,
Читают мысли, а не паспорта.

Она врасплох двуликого застала,
Два мнения разделила за столом.
И неподкупной совести застава
Стоит на ней между добром и злом...

К подножью гор упали две шинели,
Мне Лермонтов с Мартыновым видны,
Барьерною границею дуэли
Пред вечностью они разделены.

И чаянья бездарности сгорели,
Рубеж, как неприступный перевал.
Вот чокается с Моцартом Сальери,
Но не звенит завистника бокал.

Людского духа беспокойны царства,
И сколько их к согласью ни зови,



Живучий Яго — подданный коварства —
Не превратится в рыцаря любви.

Но, правда, в жизни случаи бывали:
Все за собой сжигая корабли,
Те к радости моей, а те к печали
Границу роковую перешли.

Не склонна совесть ни к каким уступкам,
И, находясь в дозорной вышине,
Она определяет по поступкам,
Кто на какой сегодня стороне.

Голова Хаджи Мурата

Отрубленную вижу голову
И боевые слышу гулы,
А кровь течет по камню голому
Через немирные аулы.

И сабли, что о скалы точены,
Взлетают, видевшие виды,
И скачут вдоль крутой обочины
Кавказу верные мюриды.

Спросил я голову кровавую:
— Ты чья была, скажи на милость!
И как, увенчанная славою,
В чужих руках ты очутилась!

И слышу вдруг: — Скрывать мне нечего,
Я — голова Хаджи Мурата
И потому скатилась с плеч его,
Что заблудилась я когда-то.

Дорогу избрала не лучшую,
Виной всему мой нрав тщеславный...
Смотрю на голову заблудшую,
Что в схватке срублена неравной.

Тропинками, сквозь даль простертыми,
В горах рожденные мужчины,
Должны живыми или мертвыми
Мы возвращаться на вершины.

Про сокола с бубенцами

Было небо черно от лохматых овчин,
Все клубились они в беспорядке.
И сидел вдалеке от родимых вершин
Сизый сокол на белой перчатке.

Бубенцами его одарили повцы
И кольцом с ободком золоченым.
Поднимал он крыла, и опять бубенцы
Заливались серебряным звоном.

На перчатке сидел и не ведал забот,
И кормили его, как ручного.
Только снился ему в черных тучах полет
И скала у потока речного.

Он домой полетел, бубенцами звеня,
Сизый сокол, тоскуя по схватке,
И товарищам крикнул: — Простите меня,
Что сидел я на белой перчатке.

Отвечали они там, где катится гром
И клубятся туманы на склонах:
— Нет у нас бубенцов, что звенят
серебром,
Нет колечек у нас золоченых.

Мы вольны, и у нас бубенцы не в чести,
И другие мы ценим повадки.
Ты не свой, ты чужой, ты обратно лети
И сиди там на белой перчатке.

В зеленом, желтом и багряном

Озера, как глаза оленьи,
В оправе каменных громад.
Вот три чинары в отдалении
Над чашей озера стоят.

Они грустны и белокожи,
Как три застенчивых жены,
Но на купальщиц не похожи,
Хоть их тела обнажены.

И словно шепчут нам с мольбою,
Что мы бросать со стороны
На них, подвергшихся разбою,
Бесстыжих взглядов не должны.

Чинары голые в объятьях
Хватает ветер, хохоча,
Их, в клочья порванные, платья
Вздывая около плеча.

На это север полномочья
Ему вручил в седой дали.
И желто-огненные клочья
На воду мгlistую легли.

Но вы, чинары, не грустите,
Весна в положенный черед
Возьмет дождинок теплых нити,
Иглу лучистую возьмет.

Сошьет вам новые наряды,
Призвав умение свое,
И не потребует награды
За вдохновенное шитье.

Отдавший дань сердечным ранам,
Уйду я, но в последний час
В зеленом, желтом и багряном
Над вечностью увижу вас.

Воспоминания

Не держит сердце у меня
На отболевшее равнения,
Ведь рана нынешнего дня
Больней вчерашнего ранения.

И так случается порой:
Пред светом нынешнего помысла
Тускнеет дум недавних рой
С несостоятельностью промысла.

Вдоль гор мы едем, вдоль равнин
И забываем днями длинными
Черты отхлынувших картин
Перед возникшими картинами.

Спешит забвения клинок
День прожитой отсечь от стремени
И бросить в бешеный поток
Навстречу мчащемуся времени.

Над прежней радостью топор
Жизнь вознесла без понимания.
И сложен из надежд костер,
И горек дым воспоминания.

Восток забрезжил. Я скачу
Вновь над потоком в белой кипени,
Затем скачу, что я хочу
Мой новый день спасти от гибели.

Заря подобна алыче,
И я желаю быть замеченным,
С убитым барсом на плече
В аул родимый въехать вечером.

Пусть память о минувшем дне
Останется не в суесловии,
А шкурой барса на стене
Век целый дышит в изголовии.

Песня молодых

— Дайте дорогу нам, скалы седые,
Пусть ваши спины
Не застыт пути.
— Кто вы такие!
— Мы молодые!
— Рано еще вам всходить на вершины!
— Время на них нас призвало взойти!

— Вы обнимите нас, волны морские,
Нам судовые
Вручите рули!
— Кто вы такие!
Кто вы такие!
— Время призвало нас — мы молодые,
Время велит нам вести корабли.

— Эй, вы, каурые, эй, вы, гнедые,
Эй, вороные,
Летите в намет!
— Кто вы такие!
— Мы молодые!
Время зовет нас сквозь дали земные,
Стремя завидное нам подает.

Первыми ходят на штурм рядовые,
Стала любовь амулетом
Для них.
Мы молодые,
Мы молодые.
К дальним планетам по многим приметам,
К звездам воспетым — мы ближе других.

Жизнь не заронит в нас мысли худые,
Верное слово
Звучит, как зарок.
Мы молодые,
Мы молодые.
Все мы во власти призывного зова,
Слышится снова нам времени рог.

Перевел Яков КОЗЛОВСКИЙ.



Юлия
Дружина

☆

...И если
захочу я щегольнуть
Стихом,
«закрученным»
лишь моды ради,
Шепните,
ради бога,
кто-нибудь:
«Не говори красиво,
друг Аркадий»...
Наш Пушкин!
Ах, как элегантно он
Дал Баратынскому
урок жестокий:
— Ведь ты,
мой друг,
достаточно умен,
Чтоб быть простым,
чтоб не туманить строки...
А сказочка
о голом короле
До сей поры
гуляет по земле,
По современным
городам и странам:
Иной пьет
с величием в лице
О выведенном
мудрствует
яйце,
Прикрывшись
«непонятности»
туманом...

☆

Мысль странная мне в голову запала:
Как было бы, когда б узнала я,
Что в этом мире мне осталось мало,—
Допустим, лишь полгода — бытия!..

Ну, поначалу шок от этой вести.
А дальше что?..
И вдруг я поняла,
что, в общем,
Все останется на месте —
Любовь, стихи, привычки и дела:
И книги недописанной не брошу,

И мужа на другого не сменю,
И никого ничем не огорошу,
И никого ни в чем не обвиню.
Не потеряю к тряпкам интереса,
Порой убью над детективом ночь.
Помочь одна просила поэтесса —
Могу ли я девчонке не помочь!..

И лишь в одном наступит перемена:
Путевку заграничную продам
Да и пойду —
Пешочком непременно! —
По древнерусским милым городам...

Успех

Эскадры яхт,
колонны лимузинов —
Таким
ночами снится Голливуд
Красоткам Золушкам
из магазинов,
Что за прилавком
жадно
принцев ждут.
«Ах, Голливуд!
Ах, золотые горы!»
И чудеса бывают,
не скажи:
Случается, что «принцы»-
режиссеры
И в самом деле ищут типажи.
Да, чудеса бывают,
хоть и редко,
Живуч волшебной песенки мотив:
«И впрямь
звездой стала мидинетка,
Всех Золушек Парижа
всполюшив»,
Летят
успеха взмыленные кони —
Здесь начат старт
отчаянной погони.
Как это мало —
знаменитой стать!
Трудней
в седле проклятом
удержаться.
Всегда галоп —
и в тридцать,
в тридцать пять,
А той, что догоняет,—
восемнадцать.
...Все это, знаю, словно мир, старо.
Все это, знаю,
было,
есть
и будет.
И страшно мне
за всех Мерлин Монро,
За всех Мерлин
не только в Голливуде.
Как тяжела, должно быть,
участь тех,
Кого влечет единое —
успех,
Чья жизнь — погоня,
вечная погоня.
Храпят
успеха взмыленные кони...

● **И. С. Конев,**
Маршал
Советского
Союза

В битве за МОСКВУ

ВАМ НАДО ЭТО ЗНАТЬ

Я все еще нахожусь под впечатлением встреч с молодыми участниками похода по местам революционной, боевой и трудовой славы, проведенного этой осенью Центральным Комитетом комсомола. Как руководителю этого похода, мне довелось выезжать на места наиболее горячих боев за Москву и там рассказывать об этих боях юношам и девушкам. Для меня, старого советского солдата, это были незабываемые беседы. Я видел, с каким жадным вниманием все они слушали рассказы ветеранов о подвигах своих отцов и старших братьев, как, волнуясь, осматривали поля давно минувших сражений, уже покрытые травой или заросшие молодым лесом окопы, траншеи, остатки блиндажей, как бережно, будто великую ценность, передавали из рук в руки найденные ими реликвии войны — винтовку с проржавевшим затвором, памятную каску, позеленевшую артиллерийскую гильзу. Я видел, как слушали они бесхитростные рассказы местных жителей — свидетелей отгремевших боев — и каким любопытством, какой гордостью горели при этом их глаза.

Я смотрел на них, молодых, крепких, еще, пожалуй, не слышавших в своей жизни и винтовочного выстрела, и картины сражений, бушевавших некогда в этих, ныне мирных, краях, на этих полях, на берегах этих рек, картины великой битвы за Москву одна за другой вставали перед глазами. События двадцатипятилетней давности оживали в памяти. И я думал тогда: это должны знать не только участники патристического комсомольского похода, но все советские юноши и девушки, вступающие в жизнь. Вот почему я охотно откликаюсь на просьбу редакции

СТАТЬЯ НАПИСАНА ПО ПРОСЬБЕ «ЮНОСТИ»



журнала «Юность» и берусь за перо, которое, признаюсь, не является для меня привычным оружием.

Для того, чтобы представить себе картину битвы за Москву — одного из грандиознейших сражений, какие только знала история, — тебе, юный читатель, надо знать военную обстановку в те дни, когда Гитлер, завоевав или политически подчинив себе почти все страны Западной Европы, бросил свои главные боевые силы, все армии своих сателлитов на Восточный фронт, на Советский Союз. Документами, извлеченными из тайных архивов немецкого генштаба и представленными обвинением на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками, было доказано, что, создавая свой план покорения мира, или, как говорил Гитлер, «организацию всемирного рейха по крайней мере на ближайшую тысячу лет», он разделил этот план на семь стадий. Первые пять стадий он отвел завоеванию европейских государств, шестой стадией должно было стать разбойничье нападение на Советский Союз и завоевание советской земли, а седьмой, завершающей, — нападение на Англию.

«ПУСТЬ ГИБНУТ МИЛЛИОНЫ»

Планомерно, в точно намеченные сроки гитлеровские армии завершили первые пять стадий завоевания мира. За недели гитлеровские подвижные танковые и мотомеханизированные части с боем захватывали государства, считавшиеся в Европе оплотом капиталистической мощи. Ведя войну на Западе, гитлеровский рейх не ослабевал, а, наоборот, усиливался. Как спрут, высасывал он кровь народов оккупированных стран, используя их промышленность и

сельскохозяйственные ресурсы, включая в свою экономику их военные заводы и собирая под свои знамена армии сателлитов. Безумные мечты Гитлера о всемирном тысячелетнем рейхе, как казалось тогда некоторым западным политикам, были близки к осуществлению. Им мнилось, что нет уже на земле силы, которая могла бы противостоять гигантской немецкой армии. Как раз в дни расцвета ее боевой мощи и был разработан генералами Йодлем, Кейтелем и Варлимонтм злодейский план вероломного нападения на Советский Союз. Он получил кодовое наименование — «план Барбаросса». В записке по «плану Барбаросса», фигурировавшей на Нюрнбергском процессе, приводилась цитата из приказа Гитлера: «Необходимо напасть на Россию молниеносно и захватить ее ресурсы, не считаясь с возможной гибелью миллионов людей в этой стране. Нам надо взять у России все, что нам нужно. Пусть гибнут миллионы».

Я рассказываю вам об этом, молодые люди, для того, чтобы вы отчетливо представляли себе, какая опасность нависала в те дни над нашей Родиной и всем миром, опасность, особенно обострившаяся, когда гитлеровское командование, сосредоточив свои ударные силы, стало готовить их к походу на Москву, столицу первого в мире социалистического государства, которую нацисты ненавидели с особой яростью. Вам, друзья, нужно отчетливо представлять это, для того, чтобы знать, от какой страшной беды спасла Красная Армия наше Советское государство, наш народ и все народы мира.

Но уже в начальный период Великой Отечественной войны непрерывное героическое сопротивление Красной Армии, сражавшейся один на один со всеми ударными силами фашизма, спутало карты гитлеровской ставки, сорвало то, что было главным звеном немецкой стратегии, заложенной в «плане Барбаросса»: его молниеносность, пресловутый «блицкриг». Несмотря на огромное превосходство врага в живой силе и особенно в боевой и транспортной технике, на земле и в воздухе, оно, это сопротивление, продолжало нарастать буквально с каждым днем, с каждым шагом гитлеровских армий по советской земле. От активной обороны Советская Армия в смоленском сражении стала переходить к контрударам, и наконец после контрударов в районе Ярцева, Духовщины, Ельни наши войска, действовавшие на главном — Западном направлении, в середине сентября остановили наступление неприятеля восточнее города Смоленска.

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»

Вот тогда-то немецко-фашистское командование и приступило к подготовке плана «генерального сражения» на Московском направлении — плана, который получил кодовое наименование «Тайфун». В самом этом наименовании раскрывалась идея задуманной операции: создав на Западном направлении подавляющее превосходство в силах, сосредоточив здесь основную массу боевой техники, армии этой группировки должны были нанести советским войскам стремительный удар, и, развивая высокие темпы наступления, обратить в бегство наши дивизии, и, не отрываясь от них (как говорят военные, «на их плечах»), рвануться к Москве танковыми ударными группировками и окружить ее с севера и с юга. Этим, по замыслу гитлеровцев, была бы решена основная за-

дача войны и обеспечена окончательная победа к зиме 1941 года.

Сейчас об этом странно даже и вспоминать, но в листовках, которые сбрасывали в те дни фашистские самолеты над нашими войсками, говорилось о том, что в начале ноября Гитлер, подобно Наполеону, въедет в Москву на белом коне, чтобы принять на Красной площади парад своих войск. Это была, конечно, пропагандистская геббельсовская болтовня, но мы знали, что нацистское командование в сентябре приступило к сосредоточению на Московском направлении крупнейших сил.

Оно стянуло сюда 77 дивизий, 1700 танков, 19,5 тысячи орудий и минометов, 950 боевых самолетов и другой боевой техники. На совещании штаба этой группировки, которая должна была, по замыслу Адольфа Гитлера, решить главную задачу войны, он так и заявил: «Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог бы его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой».

Знали ли мы об этой концентрации сил и об этом замысле гитлеровского генштаба? Да, знали. Наши разведки — и войсковая, и агентурная, и воздушная — работали неплохо. Я был в те дни командующим Западным фронтом, и мне не раз доводилось доносить Ставке о готовящемся ударе на столицу. Сейчас, когда четверть века спустя я пишу об этом, мне отчетливо вспоминается один очень запомнившийся мне разговор, который произошел у меня на командном пункте 25 сентября с пленным немецким асом с «мессершмитта-109», сбитого вблизи Ярцева. Это был матерый нацист, награжденный крестами и медалями, и, судя по его показаниям, осведомленный человек. Попав в плен, он стал разговорчивым, рассказал о крупной концентрации сил, срочно проводимой перед нашим фронтом, о готовящемся «решающем наступлении» в направлении Смоленск — Москва. Он сказал, что для этого наступления здесь сконцентрировано до ста дивизий (их было около восьмидесяти. — И. К.), и даже сообщил, что, по слухам, генерал Кейтель и фельдмаршал Геринг прибыли в Смоленск, имея особые полномочия немецкой ставки любой ценой обеспечить успех этой, как он выразился, «генеральной операции». Его показания подтверждали донесения наших разведчиков.

Да, мы знали о готовящемся наступлении и, не теряя времени, создавали глубоко эшелонированную оборону, систему огня, зарывались в землю, строили разветвленные полевые укрепления, создавали на наиболее угрожаемых участках противотанковую оборону, минные поля, хотя, к сожалению, мин, как и противотанковой артиллерии, у нас в те дни было в обрез, и главную надежду мы возлагали на бутылки с горючей смесью. Зарубежные авторы часто склонны изображать этот первый, трагический для нас, этап войны как сплошное наше отступление, полное путаницы и неразберихи. К сожалению, появились и в советской литературе книги, авторы которых в своем стремлении поиграть на нервах читателей, безответственно изображают дело именно так. Дорогие юные друзья! Я, кадровый военный, имевший к тому времени опыт двух войн, человек, находившийся в те дни на этом главном и решающем участке фронта, говорю вам: и в ту, нечеловечески трудную пору войны, несмотря на то, что, готовясь к большому наступлению, противник продолжал на всех других фронтах активные боевые действия, мы, в соответствии с приказом Ставки Верховного Главнокомандования, упорно оборонялись и принимали все меры для создания глубоко эшелонированных оборонительных рубежей — Вяземского и Можайского. В этой работе

армии деятельно помогали трудящиеся Смоленской, Калининской, Брянской, Тульской областей и, конечно же, наши москвичи. Двести пятьдесят тысяч москвичей откликнулись тогда на призыв Московской партийной организации и вышли с лопатами, кирками, ломанами на строительство оборонительных рубежей, что в те дни было делом не только очень тяжелым, но и опасным, ибо авиация противника господствовала в воздухе и то и дело бомбила и обстреливала строящиеся позиции.

ГОТОВЫ К БИТВЕ

О том, как мы подготовились к наступлению, может свидетельствовать хотя бы такой памятный мне факт. Я расположил тогда свой штаб на окраине населенного пункта Касня, в бывшей барской усадьбе князей Волконских. Противник прознал об этом, и на сравнительно небольшую усадьбу был произведен массированный налет пикирующих бомбардировщиков. Барский дом и службы были разнесены бомбами, но так как, готовясь к наступлению, мы успели, как говорится, «закопаться в землю», никто из военачальников не пострадал, штаб продолжал работу нормально, и даже в час бомбежки узел связи, расположенный в блиндажах и прикрытый мощными накатами, продолжал передавать в Москву информацию.

Первое генеральное наступление немецких войск на Москву началось 30 сентября ударом танковой группы по левому крылу Брянского фронта. А на рассвете 2 октября противник после сильной артиллерийской и авиационной подготовки начал наступление против войск Западного и Резервного фронтов. Именно сюда он и обрушил свои главные танковые и моторизованные силы группы армий «Центр», поддерживаемые стянутыми с других фронтов и переброшенными из Западной Европы авиационными соединениями.

Острые удары были направлены в стык между нашими 30-й и 19-й армиями. Теперь, по немецкой документации да и по воспоминаниям гитлеровских генералов, в изобилии издающих на Западе свои мемуары, мы знаем, что ставка неприятеля планировала массированным ударом пробить фронт, обратив в бегство наши дивизии и, оставляя за собой окруженные и дезорганизованные наши части, не оглядываясь, рваться к столице, захватить ее, так сказать, «на плачах отходящего противника». Этот маневр немцы уже не раз применяли в западных странах, и он им неизменно удавался.

Но тут наиболее дальновидные гитлеровские генералы поняли, что Советская страна не Западная Европа. И хотя против четырех стрелковых дивизий 30-й армии противник ввел в бой двенадцать своих, главный замысел операции был сорван. Это стало ясно в первый же день. Правда, ценой огромных жертв противнику удалось прорвать фронт и продвигнуться в глубь обороны на 10—15 километров. Но не о том мечтали гитлеровцы, не то планировали. Дезорганизовать, обратить наши войска в бегство им не удалось.

Второй удар был нанесен в направлении на Спас-Деменск, против 24-й и 43-й армий Резервного фронта. Здесь немцы имели больший успех, заставив наши войска отходить. Танковые подразделения врага через Спас-Деменск и Юхнов устремились к Вязьме,

в тыл Западному фронту. Возникла угроза охвата некоторых соединений наших войск, и, в частности, 19-й и 20-й армий Западного и 32-й армии Резервного фронта.

Советское командование быстро разгадало и этот замысел гитлеровцев. Учитывая обстановку, командование решило управление и штаб 16-й армии генерала К. К. Рокоссовского к утру 6 октября вывести в район Вязьмы, чтобы обеспечить руководством как отступающие к Вязьме части, так и те, что подходили к ней из резерва. Однако из тех дивизий, что стремились туда, чтобы не дать сомкнуться двум клешням немецкого наступления, к Вязьме подошла лишь одна 50-я стрелковая дивизия, которую удалось перебросить на автомашинах. И та не полностью. Остальные же оказались в кольце, но дезорганизованы не были и сейчас же завязали бой, тараня кольцо извне и изнутри, нанося врагу существенный урон в живой силе и технике.

БОИ В КОЛЬЦЕ

А в, врагу удалось отрезать пути отхода нескольким нашим дивизиям, но он не вывел их из боевого строя. Приказом, переданным по радио, командование окруженной группировки было поручено замечательному командарму — генералу М. Ф. Лукину, человеку редкой храбрости и хладнокровия. Находясь в окружении, он не только развернул оборону, но вел в тылу врага активные действия. Под его командованием войска продолжали драться ожесточенно, самоотверженно, приковав к себе массу войск и боевой техники противника и тем самым значительно сокращая силы группировки, наступавшей на Москву. Карты, захваченные впоследствии нами у немцев, наглядно показывают, что эта боевая группа, сражаясь в окружении, сковала 28 вражеских дивизий группы «Центр». С генералом Лукиным мы держали постоянную связь по радио и самолетами, и, признаюсь, я до сих пор не могу без волнения вспоминать его боевые донесения. Слова одного из них я и сейчас легко воспроизвожу по памяти: «Войска держатся и будут держаться до последнего солдата и до последнего патрона».

Да, так они дрались и держались.

Спротивление наших войск становилось все более активным, все более упорным. Как я уже сказал, планируя операцию «Тайфун», немецкая ставка строила все свои расчеты на высоких темпах наступления, чтобы до холодов завершить операцию, а холода встретить уже в Москве. Героическое сопротивление наших войск Западного и Резервного фронтов, в том числе и окруженных, продолжавших сражаться в районе Вязьмы, задержало наступление противника на Москву. Это дало возможность нашей Ставке сосредоточить силы, чтобы впоследствии дать противнику отпор на Можайском рубеже. То был острейший этап битвы за столицу. Я помню, как на Военном совете Западного фронта мы вместе с представителями Государственного Комитета Обороны, находившимися у нас, обратились к Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину с предложением объединить силы Западного и Резервного фронтов под единым командованием и с 12 октября назначить генерала Г. К. Жукова командующим войсками Западного фронта, а меня — его заместителем. Ставка согласилась с этим предложением. Таким образом, силы центрального участка фронта перед столицей были объединены.



Противотанковое укрепление
на Большой Калужской (вверху).

Ополченцы на привале (слева).

Производство мин на одном
из московских заводов (внизу).



Танки с парада идут на фронт
(вверху).

Зенитчики на Красной Пресне
(справа).

Аэростат поднимается в воздух
(в центре).

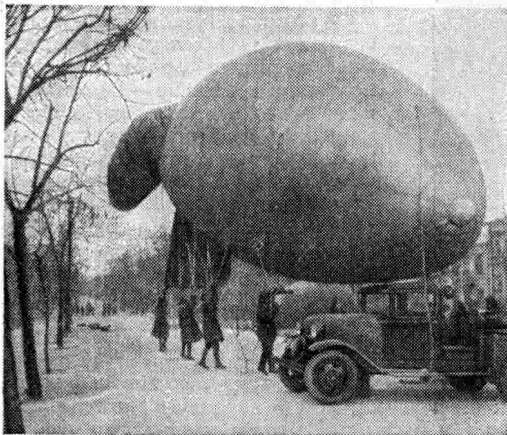
Фашистские орудия, захваченные
на Волоколамском шоссе (внизу).



СВОЮ ЭНЕРГИЮ, СВОЮ СИЛУ, СВОЮ ЖИЗНЬ
НА ЗАЩИТУ МОСКВЫ!



Фото А. Устинова.



ЗА НАМИ МОСКВА

К тому времени враг усилил нажим на правое крыло Западного фронта и активизировал наступление на Калининском направлении. Обстановка там донельзя обострилась. Город Калинин войск не имел, и немецкие танковые части, заняв его, выходили на шоссе Ленинград — Москва. Было ясно, что они стремятся обойти Москву с севера, а также вбить клин между Западным и Северо-Западными фронтами. Разгадав это намерение, Ставка решила организовать новый, Калининский фронт, и я был назначен командовать им.



Командующий 19-й армией генерал-лейтенант И. С. Конев беседует с М. А. Шолоховым (первый справа), А. А. Фадеевым (второй справа) и Е. П. Петровым (сидит в центре — спиной к нам).

Стараясь восстановить в памяти обстановку тех дней, я смотрю на старую военную карту. Гитлеровский «Тайфун», хотя и не обрел запланированных его авторами темпов, все еще бушевал и бушевал с огромной силой, на дальних подступах к Москве. Гитлеровская ставка обладала тогда всеми возможностями стратегического маневра. Она перебрасывала дивизии из стран покоренной Европы, стягивала с других фронтов. Москва в те дни была у всех на устах. Москва — на нее возлагались все надежды. Москвою бредили гитлеровцы в своих радиопередачах. О Москве мечтали солдаты противника, чувствуя надвигающиеся холода. О Москве думали в эти дни все советские люди, сражавшиеся на фронте и работавшие в тылу. На Москву, на ее стойкость, на мужество советских войск возлагали надежды те, кто жил уже на оккупированной земле — и не только у нас, но и в странах завоеванной Европы.

Советские люди верили: Москву не отдадим, не можем сдать. Мы, советские солдаты, знали: отступать некуда, за нами Москва. Вот тогда-то во всех частях, оборонявших столицу с северо-запада, с запада и с юга, и пошло в ход крылатое суворовское выражение: «Стоять насмерть». И стояли. Раненые не уходили из боя и продолжали сражаться. Порою солдаты сознательно шли на смерть, лишь бы остановить врага.

Вся моя жизнь связана с армией, еще со времен первой мировой войны. В гражданскую я сражался с белобандитами в центральных губерниях страны,

воевал с белыми армиями на Дальнем Востоке, штурмовал мятежников в Кронштадте. С первого дня Отечественной войны был на фронте, отступал, оборонялся, наступал. С боями прошел потом от Верхней Волги до Шпрее, штурмовал Берлин с юга и юго-запада и завершил войну боями за освобождение Праги. Много, очень многое пережил я и повидал.

Но когда вот сейчас я пишу эти строки и вспоминаю Московскую битву, она встает перед глазами с особой яркостью.

Мне кажется, что в дни этой битвы на просторах Подмоскovie, Верхневолжья и на подступах к славному пролетарскому городу Туле — этой кузнице нашего оружия — весь мир по-настоящему узнал впервые, что такое советский человек, воспитанный Коммунистической партией, кто такой, как говорил Ленин, «человек с ружьем», советский солдат, защищающий нашу Родину.

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Многочисленными страницами беспримерных человеческих подвигов украшена история сражений за Москву, начавшихся в сентябрьские дни на дальних подступах к столице — на Смоленщине — и достигших своей кульминации в ноябрьских боях у стен столицы, когда гитлеровская ставка сообщала в своих сводках, что «передовые панцирные части, наступая, уже видят в бинокли с холмов и возвышенностей кресты и шпиль Москвы». Разве когда-нибудь забудет благодарное потомство, как вооруженные старыми учебными пушками, комсомольцы-курсанты подольских военных училищ, о которых в этом году уже писал на страницах «Юности» генерал И. С. Стрельбицкий, остановили рвавшиеся к Москве части 57-го немецкого моторизованного корпуса и самоотверженно удерживали их на этом направлении? Разве имеет право вы, молодые люди сегодняшних мирных дней, забывать о героях 316-й стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова, которые, будучи ранеными, умирая, продолжали сражаться у разъезда Дубосеково, чтобы не пропустить врага? Разве когда-нибудь изгладятся в сердцах молодых людей страны подвиги московской школьницы Зои Космодемьянской, или калининской комсомолки Лизы Чайкиной, или старого колхозника Матвея Кузьмина, повторившего в лесах Калининщины подвиг Ивана Сусанина? А Виктор Талалихин, протаранивший немецкий бомбардировщик! А сержант В. Васильковский, грудью закрывший амбразуру дзота, чтобы открыть путь передовому батальону!..

Сколько таких золотых страниц в истории великой битвы под Москвой! Сколько героев этой битвы еще ждут своего советского Льва Толстого, который с таким же размахом и глубиной расскажет о подвигах советских людей, вдохновленных партией!

Не забудутся дни и ночи, когда Москва, суровая, затаившаяся, жила на осадном положении, жила, работала, готовилась к отпору врага, ковала оружие, принимала раненых. Никогда не забудем мы о му-

жестве Центрального Комитета Коммунистической партии, о мужестве Московского, Калининского, Тульского областных комитетов, о Ставке Верховного Главнокомандования, которые в самые острые часы борьбы направляли и вдохновляли людей, вдохновляли войска на разгром немецко-фашистских полчищ. Сейчас, вспоминая битву за Москву, нельзя не сказать о Калининской и Тульской партийных организациях, деятельно помогавших организовывать борьбу с врагом на флангах Московской битвы.

УКРОЩЕНИЕ «ТАЙФУНА»

Операция «Тайфун», задуманная Гитлером как решающая операция, была сорвана благодаря стойкости советских солдат. Силы «Тайфуна» были укрощены у стен Москвы. Наступающие части остановлены. Неприятельскому командованию понадобилось две недели для подготовки «второго генерального наступления» на столицу. Немецкие части, прорвавшиеся было на ближние подступы к Москве, все эти отборные танковые, моторизованные стрелковые дивизии оказались потрепанными, ослабленными. Их мощь была подорвана. Враг понес большие потери. Боевой дух немецких солдат, действительно не знавших поражений в битвах с армиями капиталистической Европы, оказался, если и не сломленным окончательно, то, во всяком случае, сильно надломленным.

Инициатива боев была вырвана из рук гитлеровской ставки и перешла к советскому командованию. 5—6 декабря войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов перешли в решительное контрнаступление. Мы не превосходили врага по численности и боевой технике, но, сильные боевым духом, несколько пополненные свежими резервами, проявляя искусство сосредоточения сил, обрушили на врага слитные удары. Сокрушая и отбрасывая врага, Красная Армия наступала широким фронтом, преследуя немецкие части, захватывая огромные трофеи и пленных. Враг был отброшен от стен Москвы на большое расстояние.

И вот сейчас, когда я задумываюсь над тем, что произошло 25 лет назад, мне становится ясным: именно тогда, в великой битве за Москву, и занялась заря нашей победы над фашистской Германией.

На Западе сейчас издаю и продолжает издаваться множество книг, посвященных второй мировой войне. Битые гитлеровские генералы, нередко занимающие довольно высокие посты в армии Федеративной Республики Германии, особенно усердствуют по части всяческих мемуаров, желая оправдаться перед соотечественниками и историей в своих поражениях. Все они сквозь зубы признают, что именно в великой битве на Московском направлении начался перелом в ходе всей второй мировой войны. Но, оправдывая гитлеровскую ставку и самих себя, они часто говорят, что на трагический для них исход битвы повлиял, дескать, генерал Мороз. Генерал Мороз! Этот термин употребляют и иные из тех мемуари-

стов, которые были в дни войны нашими союзниками. Когда я читаю эту легенду о генерале Морозе, мне непонятно, как все эти «исследователи» и «вспоминатели» не краснеют, выдвигая такую версию.

Ведь в 1941 году зима, как и водится в средней России, пришла не раньше и не позже обычного, а мороз одинаково отнесся и к нашим и к гитлеровским солдатам. Нет, господа немецкие генералы! Вы-то отлично знаете, что не мороз заставил вас откатываться от Москвы, бросая технику, тела убитых, оставляя раненых. Наедине с собой, в своих секретных документах, вы были куда откровеннее. Так, например, командир 7-й немецкой танковой дивизии в своем доносении командованию панически сообщал: «натиск Красной Армии в направлении Сычевки настолько был силен, что я ввел в бой последние силы своих гренадеров. Если этот натиск будет продолжаться, мне не сдержать фронт, и я вынужден буду отойти». Так докладывал начальнику один из генералов еще в дни золотой осени, когда не было никаких морозов.

В нараставшей день ото дня мощи Советской Армии, в героизме ее солдат и помогавших им с тыла московских, калининских, смоленских, брянских, белорусских партизан, активизировавшихся с наступлением холодной поры, в самоотверженности москвичей, делавших все возможное для обороны своего любимого города, в спокойствии и мудрости Центрального Комитета партии, в распорядительности Государственного Комитета Обороны, не покидавших столицы в самые тяжелые дни, в растущем мастерстве советских военачальников — вот в чем секрет исторической победы в Московской битве. И еще в том, что с самого ее начала советские солдаты чувствовали и знали, что за ними Москва, столица первого в мире социалистического государства, и что ее нельзя отдавать врагу на поругание...

...Вот о чем думал я, молодые друзья, когда осенью встречался с юными участниками похода у старых, покрытых лесами укреплений Подмосковья. И еще



На огневой позиции.

Фото В. Гребнева.

думал я о том, что великий наш народ, вдохновленный идеями коммунизма, непобедим.

Мы говорили тогда участникам похода, а сейчас я повторяю вам, читателям «Юности»: берегите революционную и боевую славу своих дедов, отцов и старших братьев! Будьте достойны этой славы, овладейте боевым искусством, крепите боевую Советскую Армию!



● Анатолий Алексин

а тем временем где-то...

Рисунки Г. Пондопуло.

У нас с отцом одинаковые имена: он Сергей, и я Сергей. Если бы не это, не произошло бы, наверно, все, о чем я хочу рассказать. И я не спешил бы сейчас на аэродром, чтобы сдать билет на рейсовый самолет. И не отказался бы от путешествия, о котором мечтал всю зиму...

Началось это не сегодня и не вчера, а три с половиной года назад, когда я еще был мальчишкой и учился в шестом классе.

«Своим поведением ты опрокидываешь все законы наследственности,— часто говорил мне учитель зоологии, наш классный руководитель.— Просто невозможно себе представить, что ты сын своих родителей!» Кроме того, поступки учеников он ставил в прямую зависимость от семейных условий, в которых мы жили и росли. Одни были из неблагополучных семей, другие — из благополучных. Но только я один был из семьи образцовой! Зоолог так и говорил:

— Ты мальчик из образцовой семьи! Как же ты можешь подсказывать на уроке?

Может быть, это зоология приучила его все время помнить о том, кто к какому семейству принадлежит...

Подсказывал я своему другу Антону. Ребята звали

его Антоном-Батоном за то, что он был полным, сдобным, розовощеким. Когда он смущался, а это бывало очень часто, краской заливалась вся его крупная шарообразная голова, и даже казалось, что корни белесых волос подсвечивались откуда-то изнутри розовым цветом.

Антон был чудовищно аккуратен и добросовестен, но, выходя отвечать, погибал от смущения. К тому же он заикался. Ребята мечтали, чтобы Антона почаще вызывали к доске: на него уходило минимум пол-урока. Я ерзал, шевелил губами, делал условные знаки пальцами, стараясь напомнить своему другу то, что он знал гораздо лучше меня. Это раздражало учителей, и они в конце концов усадили нас обоих на «аварийную» парту, которая была первой в среднем ряду — перед самым учительским столом. На эту парту сажали только тех учеников, которые, по словам зоолога, «будоражили коллектив».

Наш классный руководитель не ломал себе голову над причиной Антоновых неудач. Тут все ему было ясно: Антон был выходцем из неблагополучной семьи, его родители развелись очень давно, и он ни разу в жизни не видел своего отца. Наш зоолог был твердо убежден в том, что если бы родители Антона не развелись, мой школьный друг не смущался бы понапрасну, не маялся бы у доски и, может быть, даже не заикался.

Со мной было гораздо сложнее: я нарушал законы наследственности. Мои родители посещали все родительские собрания, а я писал с орфографическими ошибками. Они всегда вовремя расписывались в дневнике, а я сбегал с последних уроков. Они,

ПОВЕСТЬ

вели в школе спортивный кружок, а я подсказывал своему другу Антону.

Всех остальных отцов и матерей у нас в школе почти никогда не называли по имени-отчеству, а говорили так: «Родители Барабанова», «Родители Сидоровой»... Мои же отец и мать оценивались как бы сами по себе, вне зависимости от моих поступков и дел, которые могли порою бросить тень на их репутацию общественников, старших товарищей и, как говорил наш зоолог, «истинных друзей школьного коллектива».

Так было не только в школе, но и в нашем доме. «Счастливая семья!» — говорили об отце и маме, не ставя им в вину то, что я накануне пытался струей из брандспойта попасть в окно третьего этажа. Хотя другим родителям этого бы не простили. «Образцовая семья!» — со вздохом и неизменным укором в чей-то адрес говорили соседи, особенно часто женщины, видя, как мама и отец по утрам, в любую погоду, совершают пробежку вокруг двора, как они всегда вместе, под руку идут на работу и вместе возвращаются домой.

Говорят, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожими друг на друга. Мои родители были похожи. Это было особенно заметно на цветной фотографии, которая висела у нас над диваном. Отец и мама, оба загорелые, белозубые, оба в васильковых тренировочных костюмах, пристально глядели вперед, вероятно, на человека, который их фотографировал. Можно было подумать, что их снимал Чарли Чаплин — так безудержно они смеялись. Мне даже казалось иногда, что это звучащая фотография, что я слышу их жизнерадостные голоса. Но Чарли Чаплин тут был ни при чем, — просто мои родители были очень добросовестными людьми: если объявляли воскресник, они приходили во двор самыми первыми и уходили самыми последними; если на демонстрации в день праздника затевали песню, они не шевелили беззвучно губами, как это делают некоторые, а громко и внятно пели всю песню от первого до последнего куплета; ну, а если фотограф просил их улыбнуться, всего-навсего улыбнуться, они смеялись так, будто смотрели веселую кинокомедию.

Да, все в жизни они делали как бы с перевыполнением. И это никого не раздражало, потому что все у них получалось естественно, словно бы иначе и быть не могло.

Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете! Мне казалось, я имел право на проступки и ошибки, потому что отец и мама свершили столько правильного и добросовестного, сколько могло бы быть запланировано на пять или даже на целых десять семей. На душе у меня было легко и беспечно... И какие бы ни случались неприятности, я быстро успокаивался: любая неприятность казалась ерундой в сравнении с главным — у меня лучшие в мире родители! Или по крайней мере лучшие в нашем доме и в нашей школе!.. Они никогда не могут растаться, как это случилось с родителями Антона и многих других моих одноклассников и приятелей.

Недаром даже чужие люди не представляют их себе порознь, а только рядом, вместе, и называют одним общим именем — Емельяновы: «Емельяновы так считают! Емельяновы так говорят! Емельяновы уехали в командировку...»

В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего города, в местах, называемых «почтовыми ящиками».

Я оставался с бабушкой.

Мои родители были похожи друг на друга, а я был похож на бабушку — на мамину маму. И не только внешне.

Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, она гордилась ее мужем, то есть моим отцом, но, как и я, то и дело опрокидывала законы наследственности.

Мама и отец старались закалить нас, навсегда избавить от простуд и инфекций (сами-то они даже гриппом никогда не болели!), но мы с бабушкой сопротивлялись. Мы не желали обтираться ледяною во-



дой, вставать по воскресеньям еще раньше, чем в будни, чтобы идти на лыжах или отправляться в летние походы. Мы нечетко выполняли по утрам гимнастические упражнения...

Вообще мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечеткости: мы нечетко дышали во время гимнастики, нечетко сообщали, кто звонил маме и отцу по телефону и что передавали в последних известиях, нечетко выполняли режим дня.

Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как заговорщики, собирались на экстренный совет. Невысокая, сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка напоминала хитрого, озорного мальчишку. А этот мальчишка, как говорили, сильно смахивал на меня.

— Ну-с, сколько денег мы откладываем на кино? — спрашивала бабушка.

— Побольше! — говорил я.

И бабушка откладывала побольше, потому что лю-

била ходить в кино так же сильно, как я. Сразу же мы принимали и другое важное решение: обедов и ужинов не готовить, а ходить в кафе, которое было в нашем доме, на первом этаже. Я очень любил обедать и ужинать в кафе. Там мы с бабушкой тоже вполне находили общий язык.

— Ну-с, первого и второго мы не берем? — иногда говорила бабушка.

В кафе мы часто обходились без супа и даже без второго, но зато неизменно брали селедку и по две порции желе в металлических формочках. Нам было вкусно, и мы экономили деньги на кино!..

С бабушкой я попадал даже на те фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались.

— Я очень слаба, — объясняла бабушка контролерам, угрожающе старея и дряхлея у меня на глазах, — он повсюду меня сопровождает... Обещаю вам, что он не будет смотреть на экран!

— Пардон, почему же ты все-таки смотришь? — лукаво спрашивала она в темноте кинозала.

«Я очень слаба!» — эта фраза часто выручала бабушку.

— Я очень слаба, — говорила она, спасаясь от того, что мои родители считали совершенно необходимым для продления ее жизни: к примеру, от физических упражнений и длинных прогулок.

Мы с бабушкой были «неправильными» людьми. И это нас объединяло!

В тот год отец и мама уехали в командировку месяца на два.

В неблагополучных семьях родители, уехав из дома, вообще не присылают писем, в благополучных пишут примерно раз или два в неделю, — мы с бабушкой получали письма каждый день. Мои родители соблюдали строгую очередность: одно письмо от отца, другое — от мамы, одно — от отца, другое — от мамы... Порядок ни разу не нарушался. В конце письма неизменно стояла дата и чуть пониже всегда было написано: «8 часов утра». Значит, отец и мама писали после своей утренней пробежки и перед работой.

— Фантастика! — сказала однажды бабушка. — Хоть бы раз перепутали очередь!..

Я не мог понять, восторгается она моими родителями или в чем-то их упрекает.

Это было отличительной бабушкиной чертой: по ее тону часто нельзя было определить, шутит она или говорит всерьез, хвалит или высмеивает.

В другой раз, прочитав знаменитые «8 часов утра» в конце маминого письма, бабушка, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну-с, доложу вам: ваш отец — образцовый тренер! Моя дочь уже просто ни на шаг не отстает от него.

И я опять ничего не понял: хвалила ли она моего отца? Или была им недовольна?

Почта не отличалась такой безупречной аккуратностью, как мои родители: письма, отправлявшиеся ими словно по расписанию, попадали в наш облезлый почтовый ящик то утром, то вечером. Но чаще все-таки утром... Я сам вытаскивал их и прочитывал по дороге в школу. Это было удобно во всех отношениях: во-первых, я начинал день как бы с беседы с отцом и мамой, по которым сильно скучал, а во-вторых, если я опаздывал на урок, то помахивал вскрытым конвертом и объяснял:

— Письмо от родителей! Очень важное. Изда-лека!..

И мне почему-то не делали замечаний, а мирно говорили:

— Ну ладно, садись.

О себе отец и мама писали мало: «Работаем, по вечерам изучаем английский язык...» Они изучали его самостоятельно и время от времени устраивали друг другу экзамены. Это меня поражало: никто их не заставлял, никто им не ставил отметок, а они готовились, волновались, писали диктанты. Сами! По своей собственной воле!

Мы всегда особенно горячо восхищаемся поступками, на которые сами не способны, — я восхищался своими родителями.

Рассказав о себе в первых трех строчках, они потом на трех страницах давали нам с бабушкой всякие разумные советы. Мы редко следовали этим советам, но письма читали и перечитывали с большим удовольствием: о нас помнили, о нас заботились... А это всегда так приятно!

В ответ мы с бабушкой предпочитали посылать открытки, которые на почте называли «художественными». Мы были убеждены, что рисунки и фотографии вполне искупают краткость наших посланий. «Подробнее в следующем письме!..» — неизменно сообщали мы под конец. Но это «следующее письмо» так ни разу и не было послано.

Однажды утром произошло неожиданное: я вытащил из ящика целых два письма. И на обоих было написано: «Сергею Емельянову». Этого еще никогда не бывало.

Получать каждый день по письму я давно привык, но два в день... Это уже было слишком!

Я вскрыл первый конверт.

«Сергей! Ты понимаешь, что если я пишу тебе, значит, не могу не писать. Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день... Еще тяжелее. Со мной случилась беда. И ты единственный человек, которому я хочу рассказать о ней, с которым хочу (и могу!) посоветоваться: ближе тебя у меня никогда никого не было и не будет. Это я знаю. Я не прошу защищать меня: не от кого. Никто тут не виноват: все произошло так, как и должно было произойти. Все нормально. Все справедливо! Но бывает ведь, знаешь: все справедливо, все правильно, а тебе от этого ничуть не легче. Я возвращаюсь с работы часов около шести. Если ты зайдешь в любой вечер, я буду очень благодарна. А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды. Это нормально, это можно понять. Но если зайдешь, я буду тебе благодарна. Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо».

Подписи не было. Внизу стояло лишь две буквы: «Н. Е.».

Обычно я читал письма на бегу, иногда спотыкаясь и толкая прохожих. Но тут я остановился.

Кто мог называть моего отца Сергеем? Сережей?.. И обращаться к нему на «ты»? На конверте, внизу, под чернильной зеленой чертой, был, как всегда, обратный адрес. Но имени и фамилии не было написано, а стояли все те же буквы: «Н. Е.». Кто эта женщина? И почему ближе моего отца у нее никого нет и не будет? Так могла написать только мама! Но это писала не она...

Я перечитал письмо. У меня неприятно дрожали руки. Потом я начал непроизвольно шепотом повторять последнюю строчку: «Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо». Эта фраза немного успокаивала. «Какая-нибудь общая знакомая — и все, — убеждал я себя. — Конечно... Раз она знает маму! И пишет: «Привет жене».

Но постепенно голос мой сам собою стал звучать как-то насмешливо, и эти слова выглядели уже издевательскими по отношению к маме. Я вспомнил, что

отец употреблял слово «привет», когда хотел упрекнуть меня в чем-нибудь: «Опять принес тройку? Привет тебе! Опять подсказывал на уроке? Привет тебе!» Может быть, эта женщина научилась от отца употреблять слово «привет» в таком именно смысле?..

— Ты чего гудишь себе под нос? — откуда-то сверху, спускаясь с лестницы, спросил сосед.

Обычно, когда я врал, фразы у меня получались бодрыми, нарочито уверенными, чтобы никто не мог в них усомниться. На этот раз я ответил вяло:

— Учю роль...

— Тоскливую тебе какую-то роль поручили, — сказал сосед, находясь уже подо мной, этажом ниже.

Вдруг я вспомнил о втором письме. В тот день была очередь отца, и мне неожиданно захотелось, чтобы он написал какие-нибудь хорошие, ласковые слова о маме. Но отец ничего такого не писал, — он выражал в своем письме много разных надежд: надеялся, что я не буду забывать о математике, а бабушка о своем возрасте... Надеялся, что мы не будем каждый день заказывать селедку, потому что у бабушки в организме происходит вредное отложение солей и забывать об этом неразумно.

Как истинный друг школьного коллектива, он надеялся, что спортивный кружок без него не развалится. О маме не было ни единого слова...

Это показалось мне подозрительным. Подозрительным стало казаться мне даже то, что отец всегда уходил на работу вместе с мамой и возвращался вместе с ней. В этом была, чудилось мне в тот миг, какая-то нарочитость, как в моих фразах, когда я врал, но хотел убедить взрослых, что говорю чистую правду.

В школу я опоздал на целых пятнадцать минут. Но почему-то не стал помахать в воздухе раскрытым конвертом... Как назло, был урок зоологии.

— Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, — сказал наш классный руководитель. — Это, я вижу, не всегда верно: иногда падает очень далеко. Очень!..

3

До того дня жизнь казалась мне настолько простой и ясной, что я редко в чем-нибудь сомневался. Если же сомнения все-таки настигали меня, я почти никогда не шел с ними к отцу и маме: советы их были такими четкими и разумными, что до них вполне можно было додуматься самому. Эти советы легко было произносить, но им трудно было следовать: они подходили лишь для таких образцовых людей, какими были мои родители. Я не был образцовым человеком и чаще всего советовался с бабушкой.

Но в тот день я не мог к ней обратиться: все-таки она была маминой мамой.

Иногда я советовался с Антоном. Он выслушивал меня очень внимательно. У него розовели корни волос, и это значило, что он старается глубоко вникнуть в суть моей просьбы или вопроса. Потом он говорил:

— Я должен подумать. Это очень серьезно.

Так как в моих сомнениях, как правило, ничего серьезного не было, я вскоре забывал о них. А мой добросовестный друг через день или два отводил меня в сторону и говорил:

— Я все обдумал. Мне кажется...

— Что ты обдумал? — легкомысленно спрашивал я.

Антон отчаянно заикался от чувства ответственности за решение того вопроса, о котором я успел позабыть. Это вызывало во мне раскаяние, и я выслушивал своего друга с таким благодарным вниманием, что корни его белесых волос начинали прямо-таки пылать и искриться. Советы Антона тоже редко устраивали меня. Согласно им, почти всегда нужно было жертвовать собой во имя правды и справедливости. А я жертвовать собой не любил.

Но я верил своему лучшему другу. И знал, что если когда-нибудь меня подстережет настоящая опасность, я приду за помощью именно к нему.

И вот опасность возникла. Я еще не мог разглядеть ясно ее лица, но я предчувствовал ее. Это была, наверно, та единственная беда, с которой я не мог прийти к своему лучшему другу. И вообще ни к кому... Никому не мог я сознаться в том, что отец (мой отец!) был и будет для какой-то неведомой мне женщины самым близким человеком на свете. Он не был таким даже для мамы... Она часто повторяла, что «для истинной матери самый дорогой человек — это ее ребенок».

— Таков закон природы! — соглашался отец. Он всегда уважал законы.

Я не мог обратиться ни к бабушке, ни к Антону, и я решил сам защитить наш дом, а заодно и свое спокойствие, свою душевную беспечность, ценность которой сразу необычайно поднялась в моих глазах. Я, ничего еще не свершивший, решил сам защитить то единственное, что отличало меня от многих и чем я гордился: образцовость нашей семьи.

Женщина писала, что приходит с работы часов около шести. В это время я и отправился по адресу, который был написан на конверте, внизу, под зеленой чернильной чертой.

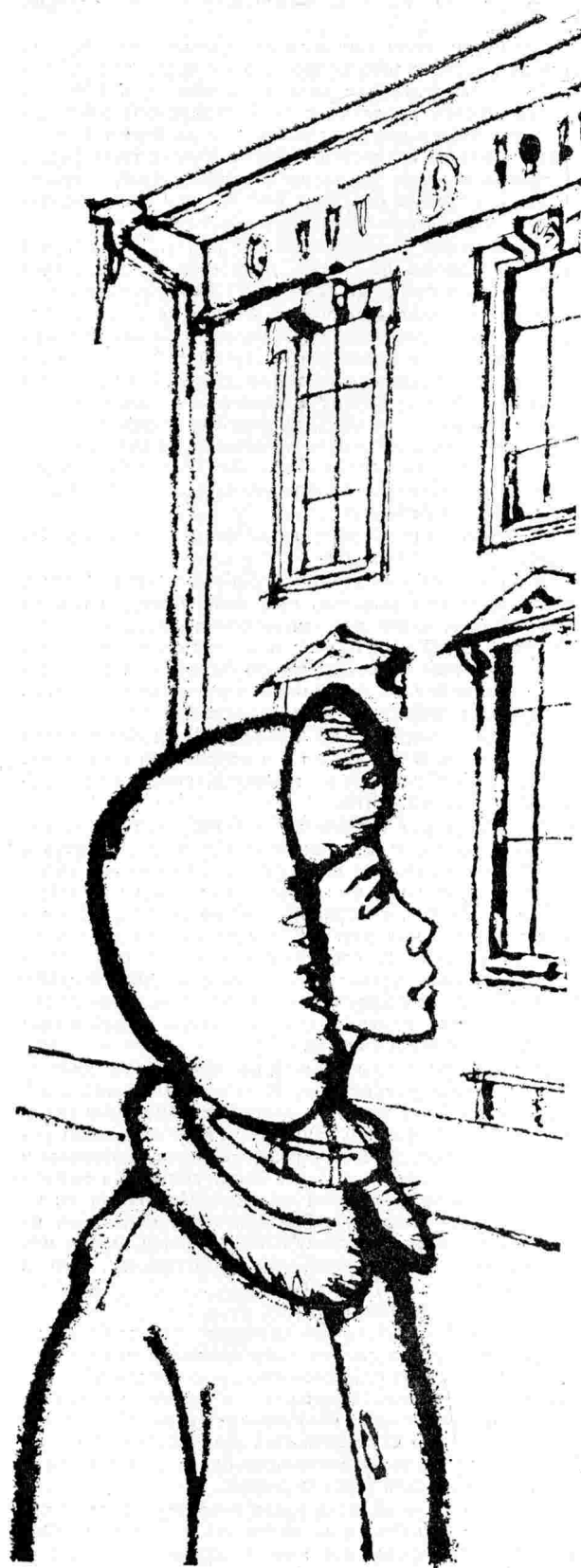
Я проехал две остановки на автобусе, прошел немного пешком и остановился возле двухэтажного желтого домика. Над его окнами нависли витиеватые лепные украшения, на которых, как сосуды на лицах пожилых людей, выступили толстые трещины. На таких старых домах часто, будто заплатки из другого, нового материала, сверкают мрамором и золотом мемориальные доски: «Здесь жил... Здесь бывал... Здесь родился... Здесь умер...» На этом доме доски не было, хотя, конечно, немало разных людей в нем родилось, жило и умерло.

Я долго разглядывал желтое, выцветшее здание, потому что вдруг оробел. И что я скажу той женщине, мне было вовсе не ясно. Все вдруг мне стало интересно. Я разглядывал вату между оконными рамами, грязную, запыленную, с редкими кружочками конфетти: залетели, должно быть, сюда из комнаты в новогоднюю ночь. Я на все обращал внимание: на просаленные свертки, выставленные в форточки, на сосульки, которые нависли над окнами, тоже как украшение, только новенькое, хрустальное. Что я скажу?

Как начну разговор?..

Я вспомнил почему-то цветную фотографию из журнала, которая долгие годы висела у нас на кухне, над столиком одинокой соседки: красавица в купальном костюме, опершись на весло, призывала всех жильцов нашей квартиры: «Путешествуйте летом по рекам!» Одинокая соседка никогда по рекам не путешествовала, и непонятно было, зачем она вырезала и повесила ту фотографию.

Заходя на кухню, отец часто останавливался возле красавицы в купальном костюме и говорил: «Она совершенно права: нет ничего разумнее отдыха на



воде!» Отец соглашался с женщиной на фотографии. Это меня раздражало. Я сравнивал ее с мамой и огорчался: женщина с веслом, тоже загорелая, тоже белозубая, тоже с веселыми глазами, была все же красивее мамы. И я всегда старался унизить красавицу: «Знаю таких! Купальный костюм наденут, а плавать не умеют. Весло возьмут, а грести не могут! С теннисной ракеткой рассказывают, а в теннис ни разу в жизни и не играли...»

Прохаживаясь в нерешительности возле старого желтого дома, я мысленно представлял себе, как поднимусь по лестнице, как позвоню в квартиру номер семь (она, вероятно, на втором этаже), как услышу за дверью легкие, ничего не подозревающие шаги, как приму гордую позу, протяну письмо и спрошу:

«Это вы писали?»

«Да», — ответят мне тихо.

«Вам просили его вернуть!..»

И уйду.

Но потом я решил, что так быстро уходить не стоит. Может быть, мне предстоит борьба?

А если дверь мне откроет красавица, вроде той, что коптилась у нас на кухне? И она будет красивее мамы!.. Но, конечно, она не умеет так, как мама, ходить на лыжах и плавать. Не умеет проектировать заводы, имена которых даже нельзя произносить, и поэтому они скрываются под номерами. А мама знает все их тайны! И никто, конечно, не восхищается ею так, как мамой! Я расскажу ей все о своей маме, чтоб она и не думала с ней тягаться.

Зарядившись решительностью и гневом, я взбежал на второй этаж. Письмо я держал перед собой... Так жильцы нашего дома, у которых мы нечаянно выбивали стекла футбольным мячом, прибегая к нашим родителям, всегда торжественно держали впереди себя этот самый футбольный мяч: он был главным свидетелем обвинения.

На двери квартиры номер семь висел список жильцов. «Н. Емельяновой — 3 звонка», — прочитал я.

Н. Емельяновой? Что за странное совпадение? Так, может быть, она просто папина родственница? Двоюродная сестра, например? А я о ней ничего не знаю... Забыли мне рассказать о ней — что ж тут такого? Может быть, у нее нет ни родителей, ни мужа, ни ребенка, и поэтому мой отец самый близкий для нее человек? Это вполне возможно. Конечно, это так и есть!

Злость моя сразу прошла. И как тот же футбольный мяч, из которого вдруг с шипением вышел весь воздух, я сразу сник, присмирел. Спрятал письмо в карман. Но потом вытащил обратно: я вспомнил, что у женщины этой случилась беда. Странно, но ни разу за весь день я не подумал о строчках, которые были в письме главными, ради которых и было написано все письмо: «Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день... Со мной случилась беда».

Что за мартовский день? Наверно, в тот день кто-то умер. Или она тогда провалилась на экзаменах, а сейчас кто-нибудь умер... Ведь она пишет, что теперь ей еще труднее.

А зачем я тогда пришел? Просто скажу, что отца нет в Москве, — и все. Чоб не ждала.

Я вновь спрятал письмо и позвонил. За дверью послышались стремительные, нетерпеливые шаги, к двери почти бежали. Эти три звонка были долгожданными. Но ждали, конечно, не меня.

Открыла женщина. В коридоре и на лестнице было полутемно.

— Ты к кому, мальчик? — не сразу, как будто сдерживая разочарование, спросила женщина. И странно

было, что это она только что бежала по коридору: вид у нее был усталый.

— Мне к Емельяновой...

— Ты от Шурика?! — вскрикнула женщина. Но вскрикнула еле слышно, как бы про себя. И еще раз повторила уже совсем тихо, с надеждой, боящейся обмануться: — Ты от Шурика?..

— Нет... я по другому вопросу...

4

Войдя в комнату, я вздрогнул и застыл на месте, потому что увидел отца...

Никогда еще я не видел его таким. Он смотрел на меня не своим обычным спокойным или уверенно-жизнерадостным взглядом, а глазами растерянными, словно ищущими чьей-то помощи. И волосы его не были аккуратно зачесаны назад (иногда по утрам он даже натягивал на голову сетку, чтобы ни один волосок не нарушал порядка), нет, волосы его беспорядочно толпились, спадали на лоб и на уши, которые показались мне очень большими потому, должно быть, что лицо было худым и узким. На щеках были даже неглубокие ямочки, которых я никогда раньше не замечал.

И одет он был совершенно неузнаваемо... Не было на нем васьковского тренировочного свитера («Из чистой шерсти!» — объяснил мне однажды отец), не было белоснежной рубашки и безукоризненно завязанного галстука, не было добротного костюма с редкими, еле заметными белыми полосками на темном фоне, а была какая-то помятая косоворотка с незастегнутыми верхними пуговицами. Косоворотка морщижилась, потому что была велика для отцовской шеи, которая никогда прежде не казалась мне такой беззащитно тонкой.

А на другой фотографии отец был в солдатской гимнастерке, которая тоже была ему велика. На бритой голове сидела пилотка со звездочкой. А взгляд был безрадостным, горьким.

— Это я получила в сорок первом году, с фронта. Тогда было очень плохо... — неожиданно произнесла женщина.

Голос у нее был удивительно мягкий, успокаивающий, как у врачей и медсестер, которые однажды лечили меня в больнице. Слова «тяжело» и «плохо» они произносили так, будто знали, что очень скоро все будет легко и хорошо. Грустные слова эти звучали у них без малейшего намека на безнадежность.

Она не могла понять, почему я так долго и пристально разглядываю фотографию на стене. Но не спрашивала меня об этом. И тогда я сказал сам:

— Это мой отец.

Она подошла ко мне совсем близко и стала молча, внимательно смотреть мне в лицо, как это делают люди, страдающие близорукостью. В их откровенном разглядывании не ощущаешь ничего бестактного или бесцеремонного.

Тут и я получше рассмотрел ее. Она, и правда, была близорука: очки с толстыми стеклами, казавшиеся мне мужскими, не вполне помогали ей, потому что она прищуривала глаза. Трудно было определить, сколько ей лет: лицо было бледное, утомленное, но что-то, какая-то деталь внешности упрямо молодила ее. Это была толстая темная коса, как бы венчавшая ее голову тугим кольцом.

Когда отец знакомил меня со своими приятелями или с сослуживцами, те обязательно говорили:

— Папин сын! Похож. Очень похож!.. От такого не откажешься!

Или что-нибудь вроде этого. Хотя на самом деле я был похож на бабушку, на мамину маму.

Женщина долго рассматривала меня, но не сказала, что я похож на отца. А просто спросила:

— Это отец прислал тебя?

— Моих родителей нет. Они уехали в командировку.

Мне захотелось подчеркнуть, что отец и мама уехали вместе. Но слово «мама» я при ней произнести не смог. И поэтому сказал «родители».

— Надолго они уехали?

— Года на полтора, — неожиданно для самого себя соврал я. И потом еще добавил: — Или на два... Как там получится.

И, чтобы скрыть свое смущение, стал очень подробно объяснять:

— А тут ваше письмо пришло. Я утром полез в ящик, думал, от отца, а это от вас... Я его прочитал — и сразу решил...

Тут только я подумал о том, что чужое письмо читать не полагалось, и споткнулся, замолк. Но лишь на полминуты. А потом от нараставшего смущения стал объяснять еще подробнее:

— У нас с отцом одинаковые имена. А на лестнице по утрам темно, плохо видно. Я не разобрал сперва, кому написано... Вижу: Сергею Емельянову. Я и подумал, что мне. Потом вижу: не мне. Но поздно уже было...

Я протянул ей письмо, которое успел выучить наизусть. От этого оно выглядело старым, помятым архивным документом.

— Ты, значит, тоже Сергей? — переспросила она. — В честь отца? Это можно понять. Отец у тебя замечательный. Он много вынес... Особенно в юности. Видишь, какой худой. Заочно учился, работал. Потом добровольно ушел на фронт. Я не хотела, просила его остаться, а он ушел. Был опасно контужен. Я долго его лечила...

— Вы доктор? — спросил я.

— Да... У него была жестокая бессонница. Спасти его мог лишь спорт. Еще режим дня, дисциплина... Долго я с ним сражалась. Сейчас он нормально спит?

Отец часто с гордостью говорил, что спит, как богатырь, и даже снов никогда не видит. «Какие нынче показывают сны? — шутил он. — Цветные, широкоформатные?» Но я почему-то не решился сообщить ей об этом. И сказал:

— Спит так себе. Как когда...

Прощаясь, она не просила меня передавать отцу привет, не говорила, чтобы он, когда придет, зашел к ней.

— Как вас зовут? — спросил я уже в дверях.

— Ниной Георгиевной, — ответила она. И улыбнулась: — Лучше поздно, чем никогда. Хотя это можно понять: мы оба с тобой смущались...

«Она была женой отца, — думал я, возвращаясь домой. — Она не сказала об этом, но я уверен. Здесь, в этом стареньком желтом доме, отец был худым и страдал бессонницей. Учился... Заочно, после работы. Наверно, она ему помогала... Отсюда ушел на фронт и сюда же вернулся. Она его лечила... Но почему мне об этом никто никогда не рассказывал? Почему?! Даже бабушка, с которой мы так часто обменивались тайнами. А может, она сама ничего не знает?»

Я слышал, как однажды, в день годовщины свадьбы моих родителей, отец поднял тост за свою первую любовь, то есть за маму... Значит, эту женщину он не любил?

Дома я спросил у бабушки, которая перечитывала Стивенсона или Вальтера Скотта (это были ее любимые писатели):

— Бывает так, что первая любовь приходит потом... Ну, не сразу? Человек уже женат, а первая любовь еще не пришла... Так бывает?

— Пардон, я об этом уже забыла. Вот придет отец — у него и спроси.

— Почему у отца?

Бабушка как-то резко оторвалась от своих любимых приключений, от которых отвлечь ее было не так-то легко, и взглянула на меня серьезно, без своей обычной лукавой улыбки. Конечно, она все знала.

Я смотрел на отца, хохотавшего со стены. На лице у него не было ямочек, шея не была уже худой и беззащитной... Мне вдруг стало неприятно смотреть на эту фотографию.

Хотя ведь она сама сказала, что мой отец — замечательный человек. Сама сказала!

5

На следующий день я полез в наш старый почтовый ящик не по дороге в школу, а как только проснулся, выскочив на лестницу в трусах и в майке. Двух писем на имя Сергея Емельянова прийти уже не могло, это я понимал, а все же я долго не мог попасть тонким, маленьким ключиком в маленький, словно игрушечный, замочек, в который прежде попадал сразу. Я вынул письмо от мамы...

Читать это письмо на ходу я уже не мог. Уселся в ванной, зачем-то заперся и стал внимательно изучать строчку за строчкой, чего раньше ни разу не делал. Всему я теперь придавал преувеличенное значение. И прежде всего отметил, что мамино письмо заметно отличалось от писем отца. Должно быть, и раньше отец и мама писали по-разному, но я не обращал на это внимания. А сейчас вот заметил.

Отец никогда не писал, что скучает по дому, что хочет скорей вернуться, хотя, конечно, скучал. Он считал неразумным расстраивать понапрасну себя и нас с бабушкой, если уж командировка выписана на определенный срок и сократить этот срок невозможно.

Отец часто употреблял эти слова: «разумно» и «неразумно».

— Неразумно растревать себя и других! — говорил он.

Мама себя растревала. Она писала, что все время видит во сне, будто я заболел (в отличие от отца она видела сны). Она волновалась, не болят ли у бабушки ноги, в которых происходило то самое вредное отложение солей. Мама клялась, что больше никогда не уедет в столь длительную командировку, — она и раньше обещала мне это.

Я слышал, как в последний раз, перед отъездом, отец уговаривал маму:

— Неразумно оставлять объект без присмотра. Это же наше детище!

— Он тоже наше детище, — возражала мама, укаывая на меня. Она очень редко не соглашалась с отцом и делала это робко, сама удивляясь тому, что спорит.

Отец говорил об общественном долге, о том, что на нас с бабушкой можно положиться, что мы оба взрослые люди.

— Он, может быть, и взрослый, — кивнула в мою сторону бабушка. — Но о себе я бы этого не сказала.

— Зато я скажу за вас обоих! Вы не можете нас подвести! — воскликнул отец.

В споре он часто переходил на громкие восклицания, которые как-то очень быстро решали спор в его пользу.

В этом письме мама вновь жаловалась, что очень тоскует. Она мечтала о том, что будет, когда они с отцом возвратятся домой. Этой мечте было посвящено целых полторы или две страницы.

Мама мечтала, что они с отцом приучат меня вставать рано-рано, в половине седьмого, и мы все троим будем бегать до завтрака вокруг двора. Она мечтала, что по воскресеньям мы четвером, вместе с бабушкой, будем ходить в музей и на выставки... Мама уже не первый раз мечтала в письмах обо всем этом, и всегда ее мечты казались мне на расстоянии очень привлекательными. Я готов был вставать ни свет ни заря и бегать по двору (лишь бы мама с отцом скорее вернулись!). Я готов был ходить на выставки и в музей, хотя мы с бабушкой явно предпочитали кино (лишь бы мама с отцом скорее приехали!).

Но на этот раз мамини мечты, и особенно ее слова «Все снова будет прекрасно! Все будет так хорошо!» не вызвали у меня той радости, какую вызывали прежде. Странное, незнакомое чувство мешало мне радоваться этим словам. Мне словно бы было немного стыдно за то, что все опять будет «так хорошо».

«Глупости! — решительно сказал я сам себе, прогоняя неприятное, тревожное чувство. — Какие глупости!.. Разве без нее отец не кончил бы институт? Разве другие врачи не могли вылечить его после контузии?..»

В ванную комнату постучались соседи. И я побежал одеваться с той мыслью, которая пришла ко мне последней: отец и сам бы добился всего! Конечно, всего бы добился: ведь я видел, как он мог и сейчас ночами сидеть над чертежными досками, как мог сам (без всякого принуждения!) изучать английский язык, чтобы потом читать всякие научные книги...

В школу я пришел успокоенный, снова довольный всем на свете.

На последнем уроке Антон получил тройку по физике. Он знал все прекрасно, но он смущался.

— Тебе бы лучше отвечать после уроков, один на один с учителем. Ты бы тогда не терялся! — утешал я своего друга. — И не надо выходить к доске, а прямо со своего места... Хочешь, я предложу? Так, мол, и так, в связи с заиканием... Ты ведь контрольные как здорово пишешь! А почему? Никто на тебя не глазет!

Сочинения и контрольные Антон писал хорошо. Все считали, что он у меня сдувает. Это было ужасно несправедливо, потому что на самом деле я сдувал у него.

Антон в тот день очень расстроился. Это было написано у него на лице. Лицо было круглое, большое, и на нем легко было все прочитать. Я решил снова утешить Антона:

— Пошли в кино!

— Прости, Сергей... но я не смогу. Сегодня у мамы нету ночного дежурства. Она будет дома.

Его мама работала телефонисткой.

— Чудак! Ты ничего не понял. Пойдем на вечерний сеанс, с бабушкой. Скажем, что она совсем ослабела, и мы вдвоем ее сопровождаем. Понял?

— Прости, Сергей... Мне неудобно тебе отказывать, но когда мама дома...

— Ты сидишь возле нее? Развлекаешь?

Антон думал о чем-то своем и даже не ответил на мой вопрос. Он сказал:

— Не знаю прямо, как ей дневник показать...
— А ты не показывай. Скажи, забрали на проверку. В горно!

— Не могу я ее обманывать. Хватит с нее!

— Чего «хватит»?

— Она говорит: «Если и из тебя ничего не выйдет, я утоплюсь».

— А из кого еще не вышло?

— Ну, это она так считает, что жизнь у нее не удалась. Я очень хочу сделать ей что-нибудь такое... приятное. А приношу домой одни неприятности. Так у меня получается.

Мы дружили с Антоном больше двух лет, но никогда я не был у него дома. Наверно, там было не очень уютно, и он не приглашал.

Маму его я никогда не видел. В тот день она представлялась мне похожей на Нину Георгиевну.

И мне тоже хотелось сделать Нине Георгиевне что-нибудь приятное. Но ведь я даже не спросил, какая у нее беда... Не решился. Или просто забыл: все расспрашивал об отце. Хотя с ним никакой беды не случилось...

Я не хотел, чтоб отец защищал ее, и наврал, что он вернется через полтора года. Но я сам мог защитить! Вместо отца!..

У меня уже не было ее письма, но я знал его наизусть. И как это бывает, в памяти сами собой всплывали то одни, то другие строчки. «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды...» Сперва я не обратил на эти строки внимания. А сейчас вспомнил их. Значит, она уже однажды писала отцу, звала его, но он не пришел? Зачем она его звала? Когда это было?.. И кто такой Шурик, от которого она с нетерпением ждет вестей?

Я готов был ее защищать. Но ведь она писала, что защищать ее не от кого. Может, ей просто нужно, чтоб кто-нибудь выслушал, с кем-нибудь поделиться?..

Защищать, конечно, труднее, чем «просто выслушать». Но на защиту не нужно иметь прав: чтобы защитить человека, не надо даже спрашивать его разрешения. А чтобы ты мог «просто выслушать», надо, чтоб тебе рассказали, доверили, чтоб с тобой поделились.

Станет ли со мной делиться Нина Георгиевна? Я не знал.

6

Однако, подходя к желтому двухэтажному домику, я почему-то вновь забыл о ее беде. Я думал только, как бы мне потактичнее узнать, из-за чего они расстались с отцом. Как об этом спросить? Может быть, так: «Из-за чего вы перестали быть вместе?» Эта фраза заставила меня поежиться: трудно было представить себе, что отец был «вместе» с кем-нибудь, кроме мамы. Лучше спросить просто: «Из-за чего вы развелись?» Или: «Из-за чего разошлись?» Все эти фразы мне как-то трудно и неприятно было произносить.

— Вы поссорились с отцом, да? — спросил я у Нины Георгиевны.

Она улыбнулась:

— Не ссорились и не дрались... Просто так получилось. Я ведь гораздо старше Сергея... Все это можно понять.

Я с радостью вдруг подумал, что мама на целых семь лет моложе отца. Должно быть, лицо мое, по-

мимо воли, на миг выразило эту радость. Нина Георгиевна с чуть заметным удивлением поправила очки. И тогда я, чтобы загладить свою вину, слишком уж громко, с грубо подчеркнутым сочувствием спросил:

— У вас какая-то беда случилась?

Ей не хотелось отвечать на такой вопрос. Она и не ответила. А просто подошла к фотографии, на которой был изображен мальчишка лет трех или четырех, в матроске с серебряным словом «Витязь» на ленте, и стала рассказывать как будто самой себе.

— Когда это случилось, я взяла мальчика из детского дома. Ему было два с половиной года. Он потерялся на войне... Сейчас ему пятнадцать лет и семь месяцев...

Она, конечно, очень любила этого мальчишку, если называла его возраст так точно, по месяцам. Мама тоже так именно говорила о моем возрасте. А отец будто старался сделать меня постарше: «Ему двенадцатый! Ему тринадцатый!» Тогда я сердился на маму за ее точность — манера отца больше устраивала меня: я хотел в ту пору скорей повзрослеть.

В коридоре раздался звонок. Нина Георгиевна побежала открывать с той неожиданной для нее быстротой, которая уже удивила меня накануне. Я даже не успел сказать ей, что в дверь звонили всего один раз. Я сказал это, когда она вернулась:

— К вам ведь три звонка...

— Я знаю, — мягко перебила она меня. — Я только вижу плохо, а слышу пока хорошо.

И продолжала рассказывать как бы самой себе:

— Недавно нашлись его родители. Так и должно было случиться... Это нормально.

Она не могла больше рассказывать.

Чтоб прекратить молчание, я тихо спросил:

— Его Шуриком зовут?

— А ты откуда знаешь?

— Вы вчера подумали, что я от Шурика... Когда открыли дверь.

— Да... Он уехал к своим родителям. Они оставались за городом, у родных. И все не приезжает... Я знаю адрес. Но ехать нельзя: может быть, родители хотят, чтоб он к ним привык. Это нормально. Это можно понять...

Снова раздался один звонок. И снова она побежала открывать.

А вернулась обратно совсем без сил: ей нелегко было ждать. Она опустилась на диван. И стала говорить, но уже не рассказывать, а как бы рассуждать сама с собой, будто меня и не было в комнате:

— Тогда, много лет назад, мне было трудно. Но сейчас еще хуже... Все-таки он был моим сыном. А теперь оказалось, что он не мой. Вторая потеря в жизни... Тогда я была еще молодой, были надежды. А теперь ничего уже нет. Приговор окончательный — одиночество.

— Хотите, я съезжу? Туда, за город... И привезу его! Хотите?

Она вздрогнула, будто удивившись, что я слышал ее слова.

— Никого привозить не надо. Кто хочет, сам приезжает... Ты согласен?

Я был согласен, но не сказал ей этого. А сказал совсем другое:

— Вы не будете одна, Нина Георгиевна! Хотите, я буду к вам приходить? Хоть каждый день... Честное слово! Хотите? Хоть каждый день!

Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно.

«Как же я буду ездить к ней каждый день? — рассуждал я, вернувшись домой. — Сейчас еще ничего... А потом, когда вернутся мои родители?»

Если мне нужно было преодолеть какую-нибудь трудность, я начинал убеждать самого себя в том, что делать это совершенно необязательно и даже вовсе не нужно. Так было и сейчас. Я начал рассуждать: «Ведь я же не сказал ей твердо и уверенно, что буду приходить, а просто задал вопрос: «Хотите, я буду к вам приходить?» И она мне ничего не ответила: ни «да», ни «нет». А ведь если бы она хотела, то обязательно бы сказала: «Приходи! Приходи, пожалуйста! Я так буду тебя ждать!» Она ничего этого не сказала. А я возьму и без всякого приглашения буду ходить? И потом, вообще... Когда я сказал «хоть каждый день», это же было, как говорит наша учительница литературы, «сознательное преувеличение, гиперболическое заострение». Она это, конечно, поняла... А я вдруг залажу ходить, будто никакой гиперболы вовсе и не было!»

Одним словом, я убедил себя, что ходить каждый день не нужно.

Но на следующий день пошел...

Дверь мне открыл парень лет пятнадцати. Увидев его, я поправил свою шапку-ушанку, которая одним ухом всегда упрямо сползала мне на лицо, и, хоть был не на улице, застегнул пальто на все пуговицы. Парень был аккуратный, прибранный. И красивый. У него были волнистые светлые волосы, зачесанные набок, голубые глаза и нежные, розовые щеки.

Вежливо и даже ласково спросил он, кого мне нужно. Я терялся и благоговел перед мальчишками, которые были всего на два или на три года старше меня, гораздо больше, чем перед взрослыми людьми. Особенно я робел перед теми, которые были не похожи на меня, в которых я чувствовал превосходство. Я и тут оробел и чуть было не забыл имя-отчество Нины Георгиевны.

— Заходи, пожалуйста, — сказал парень.

Он пропустил меня вперед. Я прошел в конец коридора и постучал в последнюю дверь. Парень удивленно посмотрел на меня: откуда я знаю, куда стучать? Но ничего не спросил. Он гостеприимно распахнул передо мной дверь, и я вновь увидел отца... И опять застыл на пороге. Но парень не торопил меня. Наконец он сказал, не поняв причины моего замешательства:

— Не стесняйся. Заходи, пожалуйста. Она скоро придет.

Мне казалось, он научился мягкости и вежливости у Нины Георгиевны.

Я вошел. Книжный и платяной шкафы были открыты, на полу стоял чемодан с откинутой крышкой. Проходя мимо, я заглянул в него: там, на дне, лежал свитер с оленьими рогами и несколько книг.

— Раздевайся, пожалуйста. И садись на диван, — сказал парень. — Чтобы не было скучно ждать, почитай книгу.

Не глядя, он вынул из шкафа и бросил на диван толстый том. Это был сборник медицинских статей.

— Разденься, здесь очень жарко, — заботливо повторил он.

Я посмотрел на его отглаженный костюм, на клетчатую рубашку с отложным воротником без единой

морщинки, вспомнил о том, что сегодня на большой перемене посадил два свежих чернильных пятна на свою помятую курточку, и не стал раздеваться.

— Не обращай на меня внимания. Я должен собраться, — сказал он.

И стал заполнять чемодан.

Книги стояли на полках плотно одна к другой, словно в строю. Он вытаскивал некоторые из них, и ряды редели, в них образовались просветы.

Иногда он задумывался:

— Не помню, моя или нет. Кажется, это мне подарили. Сделали бы надпись, все было бы ясно.

Один раз он повернулся ко мне и сказал:

— С вещами легче: там уж не перепутаешь.

Он стал укладывать в чемодан рубашки, трусы, майки. Каждую вещь он предварительно разглядывал, словно был в магазине и собирался ее покупать, разглаживал рукой.

Отдышавшись немного, я подумал, что глупо сидеть на диване в застегнутом на все пуговицы пальто и молчать. И я спросил то, в чем был совершенно уверен.

— Ты Шурик?

Он снова повернулся ко мне.

— А тебе это откуда известно? На лбу у меня вроде ничего не написано. — Он потрогал свой лоб. — А тут написано: «Витязь».

Он указал на фотографию мальчишки лет трех или четырех в матроске и бескозырке.

— Я был здесь вчера. Нина Георгиевна мне рассказала... Она очень ждала тебя.

Лицо его стало строгим и даже печальным.

— Она меня очень любит, — уверенно сказал он. — И я ее тоже очень люблю. Хотя она странный человек. Не от мира сего, то есть не от того, в котором мы с тобой проживаем. Добрая очень... И меня бы испортила своей добротой, если бы я не оказывал сопротивления. Это было мне нелегко. — Он вздохнул, словно бы жалея себя за то, что к нему были слишком добры. — У нас даже бывали конфликты. Сейчас, когда я узнал своего отца, я понял, что во мне от рождения — отцовский стержень. Это меня и спасло.

Он продолжал укладывать вещи.

— Я должен был выбрать. У человека не может быть двух матерей. Тем более, что родители мои живут в другом городе. Значит, разлука с Ниной Георгиевной неизбежна. Они ведь тоже очень любят меня. Пятнадцать лет ждали, искали повсюду. Значит, я должен исчезнуть из этого дома и не напоминать о себе. Так Нине Георгиевне будет гораздо легче. Если собаке хотят отрубить хвост, это надо делать в один прием. Так сказал мне отец. А есть, говорит он, добрые люди, которые рубят хвост в десять приемов, по кусочкам. И думают, что так благороднее. Поэтому я и не приходил... Сейчас вот уйду, а потом напишу письмо. Прощаться с глазу на глаз — это невыносимо.

Я не понимал, почему он мне все это говорит. А он продолжал:

— Мои родители очень благодарны Нине Георгиевне. Хотя и в детском доме мне было бы хорошо: у нас в стране сироты не погибают. Но в домашних условиях, разумеется, было гораздо лучше. Это даже сравнить нельзя. Мои родители хотели на работу ей написать, официально поблагодарить. Но она категорически отказалась. Не от мира сего!..

Я подумал, что его никак нельзя было бы обвинить в «нечеткости». Он, видно, любил поговорить, и все его фразы были обдуманно, какими-то чересчур завершенными. Он твердо знал, что Нина Георгиевна его очень любила. Он твердо знал, что она могла



погубить его своей добротой, но что сироты у нас в стране не погибают. Он был уверен, что родители тоже его очень любили. И что внутри у него — отцовский стержень. Он не сомневался, что хвост надо рубить в один прием.

Нину Георгиевну он четко называл Ниной Георгиевной, хотя раньше (мне это неожиданно пришло в голову), конечно, называл ее мамой. Он ни разу не сбился, не назвал ее так, как раньше.

И все же иногда я улавливал в его голосе еле заметное желание что-то объяснить, оправдаться. Поэтому-то, наверно, он и рассказывал мне то, о чем я его вовсе не спрашивал.

— Думаешь, мне нужны эти рубашки и книги? Родители купят мне новые. Я просто не хочу, чтобы они напоминали Нине Георгиевне обо мне. Ей это будет так тяжело... Лучше уж сразу исчезнуть, лучше один раз пережить и больше не вспоминать. Вот посмотри, на обратной стороне крышки написано: «Шурик Емельянов, второй отряд». Я с этим чемоданом ездил в пионерлагерь, когда был таким, как ты. Она же будет эти слова читать и перечитывать. А зачем? Лучше я заберу чемодан.

У нас с ним была одна фамилия. Это мне не понравилось. И еще я заметил, что от висков у него, словно свалывшийся войлок, свисали белесые космы, которые он еще не брил. И от этого его красивое лицо сразу стало казаться мне неприятным.

Он подошел ко мне, взял за плечи и тоном заговорщика произнес:

- Тебя как зовут?
- Сергеем.
- Помоги мне, Сергей! Дождись Нину Георгиев-

ну. Она скоро придет: у нее день родительских консультаций. Скажи, что я очень переживал, что я мысленно с ней прощался. Расскажи, как живой свидетель... Тебе все равно надо ее дождаться! Ты ведь на домашнюю консультацию?

— На какую?

— Как на какую? Ты разве не пациент? Не из нашей школы?

— Нет, я из другой...

— Ничего не пойму! Я был абсолютно уверен, что ты на домашнюю консультацию...

— На какую консультацию? — снова спросил я.

— Она же в моей школе врачом работает. То есть в моей бывшей школе. И дополнительные консультации устраивает: родителям и ребятам. В школе и даже дома... Сознательность на грани фантастики! Иногда, бывало, просто отдохнуть невозможно: придет какой-нибудь охламон из «неполной средней» и раздевается тут до пояса, дышит, как паровоз, то носом, то ртом. В общем-то, это, конечно, заслуживает величайшего уважения. Только никто ей спасибо еще не сказал. Я по крайней мере не слышал. А ты-то зачем пришел?

— Я по другому вопросу.

— По в о п р о с у? Не буду вдаваться в подробности: некогда. Жаль, что ты не из нашей школы: хотел оказать небольшую услугу. Ответную, так сказать!

— Какую? — полюбопытствовал я.

— Да зачем же тебе, раз не из нашей школы? Хотел вспомнить о шалостях раннего детства...

Он махнул рукой, словно бы стыдясь несолид-

ных детских воспоминаний. Но все-таки стал вспоминать:

— Она ведь почти ничего не видит. И вежлива очень. Даже если не верит, не решается этого показать, чтоб не обидеть. «Не рани!» — как она говорит. Ребята, конечно, этого не знали. Ну, а я подсказал им по-дружески: если, мол, хотите смыться с уроков, делайте это законно, по всем правилам. Подсказал им, что, если сестра от нее хотя бы на расстоянии трех шагов, взять градусник и потихоньку настукивать температуру, она ничего не заметит. У нас, помню, целыми классами настукивали. Особенно перед контрольными. На школу, так сказать, обрушивалась эпидемия! А она ничего не замечала... И выписывала справки, освобождала от занятий. Смешно вспомнить! Заблуждения молодости... Я хотел на прощание сослужить тебе службу. Как говорится, услуга за услугу. К сожалению, ты не сможешь воспользоваться.

Он как-то торжественно и неторопливо согнул руку в локте, рукав пиджака сморщился, полез вверх, и я увидел у него на руке красивые плоские часы.

— Отец подарил, — между прочим сообщил он. И сразу заторопился: — Мне пора! Скоро Нина Георгиевна вернется. Очень хочется ее увидеть, но разговор принесет ей только расстройство. Лучше потом напишу письмо.

Он вернулся к своему чемодану. Стал закрывать крышку, но она не захлопывалась до конца: то вылезал кончик рубашки, то высовывались трусы. Тогда он сел на крышку и так, сидя на ней, закрыл чемодан на ключ. Но синие трусы все же продолжали торчать.

На прощание Шурик еще раз повернулся ко мне:

— Очень хорошо, что ты здесь оказался. Я потом напишу Нине Георгиевне. А ты скажи, что я очень переживал. Это правда. Я ведь люблю ее. И многим обязан... Но если нашлись родители? Я ведь не виноват.



«И

этот ее покинул», — мысленно сказал я себе, когда за Шуриком захлопнулась дверь.

Но он тут же вернулся. Я подумал, что он все-таки хочет ее дождаться. Шурик положил на стол два ключа и сказал:

— Передай ей, пожалуйста. Вот этот, английский, от парадной двери... Впрочем, она знает. Теперь мне не будет пути: вернулся.

«Пусть не будет...» — подумал я.

Боясь встретиться с ней по дороге, он удалился почти бегом, припадая на правую сторону: руку оттягивал чемодан. Он удирал...

Я смотрел на мальчишку в матроске с серебряным словом «Витязь». Я любил сравнивать старые фотографии с живыми людьми, которые были на них изображены и которых я знал повзрослевшими, постаревшими и совсем другими.

«Эх ты, витязь! Рыцарь! — думал я. — Исчезнуть... Так ей будет легче! И в детском доме было бы хорошо... У нас в стране сироты не погибают... Все правильно. Все абсолютно точно».

Я представлял себе, как много лет назад Нина Георгиевна купила ему этот нарядный матроский костюмчик, как долго причесывала его перед тем, как повести к фотографу: из-под бескозырки продуманно выбивались светлые волнистые волосы. Но часы она ему купить не успела.

Шурик и мой отец были на стене почти рядом. Это было мне неприятно. «Они ведь такие разные», — говорил я себе. — И совсем по-разному ушли из этой комнаты, из этого дома». Я был в этом уверен, хотя не знал в подробностях, как ушел мой отец. Память, словно желая поспорить со мной, вновь и вновь злонамеренно возвращала меня к строчкам письма Нины Георгиевны, которые были мне непонятны: «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды».

Стукнула парадная дверь. В коридоре раздались шаги, снова быстрые, неусталые: она спешила, она думала, что он ждет ее. Тем более что, убегая, Шурик неплотно закрыл дверь и в коридор выбивалась полоска света.

Я схватил ключи, лежавшие на столе, и сунул в карман пальто. Я сделал это необдуманно и лишь потом понял, зачем: эти оставленные на столе ключи говорили о чем-то окончательно непоправимом.

Не веря своим близоруким глазам, Нина Георгиевна обошла комнату. И, даже не поздоровавшись со мною, спросила:

— Спрятался?

Вполголоса, доверительно она сообщила мне:

— Эта привычка у него с детства. Закрылся в шкафу?

Она распахнула платяной шкаф. Должно быть, раньше вещи Шурика заполняли шкаф целиком: теперь он был почти совершенно пуст.

Нина Георгиевна присела на стул. Так мы и сидели с ней друг против друга, в пальто, застегнутых на все пуговицы.

— Он был? — спросила она.

Я кивнул.

— А сейчас?

— Он ушел... Он сказал, что напишет письмо.

Она сгорбилась, пригнула голову. Мне показалось, что Шурик ударил ее тем самым отцовским стержнем, который был у него внутри.

Из-под шапки не было видно ее толстой темной косы, и поэтому ничто не молодило ее лица: оно было бледным, измученным.

Чтоб успокоить ее, я сказал:

— Шурик будет писать вам... Вы будете с ним переписываться!

— Он должен был выбрать, — сказала она. — И выбрал мать и отца. Это нормально. Это можно понять.

И тут произошло со мной что-то странное. Я не мог усидеть на диване. Почему она всегда может понять тех, кто приносит ей горе? Почему считает нормальным все плохое и несправедливое, что случается с ней?

Мне уже не хотелось больше успокаивать ее. И я не заговорил, я закричал:

— Ваш Шурик — предатель! Он предавал вас. Он использовал то, что знает о вас... Как предатель!

Теперь уже я ударил ее.

Она сняла очки, словно думала, что они обманывают ее, что это не я кричу на всю комнату. Я увидел ее глаза — прищуренные, близорукие, беззащитные. Но во мне не было жалости. Наоборот, мне хотелось взбудоражить ее, возмутить, сделать так, чтоб она закричала в один голос со мной. Хотя продолжал я уже не так громко, как начал, но все-таки упрямо продолжал:

— Он рассказал своим друзьям, что вы плохо видите. И что вы добрая... Они обманывали вас. Настукивали температуру... Чтоб убежать с уроков. Это он подучил их! А вы им верили.

Она сгорбилась еще сильнее, еще ниже пригнула

голову. И взглянула на меня исподлобья — очень странно, будто осуждая за то, что слышала. Осуждая не Шурика, нет, не Шурика, а меня.

Не поняв этого взгляда и испугавшись, я стал утешать ее:

— Это было давно. Когда Шурик был еще маленьким... Он просто не понимал. Был еще несознательным! Это было давно. А сейчас ему стыдно. Он сам сказал мне... Честное слово! Не верите?

Я защищал Шурика, хотя она его ни в чем не упрекала. Я как бы извинялся за то, что посмел обидеть его.

Она не слушала меня. Она разговаривала сама с собой:

— Это можно понять. Это нормально... Я ведь не детский врач, я невропатолог.

Стало быть, она осуждала не только меня, но и саму себя. Всех, кроме Шурика. Это было непостижимо.

Она продолжала:

— Значит, я не имею права лечить детей. Я их люблю? Ну что ж, тем более не имею права... Они обманывали меня? Значит, не уважают.

— Что вы! Что вы?! — Я замахал руками. — Это взрослые, когда уважают, то не обманывают. А мы все равно обманываем. Не верите? Честное слово!

Она не слушала, а я настаивал на своем:

— Так бывает. Честное слово! Вот мы, например, очень уважаем учительницу литературы. Мы даже любим ее! Недавно она спрашивает в начале урока: «Я вам задавала домашнее сочинение?» А мы все хором орем: «Не задавали!» Она говорит: «Склероз начинается, все позабыла». А у нее никакого склероза нет. Просто мы ей наврали. Вот видите: уважаем, а все равно наврали! С нами это часто бывает. Не верите? Честное слово!

Казалось, я тоже разговаривал сам с собой: слова мои до нее не доходили. Она продолжала размышлять:

— Он так поступил ради друзей. Это можно понять. А я?.. Не должна я работать в школе. Я люблю ребят, но, видно, не очень-то в них разбираюсь. И не очень умею лечить. Это — главное. Сейчас, посреди учебного года, уйти нельзя. Но до лета надо будет обдумать... Это мне ясно.

Что было делать? Я не смел рассказывать ей об этих проклятых градусниках. Не смел!..

Она подошла к стене, сняла фотографию Шурика. И прижала ее к груди. И погладила рамку. После всего, что я ей рассказал...

Из моей жизни ушла беспечность. Я был уже не таким счастливым, как раньше. Потом, став взрослее, я понял, что беспечное счастье вообще выглядит жестоким и наглым, потому что еще далеко не все люди на свете счастливы. Мне казалось, что у меня изменилась походка, что я стал двигаться медленнее, словно отяжелел. На самом деле ходил я все так же быстро («летал», как говорила мама), немного отяжелела моя голова: я стал чаще задумываться. И даже стал упрекать самого себя, чего прежде никогда со мной не случалось.

Целый вечер в тот день я мучился. «Зачем было рассказывать об этих несчастных градусниках? Думал, она сразу возненавидит Шурика? Не мог вытерпеть этих ее «можно понять», «все нормально»? А если она бросит школу? Вполне на нее похоже!»

Этого я не мог допустить! Казалось, отец, уйдя из того дома, доверил мне обязанность защищать Нину Георгиевну. Или, верней сказать, переложил на меня эту обязанность. И я уже не мог от нее освободиться.

То и дело я мысленно сравнивал отца с Шуриком, чтобы убедиться, что между ними нет ничего общего. «Шурик предал ее! А отец вовсе не предавал, — объяснял я себе. — Мало ли людей расходится на белом свете? Разве все они виноваты?»

Так или иначе, но теперь, кроме меня, у Нины Георгиевны никого не было. Да и меня у нее тоже не было, потому что мы с ней еще не стали друзьями.

Известно, что истина, даже старая, приходя к человеку впервые, кажется ему открытием. В тот день я окончательно убедился, что материнская любовь не слушает доводов и переубедить ее невозможно. Я и прежде не раз думал об этом. Давным-давно я вычитал где-то, что родители любят неудачных детей еще сильнее, чем удачных. Теперь я спросил об этом у бабушки.

— Ты можешь судить по себе, — сказала она. — Кто еще получает письма от родителей так часто, как ты?

Бабушка, как обычно, шутила. В том, что отец и мама любили меня, не было, конечно, ничего странного. Я был уверен, что это ни у кого не могло вызывать удивления...

А Нина Георгиевна? Когда я рассказал ей о Шурике, в ее глазах была неприязнь ко мне. Захочет ли она теперь меня видеть? Но все равно я не мог оставить ее одну...

А что это значит: оставить одну? — раздумывал я. Возле человека, попавшего в беду, могут находиться десятки людей, а он все-таки будет один, если эти люди не нужны ему, если он не считает их своими друзьями. Нужен ли я Нине Георгиевне? Если даже не нужен, я все равно не могу не прийти к ней сейчас. Но как это сделать? Если б мы были друзьями, все было бы очень просто: чтобы явиться к другу, не нужен повод, можно зайти, когда захочется, просто так, без всякого приглашения. А как я явлюсь к ней после того разговора?

Мне нужен был повод. И я начал его искать.

Обычно я без труда находил выход из трудного положения.

— Это потому, что у тебя диктаторские замашки, — говорила бабушка. — Ты убежден, что цель оправдывает любые средства. А так всегда легче действовать: руки не связаны.

Я, и правда, мог притвориться, наврать, разыграть кого-нибудь, если это мне было нужно. Действовать так было в самом деле и проще и веселее. Впрочем, мои обманы и розыгрыши были не очень серьезные, как и цели, ради которых я их совершал.

Теперь, быть может, впервые в жизни, я попал в сложную, необычную ситуацию, но мысль моя, не желая с этим считаться, устремилась в привычном для нее направлении.

Я должен был отыскать причину, которая бы позволила мне вновь подняться на второй этаж старого желтого домика. Одновременно мне хотелось доказать Нине Георгиевне, что она может работать в школе. Два эти замысла вполне можно было объединить. Я обращусь к Нине Георгиевне за медицинской помощью! Пусть спасет какого-нибудь мальчишку от серьезного, очень опасного заболевания. «Хорошо бы от смертельного!» — мечтал я. Но кого спасти? Какого мальчишку?

«Лучше всего пусть спасет меня! — внезапно решил я. — Ну, конечно, меня самого!»

Я быстро составил план действий. И ночью приступил к его выполнению. Да, именно ночью! Мне очень хотелось спать, но я встал, разбудил бабушку и сказал:

— У меня жестокая бессонница...

— Пардон, какая?

— Ну, очень тяжелая... Наверно, это законы наследственности!

— Со сна не пойму: какие законы?

Тут я вспомнил, что бессонница была у отца там, в двухэтажном домике, но бабушка могла об этом не знать: в нашей квартире отец спал богатырским сном. И тогда я сказал:

— Может быть, дедушка или прадедушка этим страдал?

— Один из двух твоих дедушек был, помнится, моим мужем. Он спал превосходно. Другого дедушки я не знала, но если судить по отцу...

— Да... конечно... Он спит богатырским сном. Но я не сплю уже третью ночь.

— Не смыкаешь глаз?

— Смыкаю. Но ненадолго...

— Ну-с, все понятно. Только рано это у тебя началось.

— Я знаю... Обычно не спят старики?

— Осторожней насчет стариков! Я имею в виду другое: ты влюбился? Как же, припоминаю: на днях ты спрашивал что-то о первой любви.

— Чтобы я из-за этого?! Никогда в жизни! Я чувствую, что немного болен... И хочу обратиться к врачу. Мне сказали, что есть один доктор. Кажется, женщина... Она лечит людей от бессонницы. Я схожу к ней.

— В последнее время ты вообще много ходишь, — сказала бабушка, — Я не стесняю твою свободу. Но свобода приносит людям прогресс, а тебе, кажется, одни только двойки.

— У меня нету двоек.

— Так будут, — пообещала бабушка.

— Из-за бессонницы я могу вообще остаться на второй год! А эта женщина замечательно лечит. У себя дома... И совершенно бесплатно! Ты только должна будешь написать ей письмо. Хотя несколько строк: «Благодарю за спасение внука!..» Или что-нибудь вроде этого. Ёй будет очень приятно.

— Ты вовлекаешь меня в авантюру. Но я очень слаба... — сказала бабушка, вновь дряхлея у меня на глазах. — Я очень слаба и не в силах с тобой бороться. Можешь идти к врачу. К профессору. К гипнотизеру! Лечись! Выздоровлявай!.. Только не мешай мне, пожалуйста, спать: я приняла две таблетки снотворного.

— Так, может быть, эта дурная наследственность от тебя?! — радостно воскликнул я.

— Пардон, ты мне надоел.

Бабушка, как всегда, готова была не мешать мне. И даже помочь. Но я еще долго вздыхал, ворочался, два раза вставал и громко пил воду, чтоб она все-таки слышала, как я страдаю.

На другой день, после уроков, я решил поехать к врачу. По дороге к автобусной остановке я репетировал свой предстоящий разговор с Ниной Георгиевной. Я всегда репетировал перед тем, как кого-нибудь разыграть. Мне нужно было заранее подготовить ответы на все возможные удивления, вопросы, недоумения.

Но на этот раз репетиция явно срывалась. Те фразы, которые обычно получались у меня такими круглыми, бойкими, нарочито уверенными, сейчас звучали неубедительно и даже нелепо. Я мысленно

выступал и от имени своей собеседницы. Слова ее становились все резче, все злее... Она не была уже похожа на Нину Георгиевну. А разговор продолжался... Я слышал его как бы со стороны, и один из двух собеседников был мне неприятен: этим собеседником был я сам.

— Вы садитесь? — раздался сзади нервный, подталкивающий голос: подошла моя очередь садиться в автобус.

— Нет, я не еду... — ответил я.

И поплелся домой. Я был в растерянности. Не понимал: что же произошло? Почему я не смог выполнить свой план, который еще недавно казался мне таким удачным и остроумным?

И только сейчас, когда прошли годы, я понял: от меня уходило детство. Уходя, оно предлагало мне помощь, которой я уже не мог воспользоваться...

10

Обмануть Нину Георгиевну я не смог.

Но я должен был доказать, что действительно верю ей как врачу. И что она умеет лечить детей!..

«Должен любой ценой!» — сказал бы я раньше. Теперь любая цена не подходила: я был, как говорят, ограничен в средствах. Действовать в этих условиях было труднее.

Как достичь своей цели без розыгрыша и обмана? И вдруг я поразился самому себе: какой же я недогадливый идиот! Зачем было будить ночью бедную бабушку, если есть на свете Антон? Антон, которому в самом деле надо вылечиться от застенчивости, нерешительности и даже от заикания! А ведь Нина Георгиевна по профессии как раз невропатолог. Она спасет моего лучшего друга! И потом мы всем классом напишем ей благодарность! И она сразу поверит в свои силы... Тут все будет честно и благородно!

После уроков я попросил Антона остаться в классе.

— Будет серьезный разговор, — сказал я.

— Что-нибудь случилось? — участливо спросил мой друг.

— Еще не случилось. Но скоро случится! Я придумал, как помочь твоей матери.

— Маме?..

Я знал, что Антон будет отказываться от моего плана, и решил призвать на помощь его маму.

Антон сидел на нашей «аварийной» парте, а я — за учительским столиком. С этого места, решил я, мои фразы будут звучать убедительнее!

Антон волновался: корни его волос начали постепенно заливаться розовым цветом. Я не стал мучить его и сразу приступил к делу:

— Есть одна женщина, которая будет лечить тебя. Прямо с завтрашнего дня. Она замечательный врач. Не-вро-па-то-лог! Понял? Это как раз то, что тебе надо. Ты станешь смелым и гордым! И будешь приносить матери одни только пятерки.

— Я должен подумать. Это очень серьезно.

— Нечего думать. Я больше не могу слышать, как ты заикаешься! Не могу видеть, как ты смущаешься у доски!

— Спасибо, Сережа... — отчаянно заикаясь от неожиданного предложения, сказал Антон. — Но у меня просто такой характер. Врачи этого не лечат...

— Ты разве не помнишь, что сказал наш зоолог?! — воскликнул я. — Он сказал однажды, что твоя

застенчивость принимает болезненные формы. А раз болезненные, значит, можно лечить. И она вылечит! А мы потом всем нашим классом выразим ей благодарность. В письменном виде.

— Весь класс будет знать, что я лечусь?..

— Пожалуйста, если не хочешь, буду знать только я. И твоя мама... И мы вдвоем выразим благодарность. В письменном виде!

— Обязательно в письменном?

— Обязательно! Чтоб осталось на память.

— Прости, Сережа... Но если ее лекарства мне не помогут?

— Я прошу тебя вылечить... Ты можешь для меня это сделать?

— Сережа... ты так этого хочешь? Ты так переживаешь за меня? Я не знал...

Мне было немного не по себе. Выходило, что я все же не очень искренен со своим лучшим другом. И, как всегда, когда я хитрил, фразы у меня получались бойкими, нарочито уверенными. Кажется, я вновь поступал не совсем «четко».

«Но ведь Антон действительно может выздороветь? — подбадривал я себя. — Значит, все в основном честно и благородно! Важно только, чтобы Нина Георгиевна согласилась...»

— Я к вам по важному делу! — сказал я ей в дверях, словно извиняясь за свой приход.

На эту фразу она почему-то совсем не обратила внимания, даже не заинтересовалась, по какому именно делу.

А войдя в комнату, словно для того, чтобы отвлечь меня от моего дела, спросила:

— Ты прямо из школы?

— Я заходил домой.

— Но, может быть, хочешь обедать?

— Я пообедал... в кафе. — И зачем-то добавил: — Честное слово!

— В кафе? — удивилась она. — Ты что же, остался совсем один?

— Нет, с бабушкой.

— С маминной мамой?

Я кивнул... Ни до того, ни потом мы с ней ни разу не упоминали о маме. Слово это было запретной темой. Ни разу и никогда...

Помню, в тот миг мне неожиданно захотелось, чтобы и об отце мы с ней больше не разговаривали. Я решил напоследок выяснить то, что меня волновало: расшифровать те непонятные строчки в ее письме. И еще мне хотелось, быть может, немного оттянуть разговор о своем деле.

— Нина Георгиевна, — сказал я, — вы писали, что отец может не захотеть к вам прийти, «как это уже было однажды».

— Ты выучил письмо наизусть?

— Нет... я просто запомнил эти слова. Вы когда-нибудь раньше ему писали?

Она долго молчала, будто не решаясь ответить на мой вопрос. А потом стала вслух размышлять:

— Если Сергей пришел бы тогда? Может быть, с Шуриком все было бы иначе?.. Вряд ли, конечно.



Но мне так казалось. Это было, когда Шурик учился в четвертом классе. Я помню тот день: двенадцатое февраля. Одноклассники устроили Шурику «темную». Я не стала допытываться, за что. Ему было обидно. И он очень хотел отомстить! Мы ужидали вот за этим столом. Он выдал мне тайны своих приятелей. Смешные, конечно, тайны, мальчишечьи. Но он был уверен, что это «страшные тайны». И рассказывал о них шепотом. Оглядывался по сторонам... Он хотел, чтобы я донесла директору и его приятелей наказали. Я уже тогда работала в школе и дружила с директором. Сейчас его уже нет, он умер... Я отказалась, а Шурик кричал, требовал, разрыдался. Мне стало немного страшно... Я не смогла объяснить ему, не смогла убедить. И решила, что ему нужен сильный мужской разговор. Не с директором, не с учителем, а просто со старшим, но только с мужчиной. Я написала Сергею. Больше мне некому было писать. Я все ему объяснила. Но он не пришел... Думаю, он заботился обо мне: боялся, что я буду вновь, как он говорит, «растравлять» себя. Это можно понять.

Конечно, отец счел неразумным приходиться в этот дом. А может быть, и нечестным перед мамой, передо мною. А честен ли я перед нашей семьей, приходя сюда?.. Я не мог ответить на этот вопрос.

Я видел отца и Шурика: на стене, очень близко перед собой. Они были рядом. Может быть, и в отце сидит тот самый стержень, о котором рассказывал Шурик? Эти мысли были мне неприятны. Я быстро прогнал их.

И подумал совсем о другом, о приятном: рассказать тайну о близком человеке можно только другому близкому человеку или по крайней мере тому, кому доверяешь. Может быть, Нина Георгиевна стала мне доверять?..

— Ты только об этом хотел узнать? — спросила она. — Это и есть твое важное дело?

— Нет! Что вы! Что вы! — заторопился я. — Совсем другое... Мой школьный товарищ Антон нуждается в срочном лечении. Как раз у невропатолога! Он очень застенчивый, скромный такой... Заикается даже. И все время хватается тройки. Хотя все знает! Знает, а у доски стоит и молчит. Представляете? Не может ответить! А мать его говорит, что утонит, если из него ничего не выйдет. Он очень хороший парень! Скромный такой... Если б вы могли его вылечить! Я об этом хотел сказать...

Рассказывая об Антоне, я вскочил со стула. Она тоже встала и подошла ко мне совсем близко. Но не для того, чтобы разглядеть меня пристально, как это делают близорукие люди. Мне казалось, она подошла так близко, чтобы я услышал ее, потому что она заговорила вдруг совсем тихо, почти шепотом.

— Чтобы уйти от человека... — Она кивнула не то на отца, не то на Шурика: на стене они были рядом. — Чтобы уйти от человека, надо иногда придумывать ложные причины, потому что истинные бывают слишком жестоки. Но чтоб прийти, ничего не нужно придумывать. Надо просто прийти, и все...

— Что вы! Что вы?! Антон действительно очень нервный. Я хочу, чтобы он вылечился. Не верите? Честное слово!

— Это само собой, — тихо сказала она. — Мы постараемся вылечить...



Прошло три с половиной года. Ни разу не сказал я дома, что знаю ее. А она ни разу и не спросила, говорю ли я о ней и что говорю... Она не вошла в наш дом даже воспоминанием: я боялся что-то разрушить, боялся обидеть маму. Мама была счастлива, и я дорожил этим счастьем. Я готов был сам сделать все, что нужно было Нине Георгиевне. За отца, вместо отца...

По велению долга? Так было вначале, но не потом... «Веление» — яркое слово, гораздо красивей, чем «принуждение», но смысл их почти одинаков. Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне первым зовом мужской взрослости. Нельзя забыть того первого человека, который стал нуждаться в тебе.

И вот недавно, месяцев шесть назад, мы переехали в другой город: поближе к объектам, которые проектировали отец и мама. Когда мы прощались с Ниной Георгиевной, я обещал, что каждый год летом буду к ней приезжать. Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно.

Уезжая, я не знал еще своего нового адреса, и мы договорились, что Нина Георгиевна будет писать на главный почтамт, до востребования.

А зимой отец сказал, что свои летние каникулы я проведу вместе с ним и с мамой: мы отправимся на юг, на Кавказ, к Черному морю.

— Это твое последнее лето, — сказал отец. — В будущем году ты должен поступать в институт. Надо набраться сил, закалить организм!

Последнее лето — эти слова стали повторяться у нас дома так часто, что мне начало казаться, будто до следующего лета я просто не доживу.

«Путешествуйте летом по рекам!» — долгие годы убеждала меня красавица, вырезанная из журнала. И отец говорил, что она совершенно права, что нет ничего разумнее отдыха на реке. Сейчас он уверял меня, что нет ничего полезнее горного воздуха, солнечных ванн и морских купаний.

— Мы полетим на самолете, — сказал отец, — чтобы в свое последнее лето ты испытал все удовольствия.

Удовольствия я любил. К тому же я никогда не купался в море и не летал по воздуху. Последнее лето обещало быть очень счастливым, я ждал его с нетерпением.

Неделю назад отец купил три билета на самолет. А сегодня я получил письмо до востребования:

«Жду тебя. На все лето взяла отпуск. Не поехала со своими ребятами в пионерлагерь: жду тебя! Но если ты не приедешь, я не обижусь. У тебя могут быть другие дела и планы. Это можно понять».

«Поеду к ней в январе, — решил я. — Также будут каникулы...»

Я написал ей письмо. Я объяснил, что правильнее приехать именно в январе, потому что зимой я не смогу отдохнуть на море, а северный город, в котором я жил столько лет, зимой еще лучше, чем летом: можно кататься на лыжах. Я писал, что в пионерлагере она будет на воздухе и отдохнет, а в городе летом пыльно...

Я прочитал письмо и не смог заклеить конверт. Это было чужое письмо, не мое: длинное, обстоятельное, без помарок.

Нет, я должен быть у нее в тот день, когда обещал, когда она ждет меня. Или вообще не приезжать никогда...

Я не могу стать ее третьей потерей... И сейчас еду давать свой билет.

Домашнее обещание, что очень хочу поведать бабушку и Антона, которые остались там, в городе моего детства. Я, и правда, по ним соскучился. Но еду я к Нине Георгиевне. Я не буду давать телеграмму, я приду и открою двери ключами, которые до сих пор у меня. Теми самыми, которые бросил Шурик. Она об этом не знает. Пусть не одни только печальные сюрпризы являются в ее дом.

Мама не возражает: ей приятно, что я так стремлюсь к своей бабушке, к ее маме. Кажется, все опять выходит не очень «четко».

А с отцом я сегодня поссорился. Первый раз в жизни. Он сказал, что поездка моя неразумна, что бабушке и Антону надо просто послать письма, что можно потом пригласить их в гости. Отец сказал, что я разрушаю планы семьи, что я вырос бескрылым, раз отказываюсь от гор, от высот, от полета... И все-таки я еду сдавать билет на рейсовый самолет.

Отец привел слова, кажется, вычитанные в книге: «Жизнь человека — это маршрут от станции Рождение до станции Смерть со многими остановками и событиями в дороге. Надо совершить этот маршрут, не сбиваясь с пути и не выходя из графика».

А я подумал о том, что ведь есть самолеты и поезда, которые совершают маршруты вне графика и вне расписания. Это самолеты и поезда особого назначения (как раз самые важные!): они помогают, они спасают... Я не сказал об этом отцу. Но я еду сдавать билет.



**Анатолий
Прелевский**

У моря

А что я знал! Одну работу.
Зачем бродяжил, не пойму.
В тайге я пролил море поту,
чтобы купить билет к нему.
Сбылась мечта — живу у моря,
вишневой косточкой плююсь,
добротным солнцем плечи мою
и никуда не тороплюсь.
Я никогда у моря не был
и не нырял с его камней,
и вин таких ни разу не пил.
Казалось бы — ликуй и пей.
Но вижу, флаг на мачте бьется,
запели песню на барже —
и не ныряется, не пьется
и не ликуется уже.
От этой песни — про палатку
и труд в березовом краю —
мне, как в чужом пиру, несладко
и неуютно, как в раю.
И нелегко вернуться в море,
подныривая под волну.
А пляж поет, не зная горя.
А я у прошлого в плену.
И сердце хочет разорваться,
оправдывая этот плен
необходимостью меняться
и подлинностью перемен.

Птица

Когда убил я птицу в первый раз,
чтоб доказать, что я стрелять умею,
я навсегда запомнил мертвый глаз —
он щурился и делался темнее,
как будто птица, трепеща в руке,
меня получше разглядеть хотела
и, затаив открытие в зрачке,
сомкнула веки и похлодела.
Я убежал, а у гнилого пня
ее похоронила ребятня,
воткнула крест из проволоки белой.
Но я все думаю с того лихого дня,

зачем она глядела на меня,
зачем она так на меня глядела!

Конь

Конь был испуган тем, что был
зауздан,
а я боялся этого коня:
он удила жевал с железным хрустом
и гневным оком прожигал меня.

Но старшего жестокая рука
огрела спину, выгнутую круто,
я врос коленями в его бока,
руками — в гриву. Дальше было чудо.

Нас общим страхом в поле увлекло.
Свернулись, как улитки, километры.
Земля исчезла. Небо отлегло.
Осталось лишь сопротивление ветра.

С удил летела пена на штаны.
Из-под копыт вселенная летела.
Но вот просохли наши две спины.
И страх отстал. И скачка надоела.

И стал мой конь, а я не усидел.
Но, огорошенный моим паденьем,
он на меня вдруг сверху поглядел
с каким-то странным, тихим
удивленьем.

И задышал в лицо, как человек,
такой усталый, с мокрыми глазами.
И чудо кончилось, как оборвался
бег.

И мы о том еще не знали сами.

Наука

Учил меня мастер писать —
я рифмы по строчечкам ставил,
чтоб сразу читатель представил,
что я собираюсь сказать.
Я был благодарен ему,
что, искренне блага желая,
он сил не жалел, приобщая
меня к непростому письму.
Задав работенку перу,
я тратил года и чернила,
но дело мое походило
скорее всего на игру.
По правилам этой игры
шедевры безбольно рождались,
но так же легко, как писались,
и рушились эти миры.
А жизнь поглубже была,
для этих стихов не годилась —
в глагольные рифмы просилась,
и ритмы простые брала.
И чтобы о ней говорить,
пришлось мне иному учиться —
не то, чтобы снова родиться,
но все, что умел, позабыть.
Как видно, от этих утрат
я стал не бедней, а богаче,
поскольку, поздравив с удачей,
был мастер мой искренне рад.
Но я-то все жду, что строка
начнет холодеть от старанья,
когда вдруг на чистописанье
нет-нет и собьется рука.



Натан
Злотников



Волна открытая, нагая
Бежит ко мне, не добегая
Двух тысяч верст. Лежит ничком
На берегу студеном, стынет.
Сейчас пойдет назад и сгинет.
Не вспомнить, был ли с ней знаком.

Полярный день, как истукан,
Стоит, стоит. Один баклан
Склоняет к горизонту тело.
Смеркается его полет.
А в океане белый лед
Все блекнет, становясь небелым.

Лежат капроновые сети,
Как наигравшиеся дети.
Их гладит по лицу рыбак,
Садится с трубкой к изголовью,
Дымит, глядит на них с любовью
И хвалит про себя табак.

Шесть изб, откинувшись назад,
Над краем сумрачным стоят.
И дым из труб выходит ровно.
Прочна поморская изба.
Одна — до веку, — как судьба.
Помор в ней не меняет бревна.



Ополченцы!
Последнее войско
У страны, если худо стране.
Хмурый строй их далек недовольства,
Молчалив и спокоен вполне.
Рассуждая и трезво и здраво,
Их преклонные годы не в счет,
Непреклонная если держава
Обратилась к ним, помощи ждет.

И глядят на поля отрешенно,
Где окоп в полный профиль отрыт...
И не видят, как старые жены
Все боятся заплакать навзрыд.
Обстоятельно, несуетливо
Навсегда собирается рать.
Это люди такого призыва —
После них уже некого брать.

Стратегическое пространство —
Это наши поля да луга.
Наивысшее право гражданства —
Это просто стрелять во врага,
Жить да быть у переднего края.
И держаться. Во веки веков.
Не старея и не умирая,
До подхода линейных полков.



Не знаю, долго ли я спал!
День раскалялся, как жаровня,
И становился желто-ал,
И не сдвигался дальше полдня.

Оса висела у виска,
Не жалила, а все жалела
И тело желтое песка
И моря голубое тело.

И долго падал самолет,
Как будто был необитаем.
Звук был то близок, то далек,
То нарастал, то в небе таял.

А самолет летел, летел,
Стремительно и молчаливо
Над сонной жизнью наших тел,
Над выпуклой водой залива...

Итак, шел отпуск. Я устал
От шумных дел, как от погони.
Звук самолета нарастал!
Я море поднимал в ладони

И пил. И, горькое, оно
Входило осторожно в тело,
Как будто берега и дно
В нем обрести себе хотело.



Звезда стоит одна над нашим домом.
Белеет свет ее на простыне.
И дерево качается со стоном,
И ветви его шарят по стене.

Мир невелик, но плохо осязаем,
И суть вещей — еще не суть времен.
Рабочий стол, стакан с простывшим чаем,
Внезапный твой, почти девичий сон...

Ты спишь легко. Все сбудется наутро,
О чем ты загадала ввечеру.
Жизнь потечет размеренно и мудро,
И в ней пребуду я и не умру.

И стану я спокойно и счастливо,
Как прежде, жить на отчей стороне,
Пока друзья, пока родные живы,
Пока добро превыше зла во мне.

И в час, когда светло и одиноко
Звезда горит, совсем уйдя в зенит,
И дерево все движется вдоль окон
И землю над корнями шевелит,

Пройдет с души ночной оцепененье,
И вдруг поймешь, как много нам дано.
И по-иному назовешь смиренность,
С которым в почву падает зерно.

После грозы

Насущный хлеб и поздний ужин,
Прохлада светлого окна,
Где небосвод внезапно сужен,
Звезда от глаз удалена.

Но власть огромного пространства
Всесильна для живых существ.
А время, время беспристрастно
Лишь к тем, кто навсегда исчез.

Уйдешь и более не станешь
Пространство это осязать,
Хотя в глубины его канешь,
И время повернется вспять!..

Ночная точная работа.
Далекой молнии излом
Над ясным краем небосвода,
Как будто лампа над столом.

Грозу принявшие долины
Притихли, как перед грозой.
Мгновенья жизни неделимы! —
Единой связаны красой.

А где от страшного удара
Сгорело дерево дотла,
Зола вчерашнего пожара —
Уже столетняя зола.

Еще пока не в полной мере —
Из-за войны, из-за невзгод —
Свободным временем проверен
Твоей души свободный ход.

Далекой осени черты
Еще почти неразличимы,
Зеленые мои сады
И живы и неизлечимы.

Они шумят, они щедрь,
Они сильны и даровиты,
Однако правила игры
Природою от них сокрыты.

Догадка их не осенит,
Когда, качнувшись, словно сонный,
Вдруг лист печально прозвенит
И тихо отлетит от кроны.

В безветрии его полет —
Сквозь зелень по диагонали —
Всю радость разом зачеркнет,
Хотя запомнится едва ли.

Войду без стука. Обниму
Родных, стареющих, не вечных.
В единственном своем дому
Так странно гостем быть беспечным.
Так странно узнавать с трудом
Все скрипы, шорохи и звуки
И понимать: опять разлуки
Не одолеет этот дом.

Живи, будь счастлив в стороне,
Приветливой и благодатной! —
Но этот тихий свет в окне
Под черепицею двускатной!..
Но этот свет не обессудь.
Он брат твой названный и ровня.
И, если в доме нездоровье,
Он горько обжигает грудь.

Не торопись, повремени!
Здесь всё любовь — не обхождение,
Благословенны эти дни,
Как в раннем детстве дни рожденья,
Здесь на исходном рубеже,
Где мучила мечта скупая,
Быть может, зря переступая
Черту оседлости в душе.

Обыденное не запоминая,
Мы между тем подспудно сознаем:
Представится возможность нам иная,
И мы иным воспользуемся днем.

Но те, кто дышит скупой и неровно,
Скрываясь тихо в неживой тени,
Как ненасытно, навсегда, подробно
Запоминают этот мир они!

Ваше грустное молчанье,
Откровенно говоря,
Как в природе одичанье
Накануне сентября.

Эта пауза резонна.
Вы правы, как всё вокруг,
Перед сменой сезона
Затишающее вдруг.

Только в пору предненастья
Есть такая тишина,
Словно в ней живет согласие
На иные времена,

Словно в ней течет, как в русле,
Изменяющийся вес
Птиц, листвы и полных грусти
Вдруг пустеющих небес.

И неведомые звенья
Жизни в сокровенный час,
Поиски уединенья —
Странно, — но сближают нас.

«Так прощайте! Может, где-то
Мы и свидимся... Бог весть...» —
Жаль, но вы не в силах это
Незнакомцу произнести.



**Анисим
Кронгауз**



Мы все себе кажемся больше
И великодушной, чем есть.
И жить собираемся дольше
И падки бываем на лесть.

Мы в школе учили склоненья,
Чтоб вскоре от дома вдали
От голода или раненья
Склоняться до самой земли.

Нам свадебный блеск был неведом:
Взамен подвенечных цветов
Дарили мы нашим невестам
Тушенку из скудных пайков.

Разлуки, потери, тревоги
Туманили милых глаза.
Их юные, стройные ноги
От нас укрывала кирза.

Мы в книгах писали красиво
О подвигах и о любви,
Но, корчась от боли, просили:
— Не подличай, друг, пристрели!

В местечке каком-нибудь Польши
Погибнуть считали за честь...
Мы все себе кажемся больше,
А может быть, меньше, чем есть.

Притча

В общежитии за ярким балаганом,
Что разбили циркачи на той неделе,
Лилипут себе приснился великаном...

— Теснотища! — заворочался в постели;
Ног не вытянешь, не разбросашь
руки,

Стал игрушечным домишко
почему-то... —

Все сместилось.
Не отыщете в округе
Человека вы огромней лилипута.

И над ним не насмеются разини,
Смотрят, головы задрав, на
Гуливера.
Нет опять ему костюма в магазине
И ботинок надлежащего размера.

Он идет по миру шагом
семимильным,
И реке не задержать его разливом.
Лилипута все считают самым
сильным,
Самым добрым и, конечно,
справедливым.

Этот сон ему казался не обманом.
Только утро приближалось по
минутам...

Лучше б он себе не снился
великаном, —
Каково потом проснуться лилипутом.

Конец

Задумался в кино юнец
На миг о постороннем деле,
И вдруг во весь экран:
«КОНЕЦ», —
Все кадры мимо пролетели.

Дни молодости и любви,
Войны нацеленные дула
И тонущие корабли —
Всё кончилось,
Всё промелькнуло.

Героя молодого прыть
И жертвенность не ради выгод...
И кто-то просит прикурить
Под электротабличкой
«ВЫХОД».

Подошвы шаркают вокруг,
И бледные мелькают лица.
И толкотня.
И кресел стук.
И пар над лестницей клубится.

Поверить трудно,
Что прошло
Всего не более момента...
У кассы было так светло,
И впереди была вся лента.



**Виктор
Боклов**

**ИЗ НОВОЙ КНИГИ
СТИХОВ**



Я на снегу увидел снегиря.
Он шел и пофыкал. К чему бы это!
Ты подошла ко мне, моя заря,
Такого ж точно огненного цвета!

Ты вся пылала, вся была — огонь,
Вся — милое и сказочное диво.
На личике румянец молодой
Поигрывал невинно и стыдливо.

И шапочка и варежки красны,
Полупальто, как мак в степи, пылало,
С двух алых щек две алые весны
Две милые улыбки посылали.

О русское пристрастие к огню
И яркому, бунтующему цвету!
Твой красный цвет любви я догоню,
Он согревает всю мою планету!

Ты мой непотухающий костер,
Моя печаль, мое большое счастье,
Мои луга, мой клевер, мой простор,
Моя полынь, мой мед, мое причастие!



Хочу весны, хочу раздолья,
Хочу лугов, хочу травы.
Хочу влетать, как ветер Дона,
В ладони милые твои.

Хочу далекого заплыва
С тобой, у твоего плеча,
Хочу, чтоб в зеркало залива
Смотрелись мы, как два луча.

Хочу дороги через поле
В тот тихий лес, где любят нас,
Где белый гриб, под елкой стоя,
Расхвастался: «Я родом князь!»

Хочу твоей большой, спокойной,
Текущей медленно в крови,
Единственно тебя достойной,
Неиссякаемой любви!



Ты сегодня такая усталая,
Грустный взгляд и померк и поник.
Не решаются даже уста мои
Приклониться хотя бы на миг.

Помолчим. Окна очень морозные,
Не надудо бы в спину, смотри.
Третий день холода невозможные,
Даже спрятались снегири.

Чем морозу мы не потрафили,
Чем разгневали старика!
Как люблю я твою фотографию
С белым кружевом воротника!

Ты на ней так нежна и доверчива,
Так хрустально чиста и хрупка.
А в глазах твоих — символы вечные:
Море, лебеди и облака!



И я когда-то рухну, как и все,
И опущу хладеющую руку,
И побегут машины вдоль шоссе
Не для меня — для сына и для внука.

Мой цвет любимый, нежный иван-чай,
Раскрыв свои соцветья в знойный
полдень,
Когда его затронут невзначай,
Мои стихи о нем тотчас же вспомнит.

А ты, моя любовь! Зачем пытаться
Таким вопросом любящего друга!
Ты томик мой возьмишь, начнешь
читать
И полю ржи и всем ромашкам луга.

А если вдруг слеза скользнет
в траву,
Своим огнем земной покров волнуя,
Я не стерплю, я встану, оживу,
И мы опять сольемся в поцелуе!

«...На слиянье могучих рек не похожа ли наша дружба?»

(К неделе калмыцкой литературы в Москве)



Лиджи
ИНДЖИЕВ

Буря и деревья

Буря мчится ревмя,
в ослепление неистовом,
без разбору грома
грады, взятые приступом.
Но построились в ряд
великаны зеленые.
Богатырский отряд!
Города населенные
заслоняет собой
и не знает усталости.
Начинается бой
без пощады и жалости.

Буря мечет и рвет,
и дружинникам спешным
в грудь зеленую бьет
конным натиском бешеным.
Но отхлынет, пыля,
побежденная конница.
А деревья, в поля
поглядев, успокоятся,—
богатырский дозор
в чистом поле у города,
устремивший свой взор
на бегущего вора!



Тимофей
БЕМБЕЕВ

Другу

Две реки
к океану текли
и сливались в стремлении этом.
Белый парус, наполненный ветром,
выносил нас на стрежень реки.
Здесь,
где встречные струи быстры,
мы на дно опускали якорь.
Две реки,
две могучих сестры,
убаюкивали нашу яхту.
Мы ныряли до самого дна —
поглядеть,

как река с рекою
обнимается,
как одна
перемешивается с другою.
И выныривали наверх,
места этого не обнаружив...
На слиянье могучих рек
не похожа ли наша дружба!
Опустившись на самое дно,
дай-ка я в глубину ее гляну:
сила — общая,
русло — одно
и стремление одно — к океану!

Скачки

1

Тридцать верст скакать — легко
сказать!

Кто быстрее! Надо доказать.
Докажи, что ты одно с конем,
Что недаром ты сидишь на нем.
Кто быстрее! Не на шутку спор.
Тридцать чистокровных скакунов.
Тридцать всадников во весь опор
Ускакали вмиг за семь холмов.

2

А что мне тридцать верст!
Гнедая кобылица,
стеля над степью хвост,
летит, почти струится.
Над гладью ковыля
натянута струною,
ногой не шевеля,

ей-богу, ни одною!
За гривами коней
не различишь мальчонку,
лежащего на ней,
вцепившегося в челку.
Дал волю ей герой,
кричит ей что-то в ухо,
и к финишу стрелой
выносится гнедуха.
Ай, что за конь с огнем!
Ай да седок на нем!

3

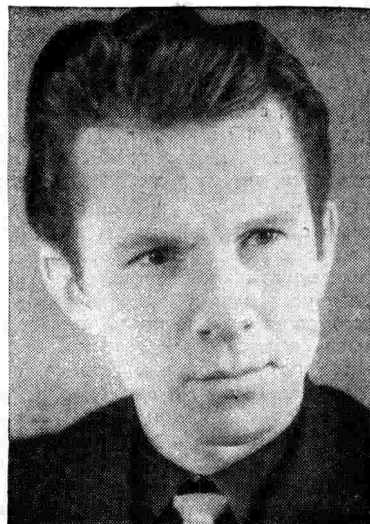
Припавшей к холке скакуна,
летающей через времена —
так мне Монголия предстала,
так мне запомнилась она.

Перевел Герман ПЛИСЕЦКИЙ



● **Василь Быков**

СВОЯКИ



— Нет! — сказала она, стукнув об пол ухватом. — Нет! И не думайте! Вы что, с ума сошли?

Сидя подле стола, они переглянулись. Старший, высокий, худой, по-юношески нескладный Алесь, сразу нахмурился, уходя в себя, а на совсем еще мальчишеском, пухловатом лице пятнадцатилетнего Семки мелькнуло что-то упрямое и злое.

— Все равно уйдем!

— Попробуйте! Попробуйте, ироды! Ишь, что надумали! Сопляки несчастные! Я вам покажу партизанов!

Это была угроза, но в ней чувствовалась не столько сила и уверенность, сколько ее материнская беспомощность, от которой она всхлипнула и с ухватом подскочила к парням. Они бы должны разбежаться, как делали это не раз прежде, но теперь даже не сдвинулись с места, и это вовсе озлило ее. Семка лишь вскинул нехотя руку, чтоб защититься, она ударила его несколько раз, не разбирая, куда, потом один раз — Алесь. Старший принял ее удар с каменным безразличием на угрюмом, худом лице, даже не вздрогнул, только плотнее сжал губы, и она поняла, что все это напрасно. Напрасен весь ее гнев, ее брань, ее запальчивая попытка вернуть уходящую власть над сынами. Отчаяние враз сломило ее, и, бросив ухват, она вышла в сени.

Несколько мучительных минут она корчилась на сундуке от бессильно-иступленной обиды, не в состоянии постичь непостижимое: почему они такие упрямые в этом гибельном своем безрассудстве? Она понимала, когда на это решались взрослые — окруженцы и свои мужики, но что там могло привлечь их, почти что детей, едва оперившихся в жизни подростков? Что они сделают там, в лесу? Разве только погибнут по-глупому, как погиб тот, что неделю назад все утро лежал на выгоне, такой молоденький, пригожий хлопчик, в окровавленной военной рубашке. Так и они будут лежать где-то, и на

них будут боязливо глядеть незнакомые люди и пьяные полицаи будут пинать их подкованными сапогами, а по босым ногам их будут осатанело бегать жадные весенние мухи...



Нет, так не будет, хватит того, что без поры, без времени сложил голову отец, а у них еще, слава богу, есть мать, она не допустит этого, она ни перед чем не остановится. Она знает, кто подбил их на это гибельное дело, она найдет его и не оставит ни одного волоска в его фасонистом белом чубе.

С внезапно возникшей решимостью она подхватила с сундука, выбежала во двор, но вернулась, метнулась по сеним в поисках подпорки и, не найдя ничего более подходящего, сорвала с крюка коромысло. Охваченная мстительным злорадством, она туго подперла коромыслом дверь в избу и бросилась на улицу, поправляя на ходу косынку и не утирая слез, которые все еще лились по ее щекам.

Она бежала по улице, распугивая кур у плетней, взбивая босыми ногами пыль, и голову ее распирали от множества гневных слов, преисполненных ее, материнской, обиды. Она скажет этому Яхиму, что он душегуб, бессердечный ирод, она спросит, зачем ему эти зеленые мальчуганы. Если надумал, пусть себе и идет сам куда ему хочется — хоть в партизаны или в полицию, но только без них. Пусть он сейчас же объявит им, что никого с собой не возьмет, иначе она обломает о его голову все ухваты, оскандалит его на всю округу.

В сердцах она сильно толкнула дверь старенькой, покосившейся избушки, не закрывая ее, рванула за клямку вторую — на нее сразу пахнуло прохладой земляного пола и тишиной. Тогда она дернула занавеску на печи, с вороха грязного тряпья приподнялась белая голова старого, больного Лукаша, его подслеповатые, выцветшие глаза болезненно заморгали в недоумении.

— Где Яхим ваш?

— Яхимка-то? А кто ж его знает! Разве теперича дети спрашивают у родителей?..

— А ночью он спал дома?

— Не знаю я. Будто не слышать было.

Конечно, что он мог знать, этот полуослепший, забытый богом старик, наверно, Яхима не так просто поймать. Она почувствовала, что весь запас ее гнева вот-вот иссякнет впустую, и опять не сдержалась.

РАССКАЗ

Правда, слез уже не было, были только удушливые спазмы в груди, и, пока она, прислонясь к печи, боролась с ними, Лукаш устало глядел на нее и постанывал, донимаемый своими болями.

Но нет, все равно она их не отдаст, они — ее дети, она для них мать и не согласится на их гибель, скорее сама ляжет трупом на этом их сумасбродном пути, но не пустит их к смерти.

Она почти все время бежала — через деревню, мимо с детства знакомых избенок, потом по выгону с молодой весенней травой, усеянной желтыми цветками одуванчиков, вдоль свежо и весело зазеленевшего нежными листиками овражка. Как за последнюю свою возможность, она ухватила теперь за мысль обратиться к Дрозду, что жил в недалеком, через поле местечке. Правда, с зимы он ходил в полициях, был начальственно важен и строг, но она знала его: мать да и его с самого детства, все же он был ей двоюродный племянник — не чужой. Она расскажет ему о своей горе, и он должен чем-либо пособить, ведь мужчина неглупый и, главное, по нынешнему времени власть. Пусть он их пострадает, посадит на какую недельку в подвал, пусть даже недолго подержит в тюрьме, но чтоб только не ушли в лес и не осиротили ее.

Она лишь боялась, как бы Дрозд не уехал куда, не был занят, не отказал и тем не лишил ее последней возможности удержать их. Но солнце было уже низко, медленно садилось вдаль за широкую багровую тучу над лесом, — в такое время, знала она, служащие в местечке расходились из учреждений и занимались своим хозяйством. Правда, она пожалела, что ничего не захватила с собой, все-таки надо бы прийти хоть с каким-либо гостинцем да с бутылкой, конечно. Но за ней не пропадет, пусть только поможет.

Да, он был дома, она сразу поняла это, как только свернула с улицы в узенький, обсаженный вишней проулок к его добротной пятистенной избе. Из двух настежь раскрытых окон неслась громкая музыка, и за цветочными горшками на подоконнике двигалось чье-то мужское с погоном плечо.

Она еще раз поправила на голове платок, корявыми, жесткими от непроходящих мозолей руками вытерла украдкой глаза и, стараясь как можно тише, взойшла на крыльцо. Дверь в избу была раскрыта. Он, сидя на табурете, сразу повернул к ней крупное бритое лицо, на котором мелькнуло удивление.

— Что тебе, тетка?

То, что он назвал ее привычно, по-деревенски теткой, придало ей смелости, под его уже строгим, будто даже сердитым взглядом она ступила на порожек у порога и промолвила:

— Пришла к тебе, Петрович, по делу.

Патефон на конце стола смолк, кто-то повернул в нем блестящий рычаг, и несколько мужских лиц с настороженным неудовольствием уставились на нее. Она смешалась под этими взглядами и не знала, как тут объяснить свою такую, казалось, простую и понятную надобность. В сознании ее даже мелькнуло сожаление, что пришла сюда, но какого-либо иного выхода в запасе у нее не было.

— Да я чтоб посоветоваться. Сыны у меня...

— Что сыны? Говори конкретно.

Она мучительно искала слова, чтобы покороче и понятнее объяснить им, что ее привело сюда.

— Ну говори, говори. Не бойся, тут все свои.

— Сыны у меня... Нехорошее удумали.

— Что, с бандитами снюхались?

Они все враз будто встрепетнулись за столом, а Дрозд двинул в сторону табурет и как был — в ниж-

ней голубой майке, — тяжело вминая половицы, шагнул к ней.

— Ну, говори!

Она отчетливо сознавая, что должна решиться на самое главное, ради чего готова была на все, возмолвилась:

— Петрович, родненький, только прошу, не сделай же им плохого. Ну, может, попухай их, не называй только. Молодые же еще, старшему семнадцать на пасху исполнилось. Разве ж они понимают...

— Ага! Так-так. Ну, ясно. Где они теперь?

— Дома. Я ж их заперла.

— Заперла? Молодец, тетка. Идем!

Он решительно натянул на себя свой полицейский мундир, сорвал со стены винтовку. Другие тоже вылезли из-за стола, и в избе сразу стало тесно. Она отступила, внутри у нее что-то дрогнуло и опало, и, пока Дрозд подпоясывался толстым военным ремнем, она, сцепив на груди руки, просила:

— Петрович, сынок, только ж вы по-хорошему...

— Мы по-хорошему. Культурно! Барсук, захвати конец.

Они вышли во двор и, сокращая свой путь к деревне, быстро пустились по меже полем. Солнце уже скрылось за тучей, голые, по-весеннему серые поля потускнели, но было светло и тихо. Здесь, на воле, она лучше рассмотрела их. Кроме Дрозда, еще двое были в немецких мундирах и пилотках, а один, задний, в своем — пиджаке и серых брюках навыпуск. Этот, в гражданском, ей показался знакомым, она, забегаая немного вперед, спросила:

— Гляжу это и узнаю, будто. Не с Залесья будете?

— С Залесья, matka, — просто ответил он басом, но разговора не поддержал. Она пригляделась к остальным двоим, к их крутым, стриженным затылкам, но эти, очевидно, были чужие.

Они перешли пригорок, край лужка, миновали лозовые заросли у ручья. Возле болотца-выгорища ковырялся с плугом хромой Лущик, из их же деревни. Остановив лошадь, он долго смотрел издали на четверых полицейских и женщину. Она ничего не сказала ему, прошла мимо, но почему-то ей стало не по себе от этой настороженности знакомого человека. Правда, она тут же подавила в себе это неприятное, пугающее чувство. Пусть, пусть пострадают, не убьют же, ведь немцам они ничего плохого еще не сделали, за что же наказывать их?

Она все время бежала сзади, в поле и на выгоне, и только когда зашли во двор, у колодца, Дрозд пропустил ее вперед и даже слегка подтолкнул: дай, мол, мы следом. Она проворно и привычно, как всегда, приступив на широкий камень у двери, шагнула через порог и тотчас поняла, что зря понадеялась на подпору: коромысло валялось на полу, и дверь в избу была раскрыта. Однако тут же она увидела Семку, и ее поразила гримаса испуга, почти боли, на его полудетском лице. Нагнувшись и держа в руках большой кухонный нож, сын стоял над дежкой, в которой они хранили мясное. У ног парня лежала торбинка с завязками. Увидя эту торбу, она все поняла и коротко, зло про себя усмехнулась. Но в тот же миг Семка вскрикнул, выронил на пол кусок сала и, пригнув голову, бросился в дверь, на бегу сильно толкнув ее в бок. Сзади закричали — Дрозд или другой кто-то, — и тотчас сильно грохнул один, второй, третий выстрелы. В ней все обмякло, она пошатнулась, но сдержала себя и, чувствуя, что происходит нечто нелепое и ненужно страшное, выбежала из сеней.

— Сыночек! Сыночек! Постой!

Она бросилась к полицаям в серой немецкой пилотке, который стоял с карабином у плетня, но он уже

не стрелял — опустил карабин прикладом к ноге, выругался, грубо отстранил ее и полез через перекладину в лазу на огород. Она не понимала его, как не понимала ничего, что здесь происходило. Семки нигде не было, и только когда полицей широко зашагал наискось по вспаханному огороду, она увидела запрокинутую голову сына, плечи и разбросанные в стороны руки: он недвижимо лежал на пахоте в трех шагах от буйно белевшего первым цветением вишенника.

Тогда она закричала и рухнула на пахнувший навозом двор, сознание огромной несправедливости сразило ее: как же могло случиться такое? Она билась головой о твердую, как бетон, утопанную землю двора, колотила ее своими не по-женски большими кулаками, царапала, зайдясь вся в безумном исступлении от такой непоправимой, дикой нелепости. Из этого состояния ее вырвал голос — знакомый и в то же время совершенно изменившийся голос ее старшего сына:

— Холуй продажные!

Все еще не поднимаясь с земли, она вскинула голову и сквозь слезы увидела, как Дрозд и двое других полицейских вытолкали его из сеней и начали грубо крутить за спину руки, связывая их веревкой — концом, прихваченным у Дрозда.

— Бобики! Будет и на вас веревка!

— Молчать, щенки!

Полицей, что в брюках навывпуск, коротко и сильно двинул его коленом в живот. Алесь пошатнулся, но устоял, и она совершенно уже теряя над собой власть, вскричала:

— Сыночек!

Но он даже не взглянул в ее сторону, лицо его было исполнено гнева и твердости, он вскинул ногу в ботинке и ударил ею полицейского.

— Смерть Гитлеру!

— Ах так, щенки!

Дрозд сильно толкнул его прикладом, и он неуклюже, со связанными руками, упал, спиной на камень у порога. Она бросилась к Дрозду и, хватая его за ноги в пыльных, вонючих сапогах, пыталась остановить, не дать бить сына. Но эти ноги ударили и отбросили ее саму, она перевернулась, захлебываясь от боли в груди.

— Ах, так, щенки! — сказал Дрозд. — К стенке его!

Те двое сильно рванули сына за связанные руки, размахисто отбросили к истрескавшимся бревнам стены, и Дрозд вскинул свой карабин. Она снова подхватила с места и на этот раз метнулась к сыну, но над головой ее грохнуло, оглушило. Алесь неестественно напрягся, губа его с едва заметным светлым пушком раза два дернулась, и голова беспомощно упала на грудь. Он сполз спиной по стене и в неестественной, скрюченной позе застыл над завалинкой.

Тогда она поняла, как непростительно глупо казнила их и себя тоже, схватила у порога первое, что ей попало на глаза — хворостину, которой выгоняла по утрам корову, и с небывалым ожесточением набросилась на Дрозда.

— Что ты наделал! Ирод! Выродок!

Она метила ею по голове и лицу полицейского, но тот подобрал голову в плечи, заслонился локтем, и она била по ненавистному, с полосатой повязкой локтю, по пилотке, пока Дрозд окованным тяжелым прикладом не отбросил ее к тыну.

— Прочь, гадовка!



Рисунок Ю. Цишевского.

Оглушенная, она зашла от боли и смолкла. Полицей приволок с огорода распластанное тело Семки, бросил его на дворе, задыхаясь, откашлялся и полез в карман за махоркой.

— А здорово ты его — под дых! — одобрительно сказал Дрозд.

Полицейский зло матерно выругался.

— А что ж, туды т его враз! Не знал, от кого! У меня не утикеть.

Возбужденно ругаясь, они начали закуривать. Она корчилась под тыном, оглушенная, все видела, но почти уже ничего не замечала и ни на что не реагировала. Потом, когда несколько унялся болезненный гул в голове, поднялась сначала на колени, затем на свои босые, затекшие ноги, окинула полубезумным взглядом двор с недвижимыми телами ее сыновей. У нее уже очень немного осталось сил, она держалась за тын и, перебирая руками, обессиленно пошла к улице. Ее не останавливали и не кричали, да она и не прислушивалась уже ни к чему в этом свете, страх ее иссяк весь без остатка. Добредя до колдца, она бессильно упала животом на край ослизлого сруба и, увидев в его глубине далекий просвет, как за несбывшейся справедливостью, торпливо ринулась в темный, зыбкий проем.

г. Гродно.





Рисунки Е. Соколовой
и А. Максимова.

● Владимир Марамзин

ПОРТРЕТ ЗАВОДА КАК ОН ЕСТЬ

*Рассказы человека,
не всегда абсолютно серьезного*

ПОРТРЕТ ЗАВОДА КАК ОН ЕСТЬ

Когда я начал работать на заводе, я думал, что там будет все не такое, как в моей прежней жизни. В нашей школе, например, меня долго отучали от веселости, от живого характера.

— Привыкайте быть серьезными,— говорила нам часто учительница литературы Лидия Сергеевна.— Если сейчас не привыкнете, то потом на работе вам достанется лихо.

Сама Лидия Сергеевна никогда не смеялась, потому что давно приучила себя быть серьезной.

И потом мне не раз приходилось слышать, что, готовясь работать, а особенно на заводе, надобно спрятать в карман всякие свои черты характера, кроме настойчивости, пресерьезности и разотчетности.

— Детство кончилось. Всё! — говорили мне многие, словно бы с удовольствием. Мол, повеселились, поиграли — и хватит: отработайте нынче за это.

Но вот я наконец работаю на заводе не один уже год — и что же? Где же эта прескучнейшая фигура человека, занятого работой с видом полного отрешения от всей живой жизни? Где эта фигура, которую Лидия Сергеевна хотела из нас образовать? Нет кругом меня такой фигуры. Работа на заводе, как и всякая другая работа, вижу я, — это такое же дело человеческого характера, как и все другое, совершаемое человеком в жизни. В нем тоже много и веселого и печального, бывают радости и обиды,

много значат увлечения и охлаждения. Словом, работа — это форма жизни, а вовсе не откладывание ее до половины четвертого, до звонка об окончании смены. И как только я забыл то, что говорила Лидия Сергеевна, так оказалось, что я вполне к этой жизни готов. Все отношения между людьми на заводе, хотя и вертятся вокруг новых для меня предметов, в основе такие же, что и в детстве, что и в заводской, знакомой мне жизни. Мало того, мне показалось, что тем только и может двигаться любое живое дело, как бы ни было оно отвлеченно.

Поэтому сейчас я расскажу не о том, что мы делаем на заводе, а о той человеческой атмосфере, которая нас целый день окружает. Это будет портрет завода — портрет завода как он есть. Я пройду по заводу туда и обратно. Пройдусь туда — получится полпортрета. Пройдусь обратно — и другая его половина.

МУЗЫКА

Утром все мы идем на завод. Кто уже проснулся, а кто на ходу досыпает. Кто торопится, а кто спокойно ему говорит:

— Не торопись, никто твой станок не займет.

Вся улица понемногу втягивается в проходную завода.

И вдруг из проходной мы услышали музыку. Самую веселую музыку. И даже не одну, а сразу две

музыки, то есть одну, но из двух колокольчиков, которые силятся друг друга обогнать.

Кто еще не проснулся — тот разом проснулся. А кто был вялый по природе — тот сразу стал по природе не вялый.

— Идем, как на танцы, — сказал Жора Крёкшин из соседнего цеха.

— Заманивают нас в завод с утра пораньше, — сказала тетя Настя, а сама довольна, даже пошла поскорее, хотя и знает, что станок не займут.

Оказывается, было решение завкома: по утрам давать из проходной людям музыку. Для утренней бодрости.

Заботится завком о нас о всех с утра пораньше.

СТРОЯТ

Много строят у нас на заводе. Недавно построили новую проходную, и вначале некоторым она не понравилась. Всегда есть люди, которым не нравится новое.

Надо в этом случае их к нему приучать.

Как же приучать?

А очень просто: выстроить новую проходную, выкрасить ее, как считают красивым хорошие архитекторы — и все, и пусть стоит, пусть теперь ходят сквозь нее и привыкают к красоте. И больше ничего другого делать тут не нужно, так и привыкнется само собой.

Вернее, нужно делать и еще кое-что: строить дальше.

Вот уже и строят красивые большие здания для цехов, для новой столовой, с прямыми линиями, с окнами от потолка и до пола.

— Пусть стена будет гладкой, а внутри все как можно красивее и удобней, — говорят теперь архитекторы.

Так у нас на заводе и строят.

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД

Когда идешь по заводу, проходишь временами, как через волны: то в жар, то в холод.

Это, можно сказать, температура технологии. То ей требуется, чтобы было тепло, то, напротив, она жары не выносит. Поэтому на разных участках и температура разная. Есть участки, которые так и называются: горячие операции.

Этой разницей кое-кто пользуется, например, по пути в столовую.

Зимой стараются выбрать себе такой путь, чтоб идти все по теплоте, а потом быстро кинуться в дверь и так, без пальто, из двери в дверь, перебежать в столовую.

Правда, это не полагается, за это ругают. Даже выговор могут объявить для твоей же пользы, для пользы здоровью: за то, что раздетый выходишь на холод.

Летом же, ясно, куда б ты ни шел — обязательно выберешь путь попрохладней.

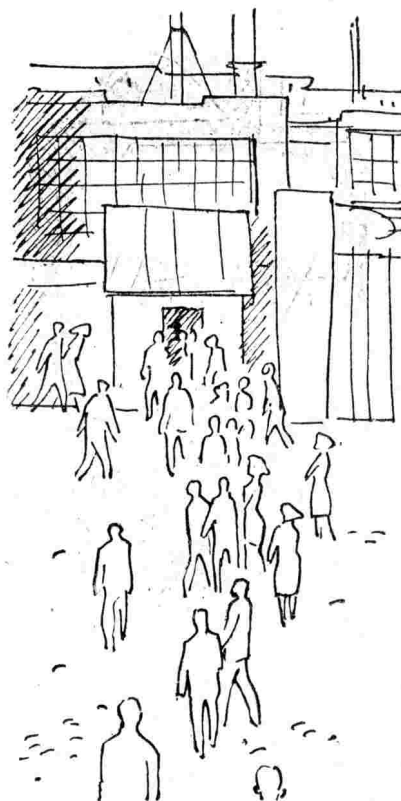
КАК НА ЗАВОДЕ ГОВОРЯТ

А говорят на заводе так, что посторонний в технике человек не всегда может сразу и понять.

— Кто вчера оставил зайчик, признавайтесь? — спрашивают, например, в лаборатории утром.

И тот, кто оставил, разумеется, признается.

Вам этого сразу не понять — да и не сразу тоже, боюсь, не поймете. Есть такие точные приборы, у



которых вместо стрелки по шкале ходит светлая черточка — зайчик. А горит этот зайчик от отдельной батарейки.

Кто последний уходит, тот все выключает. То есть выключает электричество на общем щите. Зайчик же при этом остается гореть, если тот, кто включил его, позабыл погасить.

— Ой! — говорит вдруг кто-нибудь. — Что же делать? Стрелка в угол забила — и не вытащить.

Это не значит, что какая-то стрелка вдруг обиделась на него и забила в угол комнаты, да так, что и не вытащить ее оттуда силой. Это означает, что ток был большой, и стрелка прибора ушла за шкалу.

Тут о приборах говорят, как о живых. Вот потому и не сразу понимают чужие.

СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ КОНСТРУКТОРЫ

Однажды, когда я пришел в конструкторское бюро, два конструктора ссорились, сойдясь у чертежа. Это была очень вежливая, очень научная, жуткая ссора.

— Вы похожи на генератор, нагруженный емкостью, — сказал вдруг один.

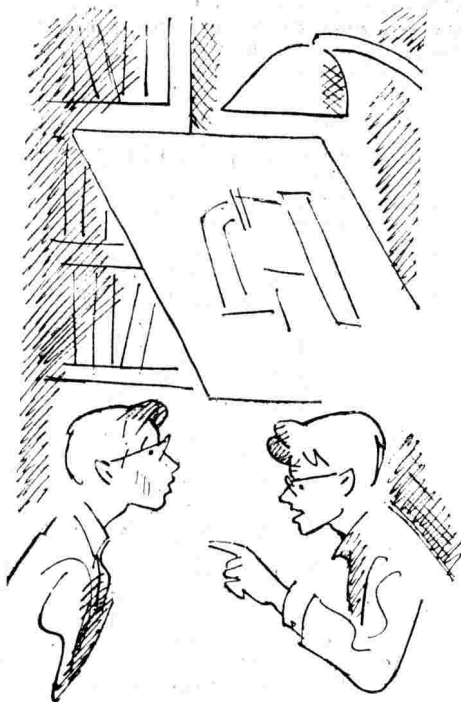
Второй при этих словах побледнел, стал, как ватман у него на доске.

— Что? — спросил он тихо. — Как вы сказали? Генератор?

— Да, — подтвердил тот. — Генератор!

— Нагруженный как? На емкость?

— На емкость! — подтвердил снова первый, торжествуя.



Тогда второй схватился за голову, прикрыл лицо локтями и выскочил в коридор.

Он не вынес такого страшного ругательства. Вот какие серьезные люди — конструкторы! Даже когда они ссорятся, их не каждый поймет.

С ПОХВАЛОЙ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Моя соседка по квартире Тоня работает в нашем цеху на монтаже.

Тоня работает хорошо, но всегда говорит своему мастеру:

— Ты меня подхваливай, так я как лошадь работать буду.

А мастер не хочет.

— Ишь ты! — говорит он Тоне. — Если подхваливать, так и все будут работать, а ты без того.

— Да что вам, жалко? — говорят другие рабочие мастеру. — Вы ее немного похвалите, она, и верно, в два раза больше сделает.

— Мне, конечно, не жалко, — соглашается мастер. — Мне похвалить не составляет труда. Только вы мне подсказывайте вовремя, кого похвалить.

Но Тоня так не хочет.

— Это ваша специальность. Я свою операцию выполняю, а вы смотрите, кого и когда похвалить. Так ее и не хвалят.

УПРЯМЫЙ НАШ ЖОРА

Жора Крекшин из соседнего цеха — человек на редкость правдивый.

Сначала он учился, чтобы стать настройщиком электрических схем. Он учился, пока не дошел до электрона. Из них, из электронов, состоит все электричество, которое он будет настраивать. Но,

конечно, увидеть их никак невозможно, потому что электроны даже меньше микробов, которых мы все же умеем разглядывать в микроскоп.

И Жора, не видя нигде электрона, никак не мог его себе представить и не захотел поэтому дальше учиться.

— Да ты бы поверил, и дело с концом, — говорили Жоре все в цехе.

— Нет, — отвечал печально Жора. — Как же поверить, если я не представляю? Я не могу, значит, работать с электричеством, раз не представляю себе электрона.

— Да ты прими его на веру! — говорили ему и смеялись над ним.

— В это надо поверить однажды, и все, — убеждал Жору старый настройщик Петров.

— Да чего там ломаться-то, надо поверить! — говорили ему все монтеры, настройщики, слесари, сборщики, комсорг, профорг, гардеробщица, мать, вахтер в проходной и кондуктор в трамвае.

— Нет, не могу, — отвечал виновато Жора Крёкшин. — Я должен представить. Ведь электрон же — из него все состоит, все электричество.

Так он и ушел из настройщиков, хотя у настройщиков большая зарплата. Жора стал учиться на слесаря, и теперь он хороший, самый лучший слесарь по металлу в цеху.

— Потому что я все могу себе представить, что делаю, — объяснил он мне сам.

И, надо сказать, я хорошо его понял.

ТЕЛЕФОН В ЕГО РУКАХ

На заводе, да еще на большом, где такие расстояния от цеха до цеха, ничего нельзя сделать без хорошего телефона.

У многих заводских людей телефон — такой же инструмент, как у сапожника шило или, например, у кузнеца его молот. Как они ведут себя с телефонной трубкой? Даже улыбаются ей, словно близкой, родной.

Один начальник цеха, мой знакомый, работает с ней ну особенно ловко.

Помедлив, не сразу, хватает он трубку, слегка воспитывая телефон, чтобы зря не звонил. Ловко вынув ее из ложбины, приставляет скобой сразу к носу и к уху.

— Алло! — говорит он угрожающе громко, чтобы на том конце устрашились звонить не по очень важному делу.

Разговаривая, он постепенно выходит из разговора — словно выплывает из-под воды на поверхность. Это заметно по тому, как голос становится все тише и тоньше.

И когда произносит последнее, самое тихое слово, он тут же бросает трубку обратно на черные кнопки.

Ухо при этом у него накаляется, и когда он трубку отнимает, оно горит, как розовый цветок. Погорит, погорит, а потом остывает.

КАК НА ЗАВОДЕ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

Ушел размер, — говорят на заводе с огорчением, когда деталь получилась неверно. То есть это плохо, что размер куда-то ушел, удалился. Ему бы, размеру, уходить не годилось.

— Эта лампа гуляет, — говорят на заводе о радиолампе, у которой все время меняются ее пара-

метры. Даже объяснить это в двух словах невозможно, а заводским сразу ясно: раз гуляет, то лампа плохая.

У каждой лампы есть ножка, есть юбочка, у иных есть и хвостик; есть вход, в который никому не залезть, кроме электрического тока, выход есть у лампы, из которого тоже никто не выходит.

У монтажного стола есть клюв.

У токарного станка есть бабка, даже две, как у каждого человека. Только это какие-то странные бабки: одна передняя, а другая задняя. Так у нас, у людей, не бывает.

— Задняя бабка у тебя барахлит. Вот размер и ушел, — говорят на заводе.

И этого тоже посторонний никак не поймет.

ХАРАКТЕР, КОТОРОМУ НАДО УЧИТЬСЯ

Рядом с Тоней на сборке работает Валя. Характер у Вали устроен так, чтобы всегда со всеми спорить.

— Захожу я вчера в наш магазин, — рассказывает, например, Тоня попросту.

— Нет, а я, — перебивает Тоню Валя, — лично я никогда в наш магазин не хожу! Я хожу по магазинам только в центре.

И Тоня не спорит, потому что впустую: Валин характер никто еще не мог переспорить. Валя сама его переспорить не может, и ей самой себя бывает от этого жалко.

Валя кончила в школе семь классов и больше учиться не хочет ни года.

— Что я, лучше, что ли, буду, если выучусь? — говорит она дерзко, когда ее уговаривают всей бригадой поучиться еще.

Так и не можем мы ее уговорить.

Недавно пришел к нам на практику тихий студент. Посадили студента за стол рядом с Валей.

— Эй, студент! — кричит ему Валя. — Оглянись-ка, чего я тебе расскажу!

А студент молчит, не оглянется.

— Что ты за мужчина! — говорит ему Валя. — Все молчишь и молчишь. Разве тихие мужчины бьются?

А студент молчит себе, хотя мужчины тихие и не бывают.

— У тебя почему такой характер спокойный? — спрашивает Валя с завистью. — Наверно, потому, что ты ученый?

А студент молчит, не объясняет, работает, хотя ему трудно с непривычки на сборке, трудно угнаться за такими, как Валя.

— Вот характер! — восхищается Валя. — А все потому, что он долго учился. Видно, для характера учиться полезно.

После работы пошли они вместе со студентом домой. И о чем они там говорили, никто знать не может. На завтра снова они выходили вдвоем. После завтра опять.

И характер у Вали стал слегка поправляться.

— Валя, а характер у тебя поправляется, — заметила Тоня.

— Да, — сказала Валя, — поправляется. Но это еще что! Скоро я учиться пойду, тогда он сразу поправится, на все сто процентов.

Нам всем было очень интересно: как же студент переспорил трудный Валин характер? Какими словами?

Я часто ходил рядом с ними с завода. Я иду, а они недалеко впереди, и Валя без конца говорит, но студент с ней не спорит, только слушает ее и совершенно молчит.

КТО, КАК И ГДЕ ОБЕДАЕТ

Вот проходит полдня. Наступает обед.

В разных цехах он устроен в разное время, чтобы люди не мешали друг другу в столовой. Правда, честно сказать, все равно мешают, хотя на заводе так много столовых и буфетов, что я каждый раз, начиная обед, долго выбираю, куда мне пойти.

Чаще всего я никуда не иду. Чаще я остаюсь у себя, прямо в цехе, потому что нам нравится пообедать всем вместе, а за обедом спокойно обо всем поговорить.

Вот тут и разворачивают все свои завтраки, берут в буфете чай и едят. А кое-кто делает чай у себя в лаборатории или в конторе. Один, скажем, сахар принесет, а другой — чай-заварку. Кипяток всегда в цехе есть, целый день специально греется кипятильник. А многие едят прямо даже без чаю, сидя на скамейке во дворе, если погода и если есть завтрак.

Если нету — сидят в коридоре у цеха, в красном уголке, в раздевалке. Там читают и слушают радио: последние известия или разучивание песен.

— А теперь эту мелодию сыграет нам фагот... Прошу вас, Владимир Николаевич... Начали!.. Большое спасибо... Запишите слова.

У нас в цехе любят слушать радио.



ЗДРАВСТВУЙТЕ

На заводе не всех обязательно чинно знакомят. Встречая меня каждый день в проходной, Жора Крёкшин незаметно со мной стал здороваться. И я с ним, понятно, стал здороваться тоже. И только после этого мы познакомились.

Иногда же идешь по заводу, видишь человека, которого часто встречаешь, и уже совсем готов улыбнуться и сказать ему: «Здрасьте».

Но если поздоровался раз, то уж надо потом и всегда. А столько людей на заводе, с кем ты должен сегодня здороваться, что это уже начинает слегка мешать твоей работе.

Я раз и навсегда решил здороваться только с теми, кого я точно знаю по имени и фамилии или хотя бы знаю, кем он работает на заводе.

Но это решение все время нарушаю.

Потому что как это можно, встречаясь со знакомым тебе человеком, даже не зная, что сказать ему нового, как же можно хоть бы глазом не моргнуть ему, хоть бы пальцем или губами, или бровью не дать ему знать, что он свой человек, что ты его отличаешь от прочих, ибо это не столь пустяковое дело — хорошее знакомство с человеком.

ЗАРПЛАТА

Дважды в месяц дают на заводе зарплату.

— Сегодня работать хорошо — за денежки, — говорят рабочие, направляясь в этот день на завод.

— Сегодня вообще день хороший; суббота да еще с деньгами, — говорит мне Тоня.

С утра у кассы стоят представители каждого цеха. У них небольшие железные чемоданы для денег. Деньги сперва получают на цех, а потом, уже в цеху, раздают кому сколько.

Тоня тоже получает — столько, сколько заработала.

С полочки Тоня покупает билеты в театр. Покупает журналы «Работница», «Моды». Тоня прочтет эти журналы и увидит, как надо жить и во что одеваться.

После работы Тоню встречают за проходной кондукторы автобусов и трамваев. Они уже знают, что сегодня получка, и несут к заводу проездные билеты на месяц.

— Карточку, карточку не забудьте купить! — говорят они всем, чтобы те не забыли.

И все, кому надо, обязательно купят.

А Тоня еще не пробовала, но сегодня и она вдруг решает, берет себе карточку. Потому что сегодня зарплата, день особый. Сегодня на многое можно решиться.

ЭТО ПОМОЩЬ НАМ ОТ НАС

В день полочки к нам в лабораторию вбежала веселая женщина.

— Пять рублей не разменяете? — спросила она.

Все заулыбались, показав, что еще им менять просто нечем.

— Пять рублей не разменяете? — спросили меня в тот же день в другом цехе.

— Нет, — говорю. — У меня еще нету.

Значит, на заводе уже начали повсюду давать зарплату. Нынче, видимо, дают ее пятерками. А менять их надо, потому что в этот день платят взносы в раз-

ные общества. В этот день платят в кассу взаимопомощи.

Эта такая особая касса, которая очень нам всем помогает. Вернее, мы сами через кассу помогаем нам самим.

— Как же это так? — спросите вы.

А так.

Нас, которые помогают, собралось очень много, и каждый вносит в кассу пустяк. В кассе же собирается огромная сумма. А нас, которым в этот раз помогают, немного: ведь не всем же понадобится вдруг эта помощь.

Недавно я купил в магазине большой новый шкаф. Я его долго искал, наконец купил и привез к себе на квартиру.

Вот тут бы мне без кассы и никак не обойтись. А потом понемногу я ей помощь верну.

Нужна все-таки эта взаимная касса.

УЧЕБА НА СОБСТВЕННОМ ПАЛЬЦЕ

Однажды к нам на участок привезли такелажники новый станок. Такелажники — это те, кто переставляет станки и автоматы в цехах. Они обучены, как это следует делать.

Со стороны же кажется, будто дело это простое, обычное мужское дело — поднять и толкнуть, то есть можно, имея одни только мышцы, делать его наравне с такелажниками.

Станок подняли на лифте к нам на этаж, положили на каток и повезли по проходу. Каток прокручивается под станком, и тот по нему продвигается дальше. Когда станок проедет по катку до конца, спереди подsunут под него второй и так далее.

— Е-еще! — кричал бригадир, и такелажники дружно налегали все разом.

— Стоп! — говорил бригадир и подкладывал каток, когда все действительно делали стоп.

И вдруг я увидел, что станок соскочил с катка, и мне показалось, будто он придавит такелажникам ноги.

— Эй! Берегись! — закричал я на весь цех и кинулся помогать.

Я ухватил станок из-под низу руками, а такелажники немедленно его отпустили — так как сам же я кричал им повсюду: берегись! И станок хорошо придавил мне мой палец.

За этот палец мне вынесли выговор по заводу, в приказе.

Сначала мне было обидно и непонятно: за мой же отдаленный палец и выговор мне же, хотя я стремился им только помочь.

Но после я понял, что выговор правильный: он меня научил не браться за то, чего делать я не умею, хотя мне и кажется, будто могу. Это еще хорошо, что я отделался пальцем, который вскоре зажил себе да и все. А могло быть значительно хуже и мне и другим.

Тем более что станок, оказалось, никуда не соскакивал, это вышел первый каток из-под низу, и уже бригадир преспокойно подsunул второй.

НЕГЛАВНЫЕ ШЕФЫ

Как-то наш завод познакомился с одним военноморским грозным крейсером, который плавал тогда неподалеку от нас.

Мы, завод, стоим одиноко, кругом нас раскинулся деловой большой город. Он, этот крейсер, одиноко

плывет день и ночь, кругом расстилается бурное море.

Мы завод орденоносный, и он, крейсер, тоже.

Нам в самый раз подружиться друг с другом.

Взяли мы тогда и подружились, раз обоим хотелось. То есть между двух людей это была бы действительно дружба. У завода и крейсера дружба называется шефством.

Шеф, как я понимаю, значит главный. Шеф-повар, например, — это повар самый главный среди других поваров. Но кто из нас главный, сказать было трудно. Тот, который шеф, тот и главный над своим подшефным. В письмах считалось, что шефы — завод. Но когда на завод приезжали матросы, главными были, понятно, они, так как гости. А когда мы к ним приезжали на крейсер как шефы, — главными были опять же они.

Вот, например, мы поем им со сцены, для них поем, стараемся для них, для кого же еще?

Или вот, наконец, открываются танцы.

— Пойдем потанцуем, — предлагаю я Тоне, с которой мы весело отплясываем на всех вечерах.

И вдруг наша Тоня отступает от меня, как от невежливого человека, и не хочет со мной ни за что танцевать.

— Да вы что! — говорит она мне. — Вы сегодня погодите. Дома натаңцуетесь. А сегодня пускай потанцуют они, потому что им не каждый вечер можно тут, на крейсере, танцевать, да и не с кем.

И она показывает на окружающих нас моряков, которые так и рвутся грудью в танец, хотя они нынче и не главные, а главные мы, потому что мы шефы.

Правда, пока мы разговаривали с Тоней, танец начался, и ее не пригласили. Но Тоня со мной все равно не пошла.

— Ничего, — сказала она. — Пусть я постою, а они на меня поглядят. Надо же им присмотреться. Пусть у них будет выбор.

Так она и простояла для выбора, пока все плясали, а на следующий танец ее пригласили даже четверо враз.

А я, и Жора Крёкшин, и другие наши рабочие несколько не обиделись. Мы встали в сторонку, чтобы не мешать танцевать, потому что мы шефы, а значит, подшефным мешать не должны.

ОДНИМ МАХОМ

Недолгое время работал в нашем цехе монтер Петухов. При его нетерпении у нас ему работать было трудно.

Он хотел одним махом все на свете улучшить.

Вымыться в бане до такой чистоты, чтоб никогда больше в жизни не вздумалось пачкаться или потеть. Вычистить раз и навсегда свои ботинки, чтобы потом они блестели всю жизнь. Брюки отпарить, навести на них стрелки, да так, чтоб отныне никогда не измялись. И механизировать кругом всю работу, все ручные операции — немедленно и враз.

Однажды помылся он в бане, подстриг свою челку, начистил, отгладил себя с головы до пят и явился к начальнику цеха на личный прием.

— Надо бы механизировать, — сказал Петухов.

— Правильно, — ответил начальник. — А что?

— Все механизировать в цехе, что можно.

— Что же можно? Конкретно? — спросил терпеливый начальник.



— Перевести нашу сборку на полное электричество, — сказал Петухов, не задумавшись.

— А как?

— Ну, я не знаю. Мое дело — предложить. Я идею предложил, а там — дело ваше, — отвечал Петухов. Начальник хотел на него рассердиться, но потом передумал.

— Я бы тебе, Петухов, поручил это дело, будь ты немного пошире в плечах. Ты бы мог, например, переставить вон тот генератор на третий этаж?

— Нет, — сказал Петухов. — А разве для механизации надо его переставить?

— Конечно, надо, — ответил начальник без смеха. — Так что ты приходи через недельку, если станешь сильнее. Ведь это не трудно?

— Я бы стал, да только как? — спросил его Петухов.

— Ну, я не знаю. Мое дело — предложить. Я идею предложил, а там — твое уже дело, — ответил начальник.

Петухов не посмеялся на шутку начальника, хотя была она шутка смешная. Петухов не терпел постепенной и тихой работы. Он повернулся и вышел на улицу, по дороге любясь на свой внешний вид, который навсегда он сегодня улучшил.

Но к дому ботинки свой блеск потеряли. Челка на улице встала ежом. И брюки к вечеру нуждались в утюге.

Разглядев, что никак не получится разом все на свете улучшить, он совсем заскучал и из цеха ушел.

Но в цехе не очень скучали о нем, потому что в цехе нужны такие люди, которые знают, что все надо делать постепенно, в трудах. Махом, раз навсегда, на земле еще не делается даже самый ерундовый пустяк.



НЕ НАДО ЧАСОВ

У Жоры Крёкшина очень быстро растет на лице борода. Когда я встречаю его утром в трамвае, он всегда свежевыбрит и пахнет одеколоном. Вечером он выходит из проходной уже весь заросший черной щетиной.

Встречаясь с ним по несколько раз в день, я слежу, как она растет.

— Ну что, уже выросла? — говорю я Жоре.

Жора трогает щеки.

— Нет, еще не везде. Правая щека только-только принялась.

— Значит, что же? Два часа осталось, не меньше?

— Да, — отвечает, прикинув, Жора. — Два часа с четвертью.

И это точно. Можно проверить.

Я жду, когда борода его будет достаточной, то есть ровно покроет все лицо, где ей надо. Для меня это означает окончание рабочего дня.

Вот какая точная у Жоры борода.

ОВЧАРКИ НА СТРАЖЕ

Ночью на заводе работают собаки, овчарки. Стерегут отдаленные заборы завода.

Они молча бегают настороже вдоль забора. Только слышно, как по натянутой проволоке ездит кольцо, только цепи со звоном гремят на бегу.

А то еще высунет одна нос наружу, в щель забора, другая тоже высунет нос в свою щель — и так перелавливаются целую ночь для веселья.

После, однако, все щели забили, и собакам стало заметно скучней.

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Ночью работает ночная смена завода. В этой смене гораздо меньше людей, чем в дневной и вечерней. А в воскресенье и в праздники ночной смены нет. В цехах оставляют специальных ночных дежурных.

Сегодня я тоже дежурю по цеху.

Иду по заводу. Кругом необычно: темно и тихо. Цех изнутри заперт прочным засовом.

Звоню. Открывает тот, кого я сменяю. Сдает мне смену: водит по цеху, отдает ключи, какие надо, говорит, за которыми кранами надо сегодня особо следить. Прощается и, довольный, уходит домой.

Я один, только кто-то в другом конце цеха потихоньку работает — три человека. Значит, участок не успел кончить план.

В журнале запись: просят выключить в полночь щиты, на которых тренируются наши приборы. В полночь я их выключу.

На весь огромный цех поет веселое радио. Я из комнаты начальника смены могу управлять колокольчиками. Захочу, чтобы громче, и громкость меняю, делаю самую сильную музыку.

Вскоре музыка перестала.

Выключаю щиты. Они остывают и при этом негромко пощелкивают.

Доложил диспетчеру по телефону: все в порядке.

Диспетчер этим, понятно, доволен.

Дребезжит вдали станочек — тот, что делает план.

Гудит вода, закрытая в трубах.

На заводе перекликнулись.

Пошел мелкий дождь.

Ночное дежурство протекает нормально.

СМЕРТЬ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА

Иван Васильевич Аксенов работал у нас на заводе всю жизнь. Весною, под праздник, Иван Васильевич помер.

— Подумать только, всю жизнь в заводе, — говорили женщины по цехам.

— Хороший был стеклодув, — говорили мужчины.

— Теперь таких нету, — говорили рабочие пожилые.

Когда умирает рабочий человек, то завод вывешивает его фотографию на видном месте, на доске возле входа. Фотографию эту окружают черной рамкой. Все, кто знал его при жизни, увидев фотографию, погорюют о нем, вспомнят, где и как они вместе работали. А кто с ним был незнаком, тут и познакомится.

Иван Васильевич умер под праздник, когда такую фотографию было повесить нельзя, чтоб не омрачать настроение целому коллективу.

— Ничего, — говорили женщины. — Он веселый был человек, Иван-то Васильич. Он и сам бы нам такого не позволил — вешать свою похоронную в праздник.

Но в полдень гроб его все же привезли к проходной, из завода вышел директор и проговорил над Аксеновым грустную речь.

— Мы глубоко скорбим, — говорил директор, сняв шляпу. — От нас ушел наш товарищ...

И все, кто знал Ивана Васильевича, плакали. И все, кто не знал его, плакали тоже.

Не плакала одна только Тоня.

— Я еще маленькая при маме была, а и то не плакала, — объясняла она. — Вернее, я плакала, а из глаз не текло.

— Просто ты такая сухая, — говорила тетя Настя, утираясь от слез. — Так и вырастешь сухарем. А когда умрешь, о тебе директор речи не скажет. Нет, не скажет.

— Это она по молодости, по глупости. Они все, молодые, такие, — говорили женщины, плача.

— Да, это точно, по молодости.

— Это пройдет.

— Разве что пройдет, — сказала тетя Настя, успокоившись, и принялась плакать дальше.

Потому что если умер хороший человек, то не плакать нельзя.

ЗАВОДСКОЙ ДЕТСКИЙ САД

Конечно, не на самом заводе, но недалеко от него есть детский сад. Он действительно заводской, завод помогал его строить. И теперь, если надо детский сад этот красить, заводу не жалко для него любой, самой красивой краски. Потому что в этом саду как раз его, заводские, дети.

Вот идет Маша, тети Настина внучка.

— А у меня сынок есть, — говорит Маша. — Он в комнате большой падает. Я ему сделала маленькую комнату.

— А у меня запускатка, — говорит Коля Федоров. — Я ее запущу, она полетает и опять летит ко мне.

У него вся семья работает у нас на штамповке. Всей семьей штамповали ему эту запускатку.

Вот Петя. Он всегда говорит громким голосом, словно кричит.

— Петя, — говорит ему мама, когда они едут из дому в трамвае. — Тише говори, в трамвае надо говорить тихо.

— А у меня такой громкий рот, — отвечает ей Петя. — Что же делать?

И мама совсем не понимает, что делать.

А это Миша. Миша целый день кого-нибудь поднимает.

— Я в нашем детском саду уже всех поднимаю, — говорит Миша. — Даже старшую группу я всю уже поднял.

Воспитательница Клавдия Яковлевна не дает поднимать ему самых тяжелых детей. Воспитательница Клавдия Яковлевна целый день читает детям рассказы про космос и часто спрашивает, кем они будут.

Конечно, они еще не понимают как следует, кем им хочется быть.

— Я хочу космонавтом, — говорит Миша. — Три, четыре — запуск! И повело!

— Я тоже, — говорит Коля Федоров, — запуск!

— И я, — говорит Маша.

— И я! — кричит громким голосом Петя.

— И я, и я! — кричат все кругом.

— Это невозможно, — говорит рассудительно Клавдия Яковлевна. — Вы что же думаете: космос резиновый, он растягивается? Куда вы там поместитесь? Нет, нам так много космонавтов не надо.

— А кого же нам надо? — спрашивают дети.

— Нам много кого надо, — отвечает Клавдия Яковлевна. — Всех нам надо, потому что вы растете, а мы делаемся старыми. Каждого из нас надо будет заменить.

— И вас? — спрашивает Маша. — Можно, я вас заменю?

— Ладно, — соглашается Клавдия Яковлевна, — договорились. А ты, Миша, ты любишь всех поднимать, ты будешь грузчиком.

— Ага, — говорит Миша. — Я, пожалуй, буду грузчиком. Мне нравится грузить. У нас на заводе грузчиков много.

— А я? — спрашивает Коля Федоров.

— А я? — громче всех кричит Петя.

— У тебя такой громкий рот, Петя, — говорит Клавдия Яковлевна. — Ты будешь диктором в радио.

— А у нас на заводе радио есть?

— Конечно, — говорит Клавдия Яковлевна. — У нас на заводе целый радиоузел.

— А я, а я? — спрашивают все остальные.

И Клавдия Яковлевна всем отвечает.

ТУДА И ОБРАТНО

Полчаса можно идти в одну сторону и полчаса в другую. И все это будет завод.

И будут обгонять тебя машины,

стоять везде указатели,
они укажут на цеха, котельные, склады,
на электроподстанцию,
угольный двор,
на железнодорожные ветки с тупиками,
на улочки и аллеи,

ты увидишь плакаты с призывами ко всему, что нам надо для лучшего будущего,

увидишь фонтаны,
заводоуправление, где управляют заводом,
доску из мрамора в память тех, кто погиб на последней войне,

гараж,
автомобильные весы,
радиоузел
и многое разное другое среди них.

И все это будет завод как он есть.

г. Ленинград.



Мудрое слово

Народные изречения и пословицы Дагестана

Хоть изречено
Не сегодня слово,
Мудрое, оно
И сегодня ново.

Кто из врагов
Нам больше всех немил?
Тот из врагов,
Кто раньше другом был!

Даже если в скачке состязаться
Будут только три осла хромых,
Все равно ведь должен оказаться
Кто-то победителем из них.

Ломают ноги, прыгая со скал,
Кто прыгнул, а не тот, кто приказал.

И мудреца любого
Забудет мир навек,
Когда забудут слово,
Что он живым изрек.

И на лопату для навоза
И на черпак, чтоб черпать мед,
Чинара или же береза
От одного ствола идет.

Щедрая рука дающего еду
Памятливей рта, жующего еду.

Чтоб приготовить плов,
Мечты о плове мало.
Нужна охапка дров,
Рис и баранье сало.

Бежал на запах мяса, думал — плов,
А прибежал, глядит: клеймят ослов.

Хоть пьющий в брюхо льет
Все то, что может литься,
Все ж не его живот,
А голова кружится.

Когда преследующих прыть
Чрезмерно велика,
И трус бегущий может быть
Не хуже смельчака.

Лжец на почетнейшее место
Однажды только может сесть,
Пока еще не всем известно,
Кто он на самом деле есть.

Не просо, а солома
Милее нам порой —
Когда солома дома,
А просо за горой.

Хоть мастью разные, нравом схожи кони,
Которые росли в одном загоне.

Раб истинный не тот отнюдь,
Кто у рабов рабом родился,
Раб тот, кто завершает путь
И ничему не научился.

Хоть слово «мед» мы скажем десять раз,
Не станет сладко на губах у нас.

Пока еще в горах козел,
Не ставьте на очаг котел.

Гора без гор других от века
Стоит, свой жребий не кляня,
А человек без человека
Не может обойтись и дня.

Одиннадцать ударов,
Считай, пропали даром,
Когда ты все испортил
Двенадцатым ударом.

Когда б величье достигалось криком,
То и осел бы шахом стал великим.

Уж если говорящий глуп, как дуб,
Пусть слушающий хоть не будет туп.

Дурак приписывает нам
Все то, чем обладает сам.

Хоть твари нет уродливей, чем еж,
Но сам-то еж уверен, что хорош.

Коль светит солнце золотое
И все-таки тебе темно,
Светильник зажигать не стоит:
Он не поможет все равно.

Тем остался дурачина,
Чем и раньше был,
Хоть из дорогой овчины
Он папаху сшил.

Кто никогда не видел ада,
Кто жил, беды не зная,
Того и в рай пускать не надо,—
Он не оценит рая.

В лесу ли, на горе,
Где деревья под боком,—
Пусть дерево нигде
Не будет одиноким.

Перевел Наум ГРЕБНЕВ.



● Николай Чуковский

РАННЕЙ РАНЬЮ

Рисунки Б. Жutowского.

5

Несколько дней после отъезда Арви я все-таки беспокоилась, как сойдет мне его выходка с шапкой. Томинг куда-то уехал, и я не без тревоги ждала его возвращения. Но ничего дурного не случилось. Томинг, вернувшись, зашел в свинарник и толковал со мною и другими работницами так же дружелюбно, как всегда. Вечером за ужином он заглянул к нам на кухню, увидел меня в новом синем свитере с белым воротником и улыбнулся довольной улыбкой.

Скоро он опять уехал; вообще он проводил в разъездах больше времени, чем на мызе. Да и когда он жил на мызе, я встречалась с ним не часто, а разговаривала еще реже. Я была самым незначительным лицом в его большом хозяйстве, самой младшей из всех, и любой мог мной командовать. И все-таки я знала, что он относится ко мне как-то не так, как к другим своим работницам.

Днем он почти не обращал на меня внимания. Но изредка, в субботние вечера, если все расходилось и я одна оставалась в нашей девичьей комнате, он забредал ко мне.

Он садился рядом со мной на кровать, заглядывал в ту книгу, которую я читала, и затевал разговор. В этих разговорах никогда не касался он ни хозяйства, ни мызы, ни свиней, ни моей работы; он словно забывал, что он хозяин, а я работница. Разговор обычно начинался с просьбы рассказать ему то, что я читаю. Увлеченная книгой, я рассказывала. Он слушал внимательно, с интересом, задавал вопросы.

— Когда я сам читаю, мне скучно и непонятно, а ты расскажешь, и мне все ясно.

Если я рассказывала печальное, он пригорюничивался, если я рассказывала смешное, он хохотал. Помню, я рассказала ему Дон Кихота; он очень смеялся, слушая, как Дон Кихот заступался за обиженных и как его всегда колотили. Я сказала, что Дон Кихот

был добрый и справедливый человек, но он с этим не согласился.

— Надо делом заниматься, а так ничего не получишь, кроме побоев, — сказал он.

Очень он любил слушать, когда я рассказывала что-нибудь прочитанное про любовь. Он жалел брошенных девушек, ненавидел мужчин-обманщиков и женщин-разлучниц, хотел, чтобы в любви все было честно, и ликовал, когда счастливые влюбленные соединялись. Вообще он очень склонен был к жалости, не любил жестокости и насилия и хотел, чтобы все было правильно; однако о правильности у него были свои собственные понятия, очень твердые, в которых он никогда не сомневался.

— Тебе бы хозяйкой быть, а не свинаркой, — сказал он мне как-то.

— Не хочу я быть хозяйкой...

Он возмущился.

— А кем же ты хочешь быть?

Я не умела ответить. Я хотела бы уехать куда-нибудь подальше от мызы и не быть ни хозяйкой, ни батрачкой.

— Глупости, — сказал он. — Так не бывает. Все люди либо хозяева, либо батраки. Либо на них работают, либо они на кого-нибудь работают.

Это он считал правильным и на этом стоял твердо. Он гордился тем, что деды его были крепостными на мызе баронов Дидерич, а теперь он сам хозяин мызы. Сознание этого наполняло его чувством победы. Но он не думал, что его преимущества дают ему право быть бессердечным и несправедливым. Напротив, он полагал, что высокое положение накладывает на него особые обязательства.

— Мы, Томинги из мызы, такие же мужики, как другие, и мы это помним, — говорил он.

Он презирал соседей-хуторян, плохо кормивших батраков. Он считал, что с людьми и животными нужно обходиться ласково.

— Я бы того хозяина, который бьет свою лошадь, сажал в тюрьму!

Он хотел быть добрым и был добр. Но, разговаривая с ним, я никогда не забывала непреходимую грань, разделявшую нас. Он хозяин, а я работница. Никогда не говорила я ему ни о своих мечтах, ни о своих желаниях и нуждах, ни об Арви.

Как-то раз, зайдя ко мне вечером, он принес мне косынку с крупными желтыми цветами по синему полю. Он накиннул ее мне на голову, велел встать и пойти к зеркалу.

— Завяжи. Повернись. Вот так!

Но я сняла косынку, сунула ему в руку и отказалась ее взять. Он удивился, настаивал, потом рассердился. Он повесил ее на спинку моей кровати, но я заявила, что все равно до нее не дотронусь и, когда девушки вернутся, скажу, что она не моя и пусть ее берет кто хочет. Он задумался и спросил:

— А если я всем девушкам подарю по косынке, ты возьмешь?

В воскресенье к обеду он принес косынки для всех своих работниц, молодых и старых. Он сам раздавал их, и мне досталась та, прежняя, — синяя с желтыми цветами.

Я несколько раз пользовалась этим способом, чтобы заставить его купить что-нибудь батракам — рукавицы, передники, даже обувь для хлева. И всегда этот способ действовал безотказно.

Арви иногда навещал меня по воскресеньям, раз в два-три месяца. Случайно получалось так, что он появлялся, когда Томинг был в отъезде.

Особенно запомнился мне один приезд Арви, в середине лета, в жаркий день. Мы сразу, не сговариваясь, побежали на наше родное болото. Знакомый горький запах прогретой солнцем ольхи охватил нас, и даже в кружении мошек, беспрестанно попадавших в глаза и в рот, было что-то родное, материнское. Арви умело перескакивал с кочки на кочку через черную нагретую грязь, и я чувствовала, что это доставляет ему удовольствие, как и мне. На выростившем нас болоте мы опять стали такими, какими были когда-то, и близость наша стала той же близостью, которая соединяла нас в детстве, — простой, неосознанной и ничем не осложненной.

Мы услышали щелканье бича, звон коровьих колокольцев и привычно побежали к стаду. Коровы были новые, дочери тех, которых мы пасли когда-то, но старик пастух был тот же. Я встречала его на мызе каждый день и привыкла к нему так, что не замечала, но тут увидела его глазами Арви, для которого он был далеким воспоминанием детства, и обрадовалась ему, как обрадовался Арви. Старик сделался еще меньше, потому что мы выросли, и все кругом сделалось меньше. Мы смотрели на него сверху вниз, как два великана, и он, согбенный, на согнутых в коленях ногах, радостно и робко улыбался нам беззубым ртом.

Такими же уменьшившимися и жалкими показались нам две наши родные землянки; они вынырнули из моря листвы двумя черными кучками грязи. В землянку Арви мы заходить не стали, а в мою заглянули. Я ни разу не была в ней уже больше года, — с того дня как переселилась на мызу, но знала, что она занята; туда перебрался безногий инвалид на дощечке с колесиками, который, сколько я себя помню, всегда раскатывал вокруг станции, выпрашивая монетки у пассажиров, или дремал у крыльца кабака в надежде, что его угостят. Когда мы толкнули дверь и вошли, он спал в углу на куче тряпок, прикрыв лицо кепкой, — коротенький обрубок чело-века; его дощечка с колесиками, отвязанная, стояла рядом. Вероятно, он был пьян, — когда мы вошли, он даже не шевельнулся. Я быстро окинула взглядом каморку, знакомую мне до каждой щелки в стене, и вышла со сладкой болью утраты. На мызу мы возвращались притихшие. Очень хотелось есть. Когда мы вернулись, работники ужинали, и я решила накормить Арви во что бы то ни стало.

Он на этот раз не спорил и вместе со мною вошел в кухню. Все батраки наши помнили его мальчиком и встретили приветливо. Девушки многозначительно переглянулись; они подвинулись и освободили ему место на скамейке рядом со мной. Мы ели щи с мясом, и старик пастух, сидевший за столом прямо против нас, смотрел на Арви добрыми слезящимися глазами и говорил:

— Кушай, кушай! Молодой Томинг знает тебя. Он обрадовался бы, если бы увидел, что ты ешь его щи.

Все знали, что пастух по старости уже почти не может работать и что Томинг не гонит его только по своей доброте. Мало того, Томинг разрешил ему жить не с другими батраками, а в отдельной комнатке, и старик, подавленный благодеяниями, от души восхвалял хозяина. Но Арви нахмурился и ска-

зал:

— Это не его щи, а ваши.

Он часто за последнее время говорил такие странные вещи. Я не понимала его, и это меня огорчало, — потому что мне всегда хотелось, чтобы Арви оставался таким, как раньше; ведь раньше в нем ничего не было для меня непонятного. И я сказала:

— Если бы не хозяин, нам всем нечего было бы есть.

— Это ему нечего было бы есть, если бы вы его не кормили, — сказал Арви.

Я с недоумением посмотрела на него, ничего не поняв. И по молчанию, внезапно наступившему за столом, почувствовала, что смысл слов, которые произнес Арви, для многих понятнее, чем для меня.

После обеда Арви зашел со мной в нашу девичью комнату. Увидев книги, он стал с любопытством перебирать и перелистывать их.

— Русские! — сказал он.

— Да, русские.

— Ты их прочла?

— Прочла.

Я чувствовала, что он, так же, как Томинг, уважает меня за эти книги, и мне было приятно. Обрадованная его интересом к тому, что меня так занимало, я стала рассказывать ему, что в этих книгах написано. Я увлеклась и, отправившись провожать его, рассказывала почти всю дорогу до станции. Он слушал меня внимательно, серьезно, сдвигая брови; потом сказал:

— Вот ты русская и умеешь читать по-русски, а все читаешь не то...

Я не поняла, да и не стала вникать, потому что вдруг заметила, что до станции совсем уж близко и, значит, он сейчас уедет... Мне стало грустно при мысли о новой разлуке, и я притихла. Я шла, прижавшись плечом к его рукаву. Вот кабак, вот платформа, вот сейчас выскочит поезд из-за поворота...

— Ой, Арви, ты скоро приедешь опять?

Он стал объяснять, почему ему так редко удается приезжать. Я не слушала.

— Хорошо, хорошо. Приезжай, когда можешь. Я всегда, всегда буду ждать тебя...

Я никогда не придавала значения тому, что Томинг время от времени навещал меня и сидел со мною наедине. Но все остальные придавали.

Во флигеле, где жили батраки, всегда кто-нибудь находился, даже в субботние вечера, и, разумеется, его посещения были замечены. Порой, когда он сидел у меня, какая-нибудь девушка, жившая со мной, возвращалась, заглядывая в щелку, видела хозяина и убегала, чтобы дожидаться в сенях или на дворе его ухода. И на другой день вся мыза знала, что он был у меня и просидел со мной наедине два часа.

Если бы я была хоть немного постарше, я скоро догадалась бы обо всех толках, которые кипели вокруг меня, о непрестанном жужжании у меня за спиной. Но я, хотя и прочитала столько книг о любви, была по-детски недогадлива. Я долго не понимала переглядываний, усмешек, намеков, долго не догадывалась, почему с таким усердием мне рассказывают о даме в Нарве, о веселых девушках в Таллине, о богатых невестах по соседству. Когда Томинг уезжал, меня спрашивали: «А что он тебе обещал привезти?» Когда в хозяйстве чего-нибудь не хватало, мне говорили: «Скажи хозяину, что надо бы новое ведро купить». Или вдруг задавали вопрос: «А будет хозяин нынешний год сено продавать?» Им всем дума-

лось, что я должна знать о хозяйственных замыслах Томинга больше, чем знают они. Никому не приходило в голову, что у меня нет никаких расчетов и планов; все дивились моей дальновидности и хитрости. Даже то случайное обстоятельство, что Арви приезжал ко мне в те дни, когда Томинг отсутствовал, было, по их мнению, неспроста.

Положение мое на мызе мало-помалу менялось. Вначале я была самая младшая, самая незначущая личность из всех; в кухне меня сажали на край стола, еду мне накладывали последней, и ела я молча, не осмеливаясь вмешиваться в разговор старших. Но неприметно место мое за столом изменилось, наливать мне стали одной из первых, и, когда я говорила, все замолкали и слушали. Эта перемена совершалась так постепенно на протяжении лет, что я не заметила ее.

У меня за спиной одни мне завидовали, другие сочувствовали, а я не знала ни о зависти, ни о сочувствии. У нас на мызе мне больше сочувствовали, чем завидовали. Девушки-батрачки, работавшие вместе со мной, ни на что для себя не надеялись, и я ни одной из них не становилась поперек дороги. Зато всем льстило, что хозяин обратил внимание на такую же бедную батрачку, как они сами, и утер нос дочерям богатых хуторян.

Навещал меня Томинг не часто, особенно весной и летом, когда работы бывало очень много и я приходила домой только спать; а по зимам он и сам мало сидел на мызе. Да и разговоры во время наших свиданий мы вели только такие, что их мог бы слушать каждый: я по-прежнему рассказывала ему содержание прочитанных книг, а он говорил мне о своем деде, о своем отце, о том, как ненавидели они немцев-помещиков, владевших в Эстонии всей землей, и как справедливо получилось, что земля наконец досталась их трудолюбивому мужицкому роду. Правда, меня порой пугал его взгляд, пристально на меня устремленный, неподвижный, от которого мне становилось не по себе. Этот его особый пугающий взгляд иногда настигал меня на людях, при случайной встрече где-нибудь в свинарнике, на дворе или на кухне, и я розовела и роняла то, что у меня было в руках — ведро или лопату. И все же первые догадки у меня появились только тогда, когда он настоял, чтобы я переехала в отдельную комнату.

Из всех работников мызы отдельную комнату занимал один лишь старик пастух. К этому времени он уже совсем перестал работать, но Томинг не гнал его из комнаты. Комнатенку свою — узкий чулан в одно окно — он покидал редко, даже еду теперь ему туда приносили. Как-то утром к нему зашла одна наша девушка со стаканом молока и нашла его на кровати мертвым.

Молодой Томинг устроил своему пастуху отличные похороны. Он сам шел за гробом вместе со всеми своими батраками и пригласил пастора, который сказал проповедь на могиле. Потом в кухне были поминки, и все напилось. Томинг действительно был огорчен смертью пастуха, которого знал всю свою жизнь, но, конечно, — теперь-то я уже понимала это — ему хотелось еще и показать, как он уважает старых слуг своего дома. Дня через два после похорон он велел вынести вещи покойника из комнаты. И объявил за обедом во всеуслышание, что теперь в этой комнате буду жить я.

— У тебя много книг, — сказал он, — ты любишь читать, тебе надо жить отдельно.

Сидевшие за столом переглянулись. И я вдруг догадалась, что все они подумали, и у меня сердце сжалось от тревоги.

Обычно Томинг охотно и не сердясь выслушивал возражения, от кого бы они ни исходили, и нередко соглашался. Но мы по звуку его голоса знали, когда можно возражать и когда нельзя. Сейчас было нельзя.

Он приказал мне жить в отдельной комнате, и я перенесла туда свою постель, разложила книги по ящикам старого комода. Конечно, хорошо жить в отдельной комнате. Но радость моя была отравлена тревогой. Я не очень ясно представляла себе, чего мне следует опасаться, но огорчилась, что у двери моей нет замка и я не могу запереть ее изнутри. Да и запирались было не в обычае: у нас на мызе ни одна дверь никогда не запиралась...

Однако время шло, а тревоги мои не подтверждались. Томинг чуть ли не сразу уехал в Таллин и несколько недель не возвращался. Дверь моя выходила в тот же коридор, что и дверь девичьей, девушки постоянно торчали у меня, и я жила почти так же, как прежде. Возвратясь, Томинг ко мне не зашел ни разу, а через несколько дней опять уехал. К этому времени установилась зима, и он по первопутку поехал на ближние хутора повидать соседей. Несколько ночей он ночевал не дома и вернулся в субботу утром. Вечером в эту субботу он впервые навестил меня в моей комнате.

Он внимательно осмотрел, как я устроилась, и остался доволен. Присел на кровать и спросил:

— Ты давно не ходила к Анне?

Я догадалась, что он был у Аннушки во время своей поездки. Я действительно давно не видала ее. С тех пор как я поселилась на мызе, я заходила к ней раза два в год, не чаще. Иногда она сама приходила на мызу, но только в праздники — на рождество, на пасху.

— Сходи к ней, — сказал Томинг. — Ведь она моя тетка. Ты разве не знаешь?

Я знала, что Аннушка приходится Томингу теткой, — правда, не родной, а двоюродной. Но я не могла понять, почему он меня к ней посылает.

— Так ты сходи к ней, — повторил он. — Она меня любит и тебя любит.

Он встал, кивнул и вышел.

Я хорошо знала, что Аннушка любит меня, и сама ее любила. Она, безусловно, хочет мне добра. И все-таки я не пошла к Аннушке. Какое-то смутное предчувствие удерживало меня. Не пошла, потому что меня посылал к ней Томинг.

Но через несколько дней Аннушка сама явилась на мызу. Она пришла торжественная, в черном платье с белым воротником, как на праздник, хотя до святок оставалось больше недели. Она зашла сначала в хозяйский дом, долго сидела там, пила кофе, потом прошла через двор в наш флигель и вошла в мою комнату.

Усевшись и оглядевшись, она стала рассматривать меня.

— Отчего ты такая узкая? — спросила она. — Длинная и узкая, словно змея. Ты что, мало ешь? Тебя, кажется, хорошо кормят!

Я промолчала, потому что не знала, почему я узкая. Меня давно смущало, что я не такая плотная и круглая, как работавшие со мной девушки.

— Это ты в отца, — сказала Аннушка. — Он тоже был длинный и узкий... Я-то знаю, какого ты рода. Я помню, какой был дом у твоего дедушки позади Маринского театра. За один такой дом десять таких мыз можно было купить...

Я молчала.

— Я говорю Томингу: ты мужик, а помыкаешь ею,— продолжала Аннушка.— Ведь она у тебя на дворе, как лебедь меж гусынь. А он усмехается. Он давно смекнул. Он давно на тебя глаз положил...

Я молчала, стараясь понять, к чему она клонит. И не то что страх, а хуже страха — тоска какая-то горькая зашевелилась во мне.

— Ты еще совсем маленькая была, а он уж тебя выглядел,— продолжала Аннушка.— Теперь тебе семнадцать...

— Нет еще семнадцати...

— Скоро будет. Я помню, как ты родилась. Я тебя на руках носила. Маму твою я почитала, я знала, какой она барыней была. И за каждым твоим шагом следила, чтобы ты не пропала. Я тебе дурного не посоветую. Ты девчонка молоденькая, тебе следует меня слушаться,— сказала она строго.

Я молчала.

— А ведь он на тебе женится! — проговорила Аннушка быстро, заговорщицким шепотом и пронзительно взглянула на меня.— Женится, женится, не мотай головой!

— Он так вам сам сказал? — спросила я.

— Так или не так, а уж я поняла, не беспокойся. Раз я говорю, значит, верно. Тут на него вся округа взвзвесься, но женится он на тебе. И правильно. Он твердо решил и не раздумает, я знаю. Ты что головой мотаешь?

— Не хочу,— сказала я, погибая от тоски.

— Замуж не хочешь?

— Ничего не хочу.

— Не хочешь стать хозяйкой мызы?

— Не хочу.

Аннушка рассердилась.

— Дура! — сказала она.— Упрямая, как отец твой был. Что ей ни скажешь: не хочу. Устраивала ее на мызу, и тоже: не хочу. А вот прожила на мызе столько лет, и слава богу. Теперь тебе такое счастье в руки идет, о каком ни одна девушка мечтать не смеет. Да ты знаешь, что значит — хозяйка мызы?..

— Не хочу,— повторила я.

— Тыфу! — сказала Аннушка со злостью.— Чего ж ты хочешь? Куда ж ты денешься? Ведь ты круглая сирота, у тебя одна юбка, да и та дырявая. Я знаю, кто тебя сбивает! Этот голозадый, вонючка болотная, невенчанной шлюхи сын. Я скажу Томингу, чтобы он и близко его не подпускал!..

Я слушала ее терпеливо, но когда она заговорила про Арви, слезы брызнули у меня из глаз. Аннушка опешила и замолчала. Она молча смотрела на меня, постепенно смягчаясь. Она нисколько не сомневалась в своей правоте, но была добрая старуха.

— Брось, не расстраивайся,— сказала она уже совсем по-другому.— Ведь это все не сейчас, не сразу. Подумаешь и сама поймешь, где твое счастье. Мыза — что, разве дело в одной мызе! А человек он какой! Человек он хороший, справедливый, это тебе всякий скажет... И мужчина завидный!..

Аннушка ушла, а я осталась сидеть у себя на кровати, и тоска душила меня. У тоски моей было имя: Арви.

ве нескольких простейших выражений. В те времена в Эстонии умели говорить по-русски только пожилые эстонцы; мои сверстники русского языка не знали. После смерти моих родителей мне и самой почти не случалось говорить по-русски; разве только при встрече с Аннушкой обменяюсь с нею двумя-тремя русскими словами. Я, наверно, стала бы забывать русский язык, если бы не читала так много.

В то воскресенье стоял отчаянный мороз, гулять было невозможно. После обеда я накормила свиней, вернулась в свою комнату и застала в ней Арви. Он ждал меня, греясь у печки.

Мы не виделись уже месяца два, а то и больше, и теперь, когда он приехал, я растерялась от волнения. Я всегда ждала его, но после разговора с Аннушкой ждала напряженно, нетерпеливо. После этого разговора тревога овладела мной и не отпускала ни на минуту. Хотя ничего не случалось, хотя дни шли, как прежде, и Томинга почти никогда не было на мызе, я жила с ощущением постоянной угрозы, в постоянном ожидании беды, которую невозможно будет отворотить. Мне казалось, что только Арви может спасти меня. Как? Этого я не знала. Я чувствовала, что даже не отважусь откровенно рассказать ему свое положение. Но, может быть, он сам мне скажет что-нибудь такое, что все прояснит... Мне почему-то казалось, что стоит мне увидеть Арви, и вся моя беда исчезнет, рассеется. Я ждала Арви, а он все не появлялся и приехал только в последнее воскресенье января.

Но ничего он не прояснил и ничего не рассеял. Что-то хмурое и даже недоброе было в его лице. Он все усмехался чему-то, и я не могла понять чему. Говорил он со мной отрывисто, словно сам себя обрывал. Скажет что-нибудь, я, не поняв, спрошу, а он не ответит и усмехнется. Словно какую-то невидимую стену поставил между мной и собой и никак не давал мне через эту стену прорваться.

Он объяснил мне, что учится русскому языку. У него есть учебник русской грамматики и словарь. И со всеми, с кем можно, он старается говорить по-русски.

— И давно? — спросила я.

— Скоро год.

— Зачем?

— Нужно,— ответил он и усмехнулся.

В другое время это меня, наверно, обрадовало бы. Неожиданный интерес Арви к русскому языку сблизил бы нас. Я давала бы ему свои русские книги. Но теперь упрямое требование говорить с ним по-русски только отдаляло его от меня. Он недостаточно знал русский язык, чтобы сказать или понять что-нибудь сложное. Мы сидели с ним у раскаленной печки, и он старательно выговаривал самые простые русские слова, сосредоточив все внимание не на смысле, а на согласовании падежей. «Спаси меня, Арви!» — думала я, а он требовал от меня, чтобы я ему указывала все его ошибки и неправомерности, и обрывал меня, когда я пробовала заговорить по-эстонски.

Он как будто нарочно прятался от меня за этот свой русский язык. Даже о нем самом, о его жизни я ничего не могла узнать толком. Он очень невнятно, корявыми русскими фразами сказал мне, что, наверно, скоро уйдет из железнодорожных мастерских. И уедет.

— Куда?

— Далеко,— ответил он.

Я взволновалась, решительно перешла на эстонский и спросила, не нагрубил ли он, не выгоняют ли его.

О тчетливо и почти правильно выговаривая русские слова, Арви сказал мне:

— Пожалуйста, говори со мной по-русски. Я удивилась. С самых ранних лет мы с ним всегда разговаривали только по-эстонски. Я всегда была уверена, что он не знает русского языка, кроме раз-

— Не выгоняют, но выгонят, — ответил он по-эстонски.

— За что?

— Они знают, за что.

— Куда ж ты пойдешь, Арви?

— Попробую стать моряком.

— Наймешься на корабль?

— Наймусь на корабль.

— И куда ж ты поплывешь?

— Может быть, за море.

— Так далеко?

— Бывают времена, когда некоторым людям лучше быть подальше.

Он усмехнулся, и я ничего больше не могла от него добиться. Опять он заговорил по-русски, придумывая замысловатые фразы без всякого смысла и заставляя меня поправлять.

Я ни о чем не могла его расспрашивать еще и потому, что давно уже слышала за дверью шаги и перешептывания. Это мои девушки толпятся в коридоре... С чего это они?.. Не в первый раз приехал ко мне Арви! Никогда прежде они не шептались, не подслушивали. Что же изменилось? Разве изменилось что-нибудь? Разве я уже не могу сидеть с ним вместе?.. Неужели они знают, о чем со мной разговаривала Аннушка?.. А тут еще мы говорим по-русски и они думают, что мы хотим что-то скрыть...

Пришла пора ужина, и я стала звать Арви с собою на кухню. Но он отказался.

— Нет, в этом доме я ужинать не буду.

— Пойдем, пойдем! — настаивала я и хотела прибавить, что Томинга нет на мызе, но слова эти почему-то застряли у меня в горле. — Ты всех там знаешь. Они тебя очень любят...

Он нахмурился, как всякий раз, когда составлял в уме сложную русскую фразу.

— Я не люблю рабств, которые любят свое рабство, — медленно проговорил он. — Правильно я сказал? Ра-бов? Раб-ство?

Когда я надела ватник, чтобы проводить его на станцию, он решительно воспротивился. Он сказал, что в такой мороз нет надобности его провожать, он дойдет и один.

Еще не было случая, чтобы я не провожала его на станцию, когда он уезжал от меня; на пути к станции обычно происходили самые главные наши разговоры, те, которыми я особенно дорожила. Увидев отчаяние у меня в глазах, он уступил:

— Ладно... Пойдем.

Когда мы вдвоем вышли в коридор, худшие мои опасения подтвердились. Несмотря на то, что была уже пора ужина, все работники и работники мызы стояли в коридоре, в раскрытых дверях комнат и смотрели на нас. Они молча провожали нас глазами, полными любопытства и испуга. На кивок Арви они отвечали короткими кивками, не подавая руки, не заговаривая с ним. Мы прошли сквозь строй неодобрительных и встревоженных взглядов. Я невольно опустила лицо и думала только об одном: нет мне спасения, Арви уезжает, он ничем мне не хочет помочь, сейчас его не будет, и неизвестно, когда я его снова увижу...

Мы вышли на двор. От мороза у нас перехватило дыхание. Дул сильный ветер, и в темноте было слышно, как с поспехом шуршала поземка. Арви быстро шагнул по дороге; я тоже шагала изо всех сил, иногда даже бежала, но он все был впереди, словно уходил от меня во тьму. Он не оборачивался, а я задыхалась, боясь отстать от него. Морозный ветер жег мне лицо.

— Ох, Арви, почему ты сегодня со мною такой?..

— Какой? — спросил он, не обернувшись, не замедлив шага.

— Почему ты не хочешь помочь мне? Почему ты делаешь меня несчастной?

— Твое счастье — не мое счастье!..

Я не поняла его слов, я даже плохо их расслышала сквозь шелест перебегающего через дорогу сухого снега, но почувствовала, что он сказал что-то очень злое. И такая горечь была в этих злых словах, что я вдруг догадалась, как он сам несчастен.

— Арви, а ты не можешь не поехать за море?..

— Не знаю.

— А когда узнаешь, придешь ко мне попрощаться?

— Не знаю...

— Неужели не придешь?..

— Я теперь от себя не завишу... Да и ты от себя не зависишь...

— Арви!..

Вероятно, было в моем голосе что-то такое, что заставило его остановиться. Он обернулся, подождал меня и сказал тихонько:

— Ты замерзнешь. Я сам дойду. Беги домой.

Но я стояла, вглядываясь в его лицо, смутно белевшее в темноте. И вдруг подумала: почему он учится говорить по-русски?

— Ты поедешь в Россию? — спросила я.

— В Россию? Эх, если бы в Россию!..

— Хочешь в Россию?

— Туда пока нельзя. Туда пока нет проезда.

— Ты любишь Россию?

— Люблю. Очень.

— Мой отец тоже очень любил Россию, — сказала я.

— Твой отец? Любил? Очень?

И сквозь тьму я увидела, что он опять усмехается той короткой, презрительной и недоброй усмешкой, которой он усмехался весь день.

— Ну, беги, беги... Не стой на морозе...

10

В детстве моем, на болоте, я, разумеется, мало думала о России, хотя постоянно слышала о ней от отца да и от матери. При слове этом не появлялось в уме моем никакого ясного образа, — как, впрочем, и при большинстве других слов, потому что я, ничего не видевшая, кроме нашего болота, ничего другого и не могла себе ясно представить. Но отец мой всегда говорил, как он любит Россию, и я, любя отца, любила все то, что любил он. Когда он произносил это слово — Россия, — в протяжном звуке «и» мне слышалось что-то плачущее, щемящее, хватающее за сердце.

От него же, от отца своего, я знала, что эту дорогую ему Россию, — с таким пронзительным плачущим «и», — захватили, опозорили и разорили какие-то жестокие и беспощадные злодеи, которых называют большевиками; я знала, что отец мой много лет геройски сражался, стараясь спасти свою несчастную Россию, и мечтал только об одном — сражаться еще и еще, до победы; мало того, я знала, что из-за этих злодеев мои родители лишились всего, что им принадлежало, лишились того светлого мира, которого я никогда не видела, но который в их памяти остался необычайно прекрасным; из-за этих злодеев мы оказались загнанными в болото, и отец мой утонул в проруби, ворую рыбу, и мать моя побиралась по хуторам, а я возможность чистить свинарники должна считать удачей и счастьем.

49

А оказывается, в этом слове — Россия — был и какой-то другой смысл, неведомый моим родителям. Этот смысл был неведом и мне, я только смутно догадывалась о нем, и эта догадка странно волновала меня и беспокоила. Я давно уже заметила, что слово это, — Россия, — волновало и всех других людей вокруг меня, хотя, быть может, волновало по-разному. Оно имело какое-то странное отношение ко всему на свете: к богатым владельцам хутора и их батракам, к лавочникам и покупателям, к рабочим железной дороги, к тем пьянчугам, которые вертелись возле кабака, выпрашивая стопку у богатых крестьян, и даже к дракам детей, выросших на болоте, с детьми из поселка. Оно имело отношение и к самому Томингу, и к старому пастуху, и к работавшим со мной девушкам-свинаркам, и ко мне, и к Арви, ко всем, ко всем. И когда оно внезапно произносилось, это слово — Россия, — лица становились серьезными и голоса делались тише.

Если на мызе в хозяйстве случался какой-нибудь беспорядок, Томинг говорил обычно: это как сейчас в России. Этим он хотел сказать, что сейчас в России — бессмыслица, неразбериха. К тому, что происходило в России, отец мой относился с ненавистью, а Томинг с презрением. Но люди, с которыми я жила и работала, относились не так. Иначе. Даже совсем иначе. Что-то другое было для них в слове Россия. Что-то вроде тайной надежды, что-то вроде отмщения за все обиды... Они вспоминали это слово, когда им было особенно тяжело, в те минуты, когда несправедливость их судьбы проявлялась особенно резко... И Арви относился к России не так, как Томинг, и не так, как мой отец. Я давно уже это подзревала, а теперь знала твердо...

Но не об этом я думала, когда, расставшись с Арви, я убежала с мороза в жаркую кухню и села ужинать. Все сидевшие в кухне смолкли при моем появлении, и я поняла, что они говорили обо мне. Чьи-то руки наложили мне в миску картошки и мяса. Я торопливо ела, а на меня поглядывали со всех концов стола. Что было в этих взглядах — сочувствие, негодование, тревога? В сених, когда я выходила из кухни, девушка, вышедшая вслед за мной, шепнула мне:

— Мы никому не скажем. Ты не сомневайся...

— Чего не скажете?

— Ну вот! Будто не знаешь... что Арви к тебе ходит...

11

Та зима была тревожная. Где-то шла война. Где-то далеко. У нас на мызе газет никто не читал, радио не было, и о войне этой даже не слышали. Мы ясно знали, где она. Но тень ее ложилась и на мызу.

Германия и Польша... Франция, Англия... Я знала названия этих стран, но названия эти не вызывали у меня почти никаких представлений. Финляндия. Это гораздо ближе... Финны воюют с русскими... Эстонцы ни с кем не воюют. Но по хуторам стали забирать парней в солдаты. У нас на кухне за столом рассказывали о забастовках в Таллине, о том, что людей хватают и сажают в тюрьму... И при этих рассказах глаза блестели то страхом, то надеждой.

Но ни о войне, ни о тех страхах и надеждах я совсем тогда не думала. Слишком я была занята своим. Дни шли за днями, а я все искала выхода и не находила. Я ждала и переставала ждать. Арви не обещал ко мне приехать, и все же по воскресеньям

я ни на шаг не отлучалась от мызы и каждые полчаса выбегала за ворота посмотреть на дорогу — не идет ли он. Но и воскресенья проходили одно за другим, а Арви все не было. Кончились морозы, отшумели февральские метели, дни стали длинными, сосульки свисали с крыш, пар стоял над кучами навоза, зачернели первые проталины, засуетились сойки, зазвенели синицы, зима шла к концу, — а Арви не было.

Сесть на поезд, доехать до его станции, найти его в железнодорожных мастерских... Если он еще в железнодорожных мастерских... Если он еще не ушел на корабле... Или если его не взяли в солдаты... Или не посадили в тюрьму... Иногда, вспоминая, как он был холоден и недобр со мной при последнем свидании, я начинала думать, что он все знает. Кто-нибудь сказал ему, что я буду хозяйкой мызы... Почему же он не помог мне, даже не попытался спасти меня? А вдруг он сам хочет, чтобы я вышла за Томинга?.. Я думала: вот подожду еще одно воскресенье... Но воскресенье проходило, он не приезжал, я холодела от тоски и опять начинала думать, что совсем ему не нужна...

А между тем жизнь моя шла своим чередом. Началась весна, и работы на мызе становилось все больше. Я стала старше, сил у меня прибавилось, и я бралась за всякую работу. Никто меня в ту весну не понукал, не заставлял работать; напротив, я часто подмечала, что за меня делают то, что я должна была бы сделать сама: то воды принесут, то пол вымоют, то хлев вычистят. Я хорошо понимала, что это значит, — меня считали будущей хозяйкой. Это сердило меня; я все время была насторожена; я старалась никому не дать сделать то, что положено было делать мне. По утрам никто меня больше не будил; несколько раз было так — я просыпалась и вдруг обнаруживала, что все уже позавтракали и работают, а я лежу одна во всем доме. Боясь, как бы это не повторилось, я стала часто просыпаться по ночам; вскакивала и прислушивалась — не встают ли? Даже если во время работы сам хозяин говорил мне: «Оставь! Без тебя сделают», — я притворялась, что не слышу, и продолжала работать.

Ко мне в комнату Томинг больше не приходил; но на мызе он теперь жил безвыездно, и я каждый день наталкивалась на него то тут, то там. Заговаривал он со мной редко, но, когда я несла воду в ведрах или вилами накладывала навоз в телегу, он вдруг останавливался и долго смотрел на меня, ласково, любя. Я хорошо знала этот его взгляд. Таким же ласково-любящимся взглядом смотрел он на своих только что выпущенных из конюшни стреноженных лошадей, восторженно валявшихся в первой весенней траве, подымая вверх связанные ноги. Он чувствовал к ним нежность, потому что это его лошади. С таким же ласковым любованием смотрел он на своих свиней, размышляя, какую можно зарезать уже сейчас, а какую попозже.

Он не делал попыток объясниться со мной. Уже хорошо его зная, я понимала, что он не торопится с объяснением вовсе не потому, что колеблется и не хочет связать себя. Напротив, он не объяснялся оттого, что не видел в объяснении никакой нужды, так как считал дело решенным. Ему не приходило в голову, что он может получить отказ. Да если бы я и отказала ему, он просто не принял бы этого во внимание. Аннушка по его поручению говорила со мной, я была предупреждена, и теперь мне оставалось только ждать. Долго ли ждать, — я не знала. Был теплый солнечный день конца апреля. В тот год весна наступила рано, и деревья уже стояли в

зеленом дыму лопнувших почек. Проступила первая травка и, обгоняя ее в росте, — крапива, еще мягкая, светло-зеленая, почти не обжигающая. Эту молодую крапиву мы, свинарки, резали и подмешивали свиньям в корм; в нашей местности считалось, что после долгой зимы молодая крапива очень полезна свиньям. Больше всего крапивы росло вокруг серых камней фундамента сгоревшего баронского дома. Взяв большой мешок и серп, я отправилась туда за крапивой.

Серые камни давно уже потонули в густых зарослях бузины, и все место, где когда-то стоял дом, превратилось в заброшенный пустырь. Нагнувшись, я срезала серпом крапиву, дерзко подымающуюся уже сантиметров на десять над землей, а солнце жгло мне затылок, и только что родившиеся бабочки, трепеща в лучах, перелетали через меня. Здесь я могла быть уверена, что никого не встречу; как всегда, когда я оставалась одна, я думала об Арви.

Я уже больше не ждала его по воскресеньям. И не строила больше планов, как поехать к нему. Зачем? Я не нужна ему, и он ничем мне не может помочь... Я думала об этом без обиды, несколько не сердясь. Я никогда не умела сердиться на Арви. Думая о нем, я жалела его. Ему еще труднее, чем мне... Он не спасет меня и не изменит мою судьбу... Срезая крапиву и суя ее в мешок, я только вспоминала его, — представляла себе его лицо, голос, руки...

И вдруг я почувствовала, что кто-то сзади смотрит на меня. Я выпрямилась и обернулась. Томинг стоял на тропинке, за прутьями бузины. Мне пришлось в голову, что он давно уже стоит там и наблюдает за мною, и я смутилась.

— Знаешь, — сказал он, — я недавно получил письмо от брата. Брат меня зовет в Стокгольм погостить. Пишет, что и жена зовет, и сама написала бы мне, да по-эстонски она ни слова. Она у него настоящая барыня. Да и он настоящий барин. У них уже двое детей.

Мой мешок был еще не совсем полон, я опять нагнулась и стала резать крапиву.

— Я брату ответил, — продолжал Томинг. — Я написал ему, что раньше осени не приеду. Я мужик, а мужику летом не до разъездов. Я написал ему: ты женат, и я к тебе приеду с женой. Правильно?

Я засунула кулак в мешок, чтобы утрамбовать крапиву, и не ответила.

— Там над нами смеяться будут, что мы после еды рот рукавом вытираем. Наплевать, нам стесняться нечего, мужик город кормит, а не город мужика. Да за тебя я и не боюсь, ты скоро ко всему господскому приобвыкнешь. Это у тебя в крови. Породистую коровку в любом стаде заметят.

Мешок мой был полон, и я закинула его себе на правое плечо. Левой рукой я придерживала мешок,



в правой держала серп. Вышла на тропинку и пошла между густых кустов. Он пошел со мною рядом.

— Я знаю, отчего ты молчишь, — сказал он. — Да ведь это все детские глупости — тот, о котором ты думаешь. Ты и сама знаешь, что глупости. Я зла против него не имею, лишь бы он держался подальше. А то я дуну — и он вон через тот лес перелетит...

Томинг опередил меня шага на два, и я видела его розовый широкий затылок. И мне захотелось полоснуть его по затылку серпом. Я представила себе, как он упадет, и будет лежать здесь, под бузиной, и кровь будет течь из него, как из зарезанной свиньи.

И все это так ярко, так отчетливо вообразилось мне, словно я уже вижу его, убитого, лежащего в траве. И мне стало страшно.

Ничего не поделаешь: он мой хозяин, моя судьба...

12

Наступило лето, трава поднялась, пошли то солнечные дни, то дождливые. Ночи стали совсем короткими, работы на мызе было очень много, как всегда в эту пору, я работала от зари до зари и спала часа четыре в сутки. Я очень уставала, но радовалась и работе и усталости. Когда много работаешь, меньше думаешь. Я уже не удивлялась, если меня невзначай называли хозяйкой. Девушки, мои подруги, с которыми я прожила столько лет, иногда говорили мне: «Зимой, когда ты будешь жить в хозяйском доме...» Откуда-то все уже знали, что

свадьба будет осенью, а после свадьбы мы поедем в Швецию, к старшему брату молодого Томинга... Когда самые разные люди говорили мне об этом, я не возражала и не спорила. Многие даже удивлялись моему равнодушию, и действительно, я стала как деревянная. Даже слухи о войне, которая приближалась и о которой много говорили теперь, не волновали меня. Чужие беды и тревоги казались далекими, а своя беда была рядом.

В самом конце июня пошли дожди и шли, почти не переставая, недели две. На мызе это очень всех волновало, потому что пора косить, а сушить сено под дождем невозможно. Трава перестоялась и мокла. Наконец в одно июльское воскресное утро мы, проснувшись, увидели солнце и ясное небо. Надолго ли установилась погода, — не знал никто. Решено было выйти на покос всем, чтобы не прозевать хорошего дня. Я уже больше не сидела по воскресеньям дома, не ждала; я вышла на покос вместе со всеми и косила до полудня. Косцы остались обедать в поле, а я в полдень забежала на мызу, чтобы покормить свиней.

Войдя во двор, я увидела Томинга и Арви.

Они стояли друг против друга. Роста они были одинакового, но Томинг вдвое шире. Арви стоял ко мне спиной, и лица его я не видела. На потемневшем от прилива крови лице Томинга глаза блестели, как две светлые капли. Начала их ссоры я не застала.

— Ты ждешь русских, вонючка! — кричал Томинг.

— А ты ждешь Гитлера, — отвечал Арви.

— Набрался, нахватался, зараза! — говорил Томинг. — Я не дам тебе моих людей портить. Пошел вон!

— Я стою, где хочу, — ответил Арви.

— Ну, нет, не так, — проговорил Томинг. — Ты все-таки на моей земле стоишь.

— А это облако тоже твоё? — спросил Арви, ткнув рукой в небо. — Оно как раз над твоей землей висит. И это солнце — тоже твоё? Твоей будет только та земля, которую насыплют тебе в рот, когда тебя закопают. А для этого не так уж много земли нужно...

Он плюнул в грязную, растоптанную солому, устилавшую двор, повернулся и пошел к воротам. Губы у него были совсем белые, и я вспомнила, как у него белели от бешенства губы, когда он дрался с мальчишками из поселка. Он увидел меня, но даже не кивнул. Он обошел меня, как обходят пень или камень, и скрылся за воротами.

Я заметалась по двору.

— Арви, постой!..

— Беги, беги за ним, — сказал Томинг, зло усмехнувшись. — Далеко не убежишь, — вернешься.

Повернувшись ко мне спиной, он поднялся на крыльцо.

Я выскочила на дорогу, увидела спину Арви и удивилась, как далеко он успел уйти. Он быстро удалялся, он торопливо шагал по направлению к станции, не оглядываясь. Я побежала догонять его. На бегу с головы моей слезла косынка, волосы растрепались, сбились. Из рощи на дорогу вышла целая гурьба наших девушек с косами в руках; они остановились и смотрели, как Арви уходил от меня и как я бежала за ним. Но мне было все равно.

— Арви!

Он не обернулся.

— Арви! Подожди. Это я!

Наконец я догнала его и схватила за руку. Он вырвал руку и не остановился.

— Арви, останься!

— Он меня выгнал, — ответил Арви.

— Бог с ним, Арви, — сказала я, задыхаясь от быстрой ходьбы и стараясь не отстать. — Ты ведь ко мне приехал, а не к нему. А ведь я не он...

— Он паук, а ты паучиха, — сказал Арви, не глядя на меня и продолжая шагать все так же быстро. — Мне с вами водиться нечего. Я рабочий.

— Я не паучиха, Арви! — воскликнула я. — Я тоже работаю, как и ты! Посмотри на мои руки...

Я протянула перед ним руки, ладонями вверх, но он не посмотрел на них, он их отпихнул, ударил по ним так сильно, что я отдернула их от боли.

Несколько минут мы молча шагали рядом. Потом я сказала:

— Ты ведь очень давно меня знаешь, Арви... Мы всегда с тобой были друзьями... Помнишь, я отдала тебе кинжал моего отца...

— Пес твой отец! — сказал Арви внезапно.

Мы находились как раз на том самом месте, на песчаном, где когда-то били моего отца.

— Нет, он не пес! — сказала я.

— Пес! — повторил Арви. — Пес, нализавшийся крови!

Он слишком хорошо знал меня. Он знал, что задевать при мне моего отца нельзя. Он знал, что я этого не выдержу.

— Нет, не пес!

— Пес! Пес! Пес! — повторял он белыми от бешенства губами. — Воевал против своего народа, против рабочих, против крестьян, грабил, душил, жег! А когда его выгнали к нам на болото, он кур воровал!..

Он знал, что уж этого я не вытерплю. И я не вытерпела. Я остановилась, засовывая дрожащими пальцами сбившиеся волосы под косынку.

— Ну, Арви!.. Прощай, Арви!..

Он не ответил. Я стояла, а он уходил от меня, не оглядываясь.

Я дошла до ворот мызы, ни разу не обернувшись. Я понимала, что я непоправимо несчастна, но обида помогала мне переносить несчастье. Он не смел так говорить о моем отце!

Во дворе мне встретился Томинг.

— Ну, что, вернулась? — сказал он. — Я знал, что далеко не убежишь.

13

Прежде всего я пошла покормить свиней, но оказалось, что кормушки полны; кто-то наполнил их без меня.

Я пообедала и вернулась на покос. Все удивились моему возвращению, но никто не сказал ни слова. Они, несомненно, все уже знали: и что Томинг выгнал Арви и что я бежала за Арви вдогонку, растрепанная. Но я стала косить, стараясь показать, что ничего не случилось; разговаривала о погоде, о сене, даже шуткам смеялась. Обида крепко сидела во мне, придавала мне силы и защищала от тяжелых мыслей.

Но когда при долгом закате, пылавшем не для того, чтобы погаснуть, а для того, чтобы превратиться в утреннюю зарю, я вернулась в свою комнату и, не раздеваясь, упала на постель, никакой обиды во мне не осталось, а осталось только отчаяние. Я безвозвратно потеряла Арви и ужаснулась тому, что мне предстояло.

Обида... Арви что-то нехорошее сказал о моем умершем отце... Да ведь он сказал это не для того, чтобы обидеть моего отца, которого уже нет, а для того, чтобы обидеть меня! Я любила и жалела отца и потому считала его правым. А был ли он прав?..

Я давно понимала, что Арви не может считать его правым... Но Арви прежде никогда ни одного дурного слова не говорил о моем отце, потому что щадил меня.

Арви меня, меня хотел обидеть, потому что он несчастен, а несчастен он потому, что я обидела его... Впервые мне все стало ясно. Какую страшную я нанесла ему обиду!..

И как это получилось? Разве я этого хотела? Разве я хотела быть хозяйкой мызы? Разве мне нужен Томинг? Все это чужое для меня: и Томинг, и его свиньи, и его сено, и его брат в Стокгольме, и его дама в Нарве...

Я с сочувствием подумала об этой незнакомой мне даме и с враждою об этом брате... Ничего я никогда не хотела, кроме того, чтобы Арви был всегда со мной!..

Медленно плелась паутина из тонких мягких нитей, а попробуй, вырвись из нее... Паук!.. Арви сказал, что Томинг — паук, а я паучиха! Неправда, я не паучиха, я муха, попавшая в паутину... А паук нетороплив и спокоен, и, может быть, это в нем самое страшное... То, что он задумал, он задумал давно — наверно, гораздо раньше, чем я стала догадываться. Он нетороплив и спокоен, потому что тзердо знает, что все будет, как он хочет. Ему не нужно даже пальцем шевельнуть. Он ни о чем меня не спрашивает, он уверен: ни одна девушка не откажется выйти за него, ни одна девушка не откажется стать хозяйкой мызы. Арви он, конечно, совсем не боялся. Может ли Томинг бояться Арви?

Смешно! Даже когда я побежала за Арви, он не остановил меня. Он знал, что я вернусь. И я вернулась...

От отвращения к себе мне было тошно, — так тошно, что я не могла лежать. Я села, спустила с кровати ноги. Короткая летняя ночь уже перевалила за половину, и в окне чуть-чуть светало. Я знала, что светать будет быстро, что через час все уже встанет и соберутся в кухне и, наскоро поев, побегут на работу, и я побегу в свой свинарник...

Я прислушалась. Тихо. Все в доме спали крепким сном после длинного тяжелого дня на покосе... Черные сучья деревьев медленно проступали из тьмы за мглистым окошком.

Еще птицы молчали, не пели еще петухи...

Господи, если бы убежать!..

Если я не убегу сейчас, через полчаса будет уже поздно... Через десять минут будет уже поздно...

Я еще ничем не решила, а руки мои уже поспешно двигались, собирая вещи в узелок. Я брала только самое необходимое, — да ничего, кроме самого необходимого, у меня и не было. Не зажигая огня, я наскоро причесалась и надела косынку перед едва светлевшим зеркалом. Я уеду на самом раннем поезде, — на том, на котором уехала когда-то мать Арви. Я не знаю, где Арви; я видела его и ни о чем не спросила... Я буду искать его, как он искал свою мать... И если не найду, — исчезну, как его мать исчезла...

Я надела свой узелок на палку, — так, с узелком на палке, перекинутой через плечо, ходила когда-то моя мать побираться. Пошарив под кроватью, я достала свои туфли, но не надела их, а связала шнурками; летом я всегда ходила босая, но, кто знает, может, мне придется быть в каком-нибудь городе... И я шнурками привязала туфли к палке. Перекинув через плечо палку с узелком и туфлями, я вышла в коридор. В конце коридора светлела открытая настежь наружная дверь. Сердце мое колотилось. Вот и крыльцо.

Двор был словно налит сумраком, но вершины

деревьев уже розовели. Сарай, хлевы, конюшни, свинарники — все уже было отчетливо видно. И тишина...

Торопясь, слегка пригнувшись, съехив плечи от утреннего холодка, я перешла через двор. Когда я вышла за ворота, пропел петух...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я ищу Арви

В молодости каждого человека бывает один такой особый год, который потом оказывается самым важным годом жизни, — важнее всех предшествующих и всех последующих. Я не хочу сказать, что именно в этот год должен непременно решиться вопрос замужества или женитьбы; я не утверждаю, что именно в этот год определяется будущая профессия человека; нет, тут дело в более существенном, хотя, конечно, за этот год может определиться и семейная жизнь и профессия. Год этот **особый** потому, что за его двенадцать месяцев человек становится взрослым и окончательно складывается. Все то, что нестройно бродило и зрело в нем с младенчества, — переменчивые мечты, смутные страхи, неясные склонности, случайные симпатии и антипатии, — превращается в характер, во взгляды и убеждения, в устойчивые интересы, в любовь и ненависть. Разумеется, человек меняется и в дальнейшем; разочарования и обиды наносят незаживающие раны; новый опыт и новые знания заставляют на многое посмотреть по-иному. Но все новое вливается уже в ту форму, которая прочно отлита этим **особым** годом. Моим особым годом был год между концом июня 1940-го и концом июня 1941-го. В сороковом Советская власть утвердилась в Эстонии; в сорок первом началась война, и в Эстонию вошли войска Гитлера. За этот год все рушилось, создавалось заново, умирало и рождалось вокруг меня. Все менялось; менялась и я. И в конце этих двенадцати месяцев я была уже совсем другая, чем в начале.

Вначале я ничего не понимала да и не старалась понять. Вначале вся Эстония была охвачена тревожным и праздничным чувством перемены. Одни сильнее ощущали тревожность, другие — праздничность. Но те, кто тревожился и опасался, сидели по домам; я их не видела. Я видела тех, для кого перемена была праздником; это праздничное чувство безотчетно владело и мною. Я не знала, чему я радовалась: освобождению от власти Томинга, от его мызы? Я не знала, что ждет впереди; и никто кругом не знал. Ветер перемен веял над Эстонией, и те, кому тяжела была прежняя жизнь, ему радовались.

В те первые дни — теплые ясные дни конца июня, почти без ночей — ощущение веселой легкости и свободы владело всеми, кого я встречала на пути. Люди улыбались, задевали друг друга шутками, и я тоже улыбалась и отвечала на шутки. Теперь мне даже странной кажется та праздничная беспечность, которая цвела кругом меня и во мне, когда я шла пешком по Эстонии в поисках Арви. Я ужинала с веселыми красноармейцами в сосновой роще у дороги; они кормили меня супом из своего котла и дивились, что я так чисто говорю по-русски. Я ночевала на сеновале с какой-то пожилой воровкой, кото-

рую несколько часов назад выпустили из тюрьмы; возбужденная и торжествующая, она рассказывала о себе с полной откровенностью и насмехалась над освободившими ее дураками, так как освобождена она была по ошибке. Железнодорожные мастерские, где работал Арви, когда я наконец дошла до них, оказались приземистым, черным от грязи и копоти длинным кирпичным сараем с выбитыми стеклами в окнах и со всех сторон украшенным алыми флагами. Люди в мастерских были веселы, праздничны и возбуждены. Все они отлично знали Арви, и, когда я спрашивала о нем, со всех сторон раздавалось: «О! А!» Меня звали в цех, где над станками тоже цвели красные флаги, и показали станок, на котором он прежде работал. Я почувствовала, что в глазах этих людей Арви не простой человек, а какой-то особенный. Меня спрашивали, не сестра ли я его, не невеста ли. Я робела и ничего не умела ответить. Когда я спросила, где он сейчас, мне сказали:

— Где же ему теперь быть? В Таллине, конечно!

Я хотела тотчас же идти пешком в Таллин. Но оказалось, что какой-то товарный поезд стоит на путях и меня могут посадить в вагон. В товарном вагоне было полно; раскрыв широкие двери в обе стороны, люди сидели на полу и пели. Рядом со мной сидела таллинская девушка, волосы которой поразили меня: все в локонах и мелких твердых колечках. Она сказала, что это особенная, электрическая завивка, которую делают в Таллине и которая держится целых полгода. Я никогда еще не видела электрической завивки и смотрела на свою соседку с уважением. Впрочем, она оказалась девушкой простой и добродушной; она работала в таллинском порту, а сейчас возвращалась с хутора, от матери, и в корзинке у нее были пироги с морковью и капустой. Она дала по куску пирога мне и присоединившемуся к нам парню, а потом стала раздавать куски всем, кто сидел поближе. Тогда и остальные полезли в свои кошелки и узелки, стали доставать еду и делиться с соседями. Какая-то старушка сунула мне в руку кусок вареной курицы. В этой щедрости, в этом желании поделиться своим добром с другими тоже была свойственная тем дням еще неясная вера, что наступает новая, более великодушная жизнь. Поезд тащился так медленно, так долго стоял на разъездах, что я, вероятно, скорее дошла бы до Таллина пешком. Была уже ночь, когда я вышла в Таллин с вокзала, — белая июньская ночь, с непотухающей зарей. Мне негде было ночевать, и моя новая подруга с электрической завивкой пригласила меня к себе. Мы прошли с ней через весь город — от вокзала к порту.

Я никогда раньше не бывала в Таллине, и он поразила меня своей громадностью. По правде сказать, мне никогда до тех пор не случалось бывать ни в одном городе, и я очень смутно представляла себе, что это такое. Впоследствии я увидела много городов и поняла, что Таллин вовсе не такой уж большой город. Но тогда я шла по ночным улицам притихшая и даже подавленная. Огромные дома и странные башни плыли мне навстречу из-за каждого поворота, и стекла окон, отражавшие багровую ночную зарю, таинственно горели надо мной.

У меня был клочок бумаги, на котором один рабочий железнодорожных мастерских написал мне название площади, где стоит большой дом, а в том доме есть одно важное учреждение, и в этом учреждении мне может быть, скажут, как найти Арви. Моя новая подруга с утра повела меня туда, и мы вышли на площадь, где оказалось много очень больших домов, а самой большой была церковь. На всех домах были красные флаги, и мы не сразу догада-

лись, какой именно дом нам нужен. У входа стояла часовая — в пиджаке, с красной повязкой на рукаве, с винтовкой. Подруга моя, несмотря на всю свою городскую бойкость и электрические волосы, робела не меньше, чем я. Часовой ничего не знал про Арви и направил нас в бюро пропусков. Там мы долго стояли в углу, боясь подойти к окошечку. В окошечке тоже про Арви не знали и почему-то посоветовали зайти попозже. И мы ушли.

По длинной-длинной улице мы дошли до парка Кадриорг — просто потому, что множество людей шло в том же направлении. В парке перед президентским дворцом кипела толпа. Никогда я не видела столько людей сразу. Вместе со всеми я чувствовала, что все изменилось, что я больше никогда не вернусь на мызу, что жизнь моя пойдет совсем по-другому, и беспечный ветер перемены веселил меня, как и всех, кто стоял кругом.

Я знала, что Арви радуется еще больше, чем я, и мне так хотелось сейчас же, немедленно увидеть его. А вдруг он здесь, в Кадриорге, в этой толпе? Я вглядывалась во все лица, я тащила за собой свою подругу из конца в конец, хотя понимала, что, даже если он здесь, я не найду его среди такого множества людей.

Потом подруга моя ушла домой, а я вернулась на ту площадь, к тому зданию, к бюро пропусков. У меня заранее холодело сердце, когда я думала о предстоящем разговоре с человеком в окошечке; я чувствовала, что у меня не хватит умения толком расспросить и узнать. Робко встала я в очередь, и вдруг мне показалось, что кто-то смотрит на меня сзади. Я оглянулась. Посреди просторной людной комнаты стоял Арви и глядел на меня.

Как я обрадовалась! За эти дни я совсем позабыла, что мы расстались в ссоре. Я выскочила из очереди и кинулась к нему.

Но он не позабыл. Он холодно и недоверчиво смотрел на меня, засунув руки в карманы.

— Зачем ты здесь? — спросил он, не подав мне руки.

Я опешила и не знала, что ответить. Я приехала в этот город и пришла в это здание для того, чтобы найти его. Для чего еще могла я сюда явиться?

— Ты приехала хлопотать о Томинге?

Этот вопрос совсем сбил меня с толку. Я не могла понять, как такая мысль могла прийти ему в голову. Разве Томингу что-нибудь угрожает? Разве надо о нем хлопотать?

— Нет, Арви, нет! — сказала я, чувствуя себя несчастной под его недоверчивым и отчужденным взглядом. — Зачем мне Томинг? Я ушла с мызы и больше туда не вернусь! Никогда! Я тебя здесь искала, тебя! Почему ты так сердито на меня смотришь? И что случилось с молодым Томингом? Зачем о нем надо хлопотать?

— А ты не знаешь? — спросил он. — Ты не знаешь, что произошло с Томингом?

— Я ничего не знаю. Я ушла потихоньку на заре, чтобы никто меня не видел, не задержал.

Что-то дрогнуло у него в лице.

— Разве я такая, как мой отец? — продолжала я. — Я сама по себе! Я выросла с тобой на болоте. Я работала свинаркой на мызе. Я такая же, как ты, Арви. Как все эти люди кругом! Почему ты такой злой, Арви?..

Но он уже не был злым. Пока я говорила, глаза его смягчились; что-то нежное, очень меня тронувшее, блеснуло в них.

Он оглянулся.

— Пойдем отсюда, — сказал он тихо. — Здесь трудно разговаривать.



2

Мы шли рядом по узким, кривым, незнакомым, праздничным улицам.

— Томинг любит тебя, — сказал Арви.

— Не знаю.

— Он любит тебя, — повторил Арви уверенно. — Он хотел сделать тебя хозяйкой своей мызы. Ты должна была ценить его любовь.

Упорство, с каким он говорил о любви Томинга, стало меня возмущать.

— Я была дура и не ценила! — сказала я. — Я была дура и не любила человека, который любил меня и хотел сделать хозяйкой мызы! Я была дура и любила того, кто не любил меня никогда!

— Неправда! — сказал Арви. — Я всегда тебя любил. Но я был дурак и об этом не догадывался.

— Когда же ты догадался, Арви? — спросила я, взяв его за руку.

— Когда узнал, что тебя любит Томинг.

— Ты удивился, Арви, что меня могут полюбить?

— Нет, не удивился. Просто подумал о нем, о тебе, о себе и догадался, что все это значит.

— А что это значит, Арви?

— Что ты должна любить меня, а я тебя.

— Я давным-давно догадалась, что люблю тебя, Арви.

— И ты будешь всегда со мной?

— Да, Арви.

— И ты рада?

— Да, Арви, рада.

Он на минуту выпустил мою руку из своей и взглянул мне в лицо.

— А что революция пришла сюда, ты рада?

— Да, Арви, рада.

На этом кончилась моя первая юность, ранняя рань моей жизни.

Но не кончилась моя судьба и, разумеется, не остановилась история. Может быть, я когда-нибудь расскажу вам, что было дальше. Если вам не надоело меня слушать.

● Мария Красавицкая

„ВЕЩЕНАЯ ТЕТКА„



Рисунки А. Лапшинова.

И «Везет же людям на родителей!»—эта мысль каждый раз приходит мне в голову, когда приезжает тетка Даши нарушает размеренное, добропорядочное течение нашей семейной жизни.

Она никогда не приезжает одна. Всегда со своим «боевым охранением» — близнецами Петькой и Колькой. Никогда не дает телеграмм о приезде.

Так было и в тот вечер.

Папа корпел над трудом, касающимся проблемы выращивания телят. Мама именует этот нескончаемый труд «писаниной». И, кажется, это единственный случай, когда я полностью солидарен с мамой. В наш век спутников и лунников морочить себе голову телячьими проблемами? Смешно!

Мама вязала (уже третий год) мне свитер.

Я сдыхал от скуки: удрать из-под бдительного маминога ока трудно, а телевизор она не разрешает включать, чтобы не мешать папе, а читать мне надоело.

В этот занудный, медленно тянущийся вечер вдруг звонок у двери, взбесившись, начал трезвонить без умолку.

Папа, роняя и расшвыривая по полу листы своей «писанины», сорвался с места. Закричал так, что слышно было, наверно, на всех этажах нашего нового, обладающего хорошей звукопроницаемостью дома:

— Дарья!

Мама, бросив в сердцах вязанье на колени, страдальчески подняла глаза к потолку. И взгляд этот означал: «Ну, кончился покой!»

Я полетел открывать дверь. И с ходу сначала тетка, потом двоюродные братцы сделали попытку сломать мне ребра.

Покончив с моими ребрами, тетка заметила папу. И пошла к нему, медленно, как слепая, натыкаясь на стулья. Шла и не отводила от папы напряженных,

остановившихся глаз. И папа не отводил от нее своих. И тогда, только в эту минуту, пока тетка шла, они были очень похожи друг на друга, как и подобает брату и сестре. Я знаю, чем они похожи: чудным выражением растерянной нежности, которую они в эту короткую минуту не в состоянии скрыть.

Но вот они сблизилась настолько, чтоб броситься друг другу в объятия, как сделали бы другие брат и сестра, встречающиеся столь редко, как наши. Наши не бросились. Тетка хлопнула папу по плечу и пробасила:

— Здорово, Колька, рыжий!

Папа давно уже не рыжий, он седой. Но при теткинских словах он вскинул голову, и глаза его вдруг сверкнули рыжим, лихим огнем.

— Здорово, Дарья! — ответил папа и тоже хлопнул тетку по плечу.

Мама неодобрительно взирала на эту встречу, даже не давая себе труда скрыть свое неодобрение.

— Хоть бы поцеловались, что ли! — скучным голосом напомнила она.

Они поцеловались — так, приложились щеками друг к другу. Потом такой же ритуал щекоприложения состоялся между теткой и мамой. «Боевое охранение» тиснуло папу и маму, отчего папа сказал: «Ого!», — а мама сморщилась: «Медведи!»

Папа и тетка многозначительно переглянулись. Лицо у папы стало несчастным и виноватым. Тетка подмигнула ему одним глазом: «Вызываю огонь на себя!» — и внесла деловое предложение:

— Не худо бы по этому поводу... того... Она щелкнула себя по шее и прибавила: — Чекунец не худо бы.

Чекунцом в нашем доме издавна называется четвертинка водки.

— Начинается! — осуждающе сказала мама. Но тем не менее направилась на кухню, к холодильнику. И вид у нее был обреченный.

А близнецы, толкая друг друга мощными плечами, ринулись в переднюю. Вот в этот момент я и подумал: «Везет же людям на родителей!»

Близнецы явились из передней с поллитровкой. И тогда Петя — именно он держал бутылку — получил от тетки подзатыльник за «превышение полномочий». И тут же прокомментировал сей факт:

— За стихи, что пишет Коля, гонорар влили мне!

Я люблю этот шуточный комментарий. Близнецы и в самом деле очень похожи друг на друга. Папа смеется, что тетя Даша, наверное, и сама их не различает.

В свою очередь, оба близнеца похожи на того казака в кубанке, в ремнях, в бурке, при шашке, что в упор смотрит со старой фотографии прямо тебе в глаза и все чего-то от тебя требует. Папа с этой фотографии тоже смотрит в упор. На нем такая же кубанка, такие же ремни, бурка и шашка. Но все равно сразу видно, что тот — герой, а папа — нет.

II

Он, этот казак, и тетку себе в жены добыл совершенно по-геройски, как и подобало командиру взвода разведки: взял с бою.

Я люблю, когда тетка рассказывает эту историю. Легко, весело, без грусти. (Хотя грусть могла бы быть, ведь дядя Петя погиб.) Но тетка рассказывает без грусти, вся вдруг молодея, вся светясь этим воспоминанием.

Тетка, папа и близнецы выпили первую рюмку водки. Мы с мамой проглотили кислятину — сухое вино, что всегда «на случай» хранится у мамы в холодильнике. И вот тогда я попросил:

— Тетка, расскажи про дядю Петю!

Я попросил, и тетка вскинула глаза на близнецов. И оба они, будто кто-то дернул их за невидимые ниточки, тоже вскинулись и глянули на тетку совершенно такими же глазами, как казак на фотографии, — чего-то от нее потребовали.

— Не надо, Даша! — не глядя на тетку, наверное, жалея ее, произнес папа.

Она метнула на него один только взгляд.

— Нет! Надо! — жестко сказала тетка и выпустила изо рта огромный клуб дыма, окуталась им.

А когда дым рассеялся, перед нами сидела совсем другая тетя Даша.

Она немножко откинулась на стуле, провела рукой по сидящим пышным волосам. Глаза ее смотрели в окно, на меркнущий закат. В них уже теплилась улыбка. И чем больше она расцветала — странная, отрешенная, — тем моложе становилось лицо тети Даши. Я не видел больше ни морщинок у глаз, ни угловатых складок, идущих от носа к уголкам губ.

— Он привез нам — бабушке, дедушке и мне — письмо от Коли. С фронта.

Стоило тетке произнести эти обыденные слова, как начало совершаться чудо.

Казак в черной косматой бурке, в кубанке с малиновым верхом подошел к дверям квартиры дедушки и бабушки. Я отчетливо слышал, как в такт его шагам позвякивали шпоры о каменные ступени. Не спеша и не волнуясь — с чего бы ему волноваться? — он нажал кнопку звонка. Я тысячу раз нажимал эту кнопку и слушал, как звонит за дверью звонок. Но тогда, наверно, звонок звонил совсем иначе. Он не мог тогда звонить обычно. Он слишком много начал, тот звонок.

И тетя Даша, высокая, тоненькая, с такими же, как вот сию минуту, легкими завитками на лбу, с та-

кими же улыбающимися глазами, щелкнула задвижкой и настежь открыла дверь.

И началось то, что тетка насмешливо назвала «лихой кавалерийской атакой». Дядя Петя вошел в переднюю, не сводя с тети Даши светлых, совсем прозрачных, чего-то властно требующих от нее глаз. Она не могла от них оторваться и отступала, отступала перед «превосходящими силами противника».

Потом он сидел в их маленькой комнатке, всю ее загородив своей буркой.

— Как же он мог снять бурку?! — смеялся, вспоминая, голос тети Даши. — Ведь он был такой пижон!

— Но-но, мать! — с угрозой дружно отзывались близнецы.

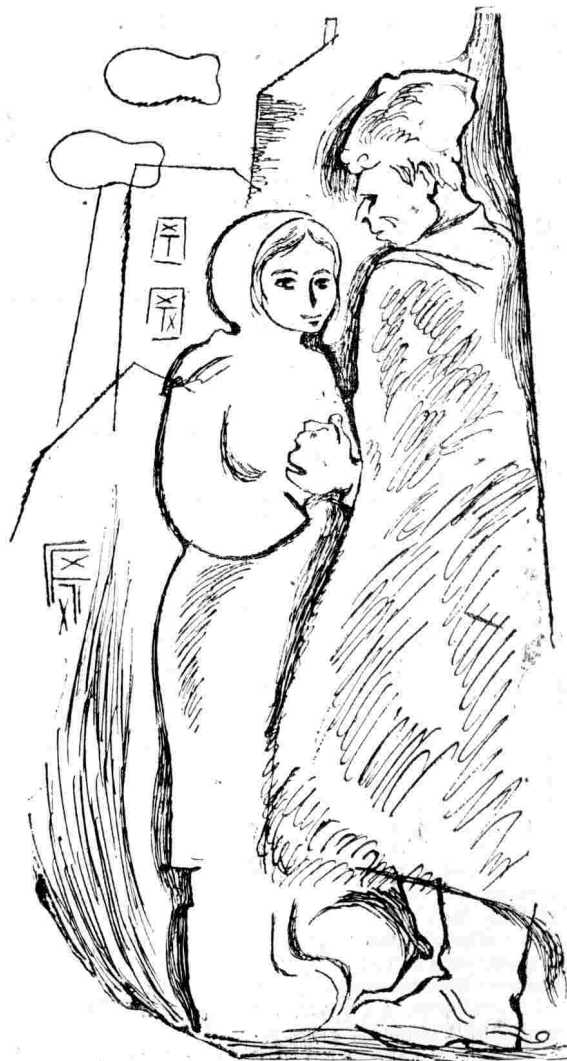
— Пижон, что уж там! Правда, Коля? — ликовала тетя Даша. — Оба вы, в него пошли — тоже пижоны.

Она любовалась ими, как, конечно, любовалась тогда казак в бурке.

— И еще он был нахал. Ох, какой он был нахал!

Еще бы не нахал. Ведь в передней, прощаясь, он приказал тете Даше:

— Вот что. Вечером встретимся. В 20.00. У памятника Пушкину.



Наверно, он ничего больше в Москве не успел заметить, кроме памятки Пушкину. Иначе зачем бы ему заставлять тетю Дашу тащиться через весь город, от Тимирязевской академии?

«Нахал! — кивая согласно и покорно, думала тогда тетя Даша. — И не подумаю я приходить. Это я нарочно киваю, будто соглашаюсь. Пусть померзнет, нахал такой!»

«Нахал, нахал! — твердила тетя Даша, едучи в восьмом часу вечера в промерзшем, обиндевелом трамвае от Тимирязевской академии к площади Пушкина. — И не подумаю я к нему подходить. Просто интересно посмотреть, как он мерзнет. И позлорадствовать. Посмотрю и поеду обратно».

Нет, нахал не мерз. Ему было тепло в бурке. А в сапогах у него, наверно, была накручена куча портянок. Нет, совсем он не мерз. И вид у него был очень самодовольный. Победительный был вид.

«Не подожду, вот и все!» — страшно рассердилась тетя Даша.

И тут же подошла. И дядя Петя схватил ее озябшие руки и спрятал их у себя под буркой, на груди. И ладонями она почувствовала, как взволнованно бьется у нахала сердце.

На следующий день он уезжал. С подножки тронувшегося уже вагона оглянулся на тетю Дашу — взгляд его был светел и требователен. Оглянулся и крикнул:

— Моя! Всегда, всю жизнь будешь моя! — И еще успел спросить: — Ясно?

И тетя Даша, будто магнитом тянули ее за собой светлые, властные глаза, оскользаясь на нечищеном перроне, побежала за вагоном. И все согласно, покорно кивала, все твердила:

— Ясно! Ясно! Ясно!

Он не слышал, конечно, уже ее слов. Но она хотела, чтоб он по движениям губ понял слова.

Он понял. И стал слать ей письма-треугольнички, коряво, вкривь и вкось исписанные простым карандашом.

Случалось, по полгода и больше не было писем. Тетя Даша волновалась, бегала к маме. Мама тогда еще не была папиной женой, была просто его девушкой.

Близнецы давно уже были допущены к дяди-Петиним письмам, хотя мама и осуждала тетку за это:

— К чему детям читать всякие глупости? К тому же безграмотные.

Мама была и права и не права.

Не было глупостей в этих письмах. В них была любовь. И тоска. А вот орфографические ошибки были действительно. Если б я даже задался целью сочинить такие, — не сумел бы ни за что.

Как-то я был у тетки на каникулах. И читал пожелтевшие письма-треугольнички с полустершимся, выцветшим карандашом. И даже попробовал прокомментировать:

— Во дает!

Но близнецы так окрысились на меня за эти неосторожно сорвавшиеся слова, что я всерьез испугался за свои ребра.

Их было, в общем-то, трудновато читать, эти письма. Уж больно сложным образом выражал дядя Петя свои чувства. И, хотя на каждом письме и сейчас еще был отчетливо виден суровый лиловый штамп «Проверено военной цензурой», у цензоров, наверно, не хватало терпения до конца прочитывать излияния фронтовика. И дядя Петя, как бывалый хитрый разведчик, в последнем письме на это, конечно, и рассчитывал.

Сначала он сурово ругал тетю Дашу:

«Я долго боролся с душевной борьбой, которая во мне происходила. Сейчас я освободился от этого кризиса и не хочу возвращаться к обратному. Но увы! Получается совсем обратное. В моих предположениях мне пришлось разочароваться — опять не получил от тебя ни одного письма. А мне все время снятся твои бесподобные глазки, цвета той лучшей советской стали, из которой сделана моя шашка. А нахожусь я в данный текущий момент...»

И дальше шел адрес — точнехонький адрес — подмосковная деревня, возле которой стоит соединение. А потом опять — любовь, любовь, любовь.

Цензор за этой любовью и просмотрел то, что обязан был вычеркнуть, — дислокацию воинского соединения. Если бы он вычеркнул, то тетя Даша не носила бы сейчас фамилию Ковалева, у меня не было бы двух братьев-близнецов.

Но цензор устал от сложной выраженной любви и ничего не вычеркнул. И тетя Даша, получив письмо, помчалась к моей будущей маме. И, поскольку станция была совсем рядом, рукой подать, они поехали.

Мне как-то трудно представить свою маму смелой и решительной. Но тогда именно она оказалась смелой и решительной. Ведь не так просто найти того, кто тебе нужен, среди тысяч людей в солдатской форме. Ведь каждый, у кого они спрашивали, осведомлялся подозрительно:

— А как вы, собственно, попали в расположение части? А как узнали?

И еще десятки других «как». Ведь шла война. И на лбу у двух девчонок, таскавшихся по непролазной грязи из деревни в деревню, не было написано, что они не какие-нибудь немецкие шпионки.

Теперь, на минуту оторвавшись от вязанья и глянув на нас поверх очков, мама очень просто объяснила свою смелость и решительность:

— У меня было больше прав. Мы с Колей встречались и до войны. А Дашка... — И она махнула рукой. По мнению мамы, у Дашки в жизни все и всегда было нелепо и необдуманно.

Итак, проявив смелость и решительность, они возникли под вечер, в дождливых сумерках, на пороге сруба без крыши, в котором размещалась папина ветеринарная часть.

Я как-то не очень себе представляю встречу папы и мамы. Может быть, потому, что они о ней никогда не рассказывали.

Но встречу тети Даши и дяди Пети я вижу так, словно сам сидел где-то в уголке закопченного, накрытого плащ-палатками сруба, скудно освещенного коптилкой-гильзой. И дождь уныло барабанил по плащ-палаткам. И иногда мне капало за шиворот. И я ежился от холодных капель. И все, как тетя Даша, ждал, ждал. За дядей Петей поехали. Давно. Но вот уже совсем стемнело, а его все не было и не было.

Он появился неожиданно в дверном проеме, занавешенном еще одной плащ-палаткой. Появился и сразу же увидел тетю Дашу. И, громыхая шашкой, брэнча шпорами, позвякивая орденами и медалями, перешагнул через высокий порог.

И тетя Даша, сидевшая с ногами на нарах, сделанных из жердей, увидев его, вскочила на колени и уткнулась лицом ему в грудь, прямо в прохладные, влажные от дождя ордена и медали.

Вот тогда-то — тетя Даша утверждает, что только тогда! — дядя Петя впервые поцеловал ее. Ладонью, мокрой, пахнущей ремненным поводом и лошадьей, сильной и властной ладонью он приподнял за подбородок тети-Дашино лицо, склонился над ним, заслонив плечами свет коптилки. И поцеловал. В первый

раз. Как это хорошо — поцеловаться вот так в первый раз!

И приказал, сверху вниз глядя в ее приподнятое к нему лицо:

— Собирайся! Едем!

— Куда? Дашка, и думать не смей! — на правах старшей закричала мама. — С ума ты сошла! Слышишь, Дашка?

Дашка не слышала. Дашка всю жизнь поступала нелепо и необдуманно. Она молча натянула мокрые, насквозь раскисшие туфлишки, стащила с веревки сушившуюся жакетку. Подошла к дяде Пете и сказала твердо:

— Я готова!

Хотел бы я, чтобы из-за меня кто-нибудь когда-нибудь поступил так нелепо и необдуманно...

III

Утром всех четверых виновников ЧП потребовали к ответу, к командиру полка. И тетя Даша было перетрусилась. Не за себя — за дядю Петю.

— Глупости! — успокоил ее дядя Петя, до блеска надраивая свои щегольские хромовые сапоги. — Ну, что он мне может сделать? Что? На передовую пошлет? Я и так оттуда не вылезая. — И он прибавил, любуясь делом рук своих: — Это он на вас, на девчат, посмотреть хочет.

Добираться до командира полка пешком по грязище дядя Петя счел ниже своего лейтенантского достоинства. И потому он заставил тетю Дашу переодеться в добытую где-то солдатскую форму. Без погон, правда. И без звездочки на пилотке.

Подсаживая неумеху в седло, дядя Петя спросил вдруг тревожно, задержав свою руку на ее колене:

— Ты не передумала? Смотри!

— Нет! — отрезала тетя Даша и с видом бывалого конника скомандовала лошади: — Но-о!

— Что-о ты! — шепотом возмущился дядя Петя. — Тут тебе не какая деревня. Тут конница. Никаких «но!» Повод, шенкель и шпоры — всего и делов.

Командир полка принял провинившихся сурово. С ходу пошел в атаку:

— Разгласили военную тайну!

— Разгласили! — ничуть не раскаиваясь в содеянном, согласился дядя Петя.

— Твоя работа? — Командир полка постарался сделать гневное лицо, обращаясь к своему лучшему разведчику.

— Моя! — Разведчик потупил глаза.

Наверно, командиру полка проще и легче было наказывать нестроевого, ветеринарного врача, моего будущего папу.

— Точно ли? — усомнился он.

— Точно, что там! — Дядя Петя дернул плечом и протянул предусмотрительно отобранный у тети Даши треугольник. — Вот, пожалуйста. Вещественное доказательство. Со штемпелями. Вот здесь. — И он указал, где именно в письме разгласилась военная тайна.

— Ну что с тобой делать, Ковалев, а? — вздохнул командир полка, возвращая вещественное доказательство.

— Что хотите! — вздохнул и дядя Петя и поглядел на командира полка светло и невинно.

Командир был выбит из седла этим взглядом.

— Ладно, — подумав, сказал он. — Потом разберемся с мерой взыскания. Но чтоб сегодня к вечеру... — Теперь он впервые взглянул на маму и тетю Дашу. — Чтоб сегодня в вечеру... А, черт с вами, так

и так за вас ответ держать в дивизии! Чтоб завтра утром девчат и духу тут не было.

— Никак нет! — Дядя Петя передвинул пилотку со лба на затылок и вступил в пререкания с командиром. — Моя жена останется. Насовсем.

— Же-ена? — удивился, прищурился командир. — Это которая же твоя... жена? — полюбопытствовал он и, не дожидаясь ответа, глянул на тетю Дашу. — Эта, что ли?

Тетя Даша, как и подобает человеку, одетому в солдатскую форму, сделала безукоризненно четкий шаг вперед. И тут командир, словно впервые увидев на ней форму, спросил с деланным изумлением:

— Уже успел? Обмундировал?

— Так точно! — Дядя Петя не стал возражать против очевидности. — А что тянуть? Малость великовато, конечно. Ничего, подгоним со временем.

Говорил, а сам любовно-критически оглядывал тетю Дашу, как бы приглашая командира полюбоваться тоже.

— Сегодня же... Завтра утром отправишь! — Командир припечатал свои слова ладонью по столу.

— Никак нет! — дядя Петя заматал головой. — Останется. Мировую разведчицу из нее сделаю.

— Не пойдет! — Командир тоже заматал головой. — Отправишь! Нечего тут разводить семейственность!

— Сами сколько раз говорили: «Эх, девчонку бы хоть одну в разведку! Побоевей бы девчонку раздобыть!» Чем вам не боевая? А верхом как ездит! Залюбуетесь. Не хуже меня, честное слово!

Похоже, последний довод показался командиру убедительным. Он задумался.

— Правда? — спросил он потом тетю Дашу. — Ездишь?

— Правда! — и глазом не моргнув, соврала она.

— Как еще т а м, — командир ткнул пальцем в потолок, — т а м как еще посмотрят.

— Так и посмотрят! — Вот уж это не смутило дядю Петю. — Как доложите, так и посмотрят. Учить же не кто-нибудь — я буду.

Не только в полку — в дивизии слыл дядя Петя лучшим разведчиком. Потому и вольничал с командиром полка. Потому и настоял на своем.

IV

— А дальше... Дальше воевали вместе. — Тетя Даша вертела в пальцах пустую рюмку. — И не было рядовому Ковалевой никакой поблажки от лейтенанта Ковалева.

Этими словами она как бы подвела невидимую черту под своими воспоминаниями. И вдруг стала обычной, пожилой, седеющей тетей Дашей.

— Ну мама! — попросил Петя. Он родился на пятнадцать минут раньше Кольки и потому всегда и во всем считался старшим. — Еще что-нибудь, мама. Ну хотя бы вот это: как папа зажимал Рыжику ноздри, чтоб он не заржал. А ты...

Я позавидовал Петке с Колькой: они знали даже кличку дяди-Петиноного боевого коня.

— А я тряслась от страха перед своей первой разведкой, — иронически закончила тетя Даша. — И он шепотом страшно выругал меня. Все это вы слышали сто раз. Не стоит. Давай-ка, Коля, выпьем за его светлую память. — И она взялась за бутылку.

Папа ни слова не проронил, пока тетя рассказывала. Сидел и слушал. И только по временам взглядывал на тетку долго, испытующе. Я подумал: он хотел на что-то решиться и колебался.



Теперь он решился. Глянул все же на маму вопросительно, и она кивнула.

— Погоди, Даша, — сказал папа и взял у нее бутылку. — Раз такой разговор зашел... Ребята взрослые теперь... Я храню для них одну... — он запнулся, искал нужное слово, не нашел и произнес обычное: — одну вещь...

И тетя Даша что-то поняла. Выпрямилась. Опять стала очень молодой. Мне показалось: губы у нее дрогнули, и она прикусила зубами нижнюю.

Папа мимоходом пожал ее руку, лежащую на краю стола, и вышел в спальню.

Мы сидели молча, не глядя друг на друга. Мама осторожно, чтоб не звякнули спицы, опустила вязанье на колени.

Папа скоро вернулся. В руках у него был большой черный конверт из-под фотобумаги 24 × 30.

Папа молча протянул конверт тете Даше. Она не спеша, словно бы совсем и не волнуясь, раскрыла блеснувшую фотографию. И долго, не мигая, глядела на самый ее центр. И, пока она глядела, никто из нас не смел шевельнуться.

Тетя Даша наконец отвела взгляд от фотографии, наверно, это далось ей с трудом. Глянула по очереди на Петьку, на Кольку, на меня. Кивнула: идите сюда. И мы, трое, встали за ее спиной.

Четверо военных несли носилки. На носилках, откинувшись, спокойно и свободно лежал дядя Петя. Я сразу узнал его. Хотя нос, так зазорно задранный на старой нашей фотографии, теперь чуточку заострился, стал прямее, тоньше. Тоньше стали и резкие, грубоватые черты лица.

Может быть, потому, что глаза теперь были закрыты, не было всегдашнего ощущения, что дядя Петя чего-то требует, требует. Теперь он ничего не требовал. Просто спал-отдыхал после тяжелых трудов. Ветер немножко разворошил волосы, Светлые,

легкие, сухие, они упали на лоб. Мне все чудилось: сейчас он поднимет руку, откинет их назад.

Но рука, только одна, спокойно лежала на груди. Поверх нее, поверх орденов-медалей цвела пышная ветка белой сирени.

Как и тетя Даша недавно, мы долго смотрели на центр фотографии, на дядю Петю. Он был такой молодой, оказывается. Совсем молодой. И как странно, что я всегда называю его дядей Петей...

Потом я заметил, что левую ручку носилок держит папа. Тоже совсем молодой, худенький и долговязый. Я такой же. За это близнецы прозвали меня макаронинной. А сзади, за носилками, вплотную к носилкам, шла тетя Даша. Молоденькая, совсем девочка — тетя Даша. В гимнастерке, плотно схваченной широким ремнем по узкой талии. На покоробленном погоне — сержантские лычки. В кавалерийских бриджах. В пыльных сапогах.

Она неотрывно смотрела в лицо дяде Пете. Но глаза ее были совсем сухи. Прямые, коротко обретенные волосы темным языком наползали на щеку. И лишь по этому языку можно было догадаться, что голова ее склонена.

Два автомата висели у тети Даши на груди. И без слов было ясно, чей второй. И еще потрепанная полевая сумка на длинном ремешке билась о ее бедро. И тоже сразу ясно было, чья это сумка.

Тетя Даша вела в поводу коня. Темно-серого. В яблоках. И конь, вытянув шею, опустив голову, все пытался губами достать носки дяди-Петиних сапог. И тоже ясно было, чей это конь.

Уже потом я разглядел на снимке неясные, нерезкие силуэты людей — жителей маленького чехословацкого городка, в бою за освобождение которого, неделю не дожив до Победы, погиб дядя Петя.

И еще я разглядел цветы. В руках у стоявших на тротуарах. Под ногами у тех, кто нес носилки. Под ногами у тети Даши, у серого, в яблоках коня.

Тетя Даша, не отрываясь от снимка, не то чтобы всхлипнула, не то чтобы вздохнула. Скорей это был подавленный стон. И тотчас Петька положил ей руку на плечо. На другое плечо легла Колькина. Они всегда действовали синхронно.

И я вдруг понял, почему тетя Даша прозвала близнецов своим «боевым охранением».

— Хватит, — мягко сказал папа и осторожно вынул фотографию из рук тети Даши. — Вот теперь выпьем за его светлую память...

В

А дальше все пошло обычным в таких случаях порядком.

— Ну, как живете-то? — спросила тетя Даша обыденно и скучно.

— Да что ж, — так же обыденно и скучно ответила мама. — Живем помаленьку. Коля мотается страшно. Каждый день до совхоза да обратно — три часа. В лучшем случае. Предлагали квартиру там, на месте. С удобствами. Отказались. Ему, — кивнула на меня, — учиться надо.

— Там школы нет, что ли? — угрюмо спросила тетя Даша.

— Есть. Но ведь не то что столичная. А в город ему ездить... — Мама махнула рукой.

— Значит, Коля в свои без малого полста может ездить, а он не может? Как хоть учиться-то?

Вот уж об этом ни маме, ни мне — тем более! — говорить не хотелось. Надоели мне эти разговоры до смерти. Но разве от тетки отвяжешься?

— Неважно учиться, — тоже мучаясь этим разговором, сказал папа. — На работу все рвется...

— Ну и шел бы на доброе здоровье, раз учиться нет охоты! Не-ет, я своих еще где-то в пятом классе предупредила: единая двойка в четверти — и протую работать. Иначе как же?

Близнецы помалкивали, посматривали на меня с нескрываемым презрением. Они, в общем-то, порядочные лодыри. Но они хитрые. Действительно, до двоек в четверти дело не доводило.

Наверно, папе было неловко от этого разговора. Он задал встречный долгожданный вопрос:

— А ты-то как, Даша?

— Да тоже помаленьку. Нынче вот решили съездить в Чехословакию, на могилу. Давно пора. Да все деньги, деньги... А нынче твердо договорились: едем. Ребята зимой, весной по вечерам ходили в порт. Грузчиками. Я полторы ставки взяла. Вытянули. Вот едем.

Тетка с близнецами не раз ездила по туристским путевкам. И всегда брала меня с собой. А теперь — в Чехословакию — и промолчала.

— Тетка, — попрекнул я ее, — это нечестно!

— Честно! — огрызнулась она. — Ты что, грузчиком бы пошел? Черта с два! Ты бы из батьки всю душу вымотал.

— Вымотал, вымотал! — не стерпел, огрызнулся и я. — Вымотаешь из него! Сам-то каждый год, небось, в санаторий ездит!

При этих моих словах тетка вскопчила. Хватила кулаком по столу — подпрыгнули, зазвенели рюмки.

— Подонок! — глядя на меня яростными, очень синими глазами, негромко сказала тетка. — Щенок!

Она подошла к папе, рывком задрала у него на спине пижаму. Приказала мне:

— Иди сюда!

— Даша, брось! Дашка же! — Папа крутился, пытался вырвать у нее пижаму.

— Молчи! — Тетка подтолкнула папу в спину. — Молчи уж! А ты — кому сказано? — иди! — И снова такой взгляд: не хочешь, а пойдешь. — Видишь?

Всеми пятью пальцами, как-то очень бережно, тетка коснулась огромного, уродливого рубца на папиной спине, под лопаткой.

— Видишь? — еще раз спросила тетка.

— Ну, вижу.

— Ты знаешь, что это такое?

— Ну, знаю. Ранение.

— А это? — Она безошибочно нашла маленькую ямку, пониже первой. — Это что?

— Тоже! — буркнул я, сердясь на этот бессмысленный допрос.

— То-оже! — передразнила тетка. — Смерть при- таилась, вот что это такое! Отсюда, — она снова коснулась верхнего, под самой лопаткой рубца, — отсюда я ногтями, чуть не зубами рвала осколок — неглубоко сидел. А он крыл меня матом: быстрее, быстрее! Осколок мешал ему стрелять. Такой бой шел — каждый автомат на счету. Вырвала все же. Тот, второй, позже. На полгода позже, а, Коля? Тот возле сердца у него. Ждет своего часа.

Тетка бережно, как больному, опустила папе пижаму.

— А ты: «Каждый год в санаторий ездит...»

Она села, зажала лицо в ладонях. Посидела, покачалась. И, не отрывая ладоней от лица, вдруг прочла горько:

Мы не от старости умрем —
От старых ран умрем...

Откуда мне было знать про тот осколок? Маленькая такая, незаметная даже ямка... Про большой ру-

бец я как-то, в детстве еще, спросил у папы. Он лаконично ответил:

— Ранение.

Я спросил:

— Больно было?

Он ответил:

— Не очень.

И все. Откуда мне было знать про тот осколок?

VI

Я долго не мог уснуть. И все мерещился мне тот осколок. Тетка потом рассматривала последний рентгеновский снимок папиного сердца. И показала снимок мне — я попросил ее показать. Кончиком мизинца тетка тронула что-то черное, маленькое, угловатое и сказала:

— Он.

Он был совсем рядом с сердцем. Тетка смотрела на него сосредоточенно, не мигая, как смотрела в центр фотографии. Мама с тревогой следила за теткой. Одно, что мама безоговорочно признавала теткин плюс, — ее хирургический опыт. Но на тети-Дашином лице не было написано ничего. Просто серьезное лицо. Лицо врача, разглядывающего рентгеновский снимок.

Без единого слова она отдала снимок папе. Зачем им слова? Они и без слов понимали друг друга. Пусть «конский», но папа тоже доктор.

И вот я лежал в постели, а осколок все стоял у меня перед глазами. Маленький, черный, угловатый. «Притаившаяся смерть» — тетка никогда не бросалась такими словами.

Мне виделось, как по утрам, в часы «пик», папу жмут и давят в метро. И осколок начинает давить, жать на ту узенькую перемычку, что отделяет его от сердца. А ведь папа мог бы не ездить. Выходить утром из дома и прямо идти на свои фермы. Но он ездит. Каждый день. Его жмут и давят...

...Тетка сказала: «Я ногтями, чуть не зубами осколок рвала. А он крыл меня матом: быстрее, быстрее! Осколок мешал ему стрелять. Такой бой шел — каждый автомат на счету».

Вот тебе и «конский» доктор!

...Ночь. Московская ночь без темноты. Мне никогда не мешал свет от фонарей, пробивающийся сквозь шторы. Теперь мешал.

Наверно, он мешал и маме с папой. Они ворочались. И вдруг мама шепотом сказала:

— Вот бешеная. Приедет, намутит и уедет. Ей хоть бы что. Своих-то учит — шутка ли, на третий курс перешли. А нашему... «И шел бы на доброе здоровье!» — очень сердито передразнила она тетку. — Вот и сорвется после таких-то слов. Теперь у него лишний козырь: тетка поддержала. Вот уж действительно бешеная!

Папа ничего не ответил. Только кашлянул. И кашель, конечно, надавил на осколок. И мне стало страшно.

Тетка в столовой заворочалась на раскладушке. Тоже кашлянула. И сказала громко, не боясь никого разбудить:

— Коля, может, удалить, а? При теперешнем уровне хирургии не скажу, что пустяк, но уже можно. Без особого риска. Может, удалить? Ну его к черту, а, Коля?..

г. Рига.

● Юрий Левитан

Говорит Москва...



У меня плохая память. События десятилетий сплелись в единый клубок, и разделить нити отдельных эпизодов чаще всего я не в силах: путаю имена, даты. К горькому моему сожалению, я не вел никаких записей — и это тем более жаль, что порой я был свидетелем событий, которые без преувеличения могут быть названы историческими.

Итак, никаких надежд написать когда-нибудь мемуары у меня нет. И я уже смирился с этой мыслью. Но вот однажды, много лет спустя после войны, я выступал в Ленинграде. Как-то само собой случилось, что я прочел публике давнюю сводку Совинформбюро о прорыве блокады Ленинграда. Я воспроизвел не только текст, но все нюансы той интонации, с которой читал эту же сводку в сорок третьем году. И увидел, что многие в зале плакали, а у меня самого вдруг пошли по телу мурашки. Мы все будто окунулись в атмосферу тех тяжелых лет, как если бы вернулся давно минувший день... Тогда я понял, что если мне не дана память на имена и события, то я обладаю профессиональной памятью на все, что связано со спецификой моей работы радиодиктора. Подобно актеру (а я, кстати, учился в театральном училище), я могу восстановить текст, воспроизвести интонацию, передать настроение, которое было когда-то.

Я стал этим пользоваться — очень нечасто, очень осторожно. И вот по мере того, как на каких-нибудь встречах или концертах, где собирались и ветераны фронта, и молодежь, я читал по памяти сводки Советского Информбюро и, как мне кажется, создавал у слушателей то настроение, которое когда-то с чуткостью барометра отражало состояние дел на фронтах войны, все больше и больше различных подробностей всплывало в моей памяти. Оказалось, что дело обстоит не так уж бедственно, что я помню значительно больше, чем предполагал. Очевидно, есть события такой силы и значения, что их не могут вытравить годы из самой слабой памяти.

...Война началась для меня со звонка из радиокomiteта: «Срочно бегите на работу! Немедленно!» Голос тревожный. Но спрашивать, что случилось, по телефону не полагается. Одеваюсь. Бегу.

Радиокomiteт. Семь утра. Тихий женский плач, су-

ровые взгляды. Наперебой звонят корреспонденты из разных городов:

— Киев бомбят!..

— Над Минском вражеские самолеты...

— Горит Каунас... Что говорить населению? Почему нет никакого сообщения по радио?

Позвонили из Кремля: «Готовьтесь, в двенадцать часов правительственное сообщение».

Девять раз за день — с интервалами в час — я читал это небольшое трагическое сообщение, начинавшееся словами: «Граждане и гражданки Советского Союза!.. Сегодня в четыре часа утра... без объявления войны германские войска напали на нашу страну...»

Я помню мажорный и гордый тон в эфире времен первых пятилеток: «Пущен Днепротэс!», «Введена в строй первая домна Магнитки!», «Всем, всем, всем! Беспрецедентный перелет Чкалова через Северный полюс!».

22 июня голос Московского радио зазвучал сурово, сдержанно, мужественно. В нем было и горе, и вера, и надежда. В те дни мы все почувствовали такую ответственность на своих плечах, о которой прежде и не подозревали. Судите сами...

В июле немецкая авиация начала налеты на Москву. Мы работали тогда в здании Центрального телеграфа. Читаешь сводку — и вот даже сквозь изоляцию студии слышишь пронзительный вой сирены: воздушная тревога! Отдаленный гул, подрагивание стен — и в этой обстановке нужно полностью сохранить спокойствие и сосредоточенность. Передачи не прекращались.

Во время очередного налета бомба угодила во двор радиокomiteта, — правда, не разорвалась. Здание задрожало, посыпались стекла, свет погас. У нас были включены приемники, и мы услышали, как берлинские дикторы на фоне маршей истерически выкрикивали последнее известие: московский радиокomiteт разрушен!

Он действительно смолк. На десять — пятнадцать минут. А потом при свете нескольких лампочек от

На снимке вверху — Юрий Левитан. (Июль 1941 года).

аккумуляторных батарей мы продолжали передачи, вода лучом по строчкам текста.

А сводки были одна другой тревожнее и малоутешительнее. В Москве уже был слышен отдаленный гул орудий. Берлинское радио передавало слова Гитлера о том, что «германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что можно уже рассмотреть внутреннюю часть Москвы в бинокль».

Все население — старики, дети, домохозяйки — вышло на сооружение оборонительных рубежей. Мосты были покрыты надолбами. Витрины магазинов обложены мешками с песком. В небе висели заградительные аэрозольные туманы. Движение после 24 часов было разрешено только по специальным пропускам. Улицы погружены в темноту, окна завешены. Курить на улице было запрещено.

Вещание было у нас до часу ночи и с шести утра. Но и в этот перерыв мы вели специальные передачи на Восток, учитывая разницу во времени.

Когда я шел в радиокомитет или возвращался к себе в гостиницу «Москва», где тогда жил, то нередко замечал две-три тени, незаметно сопровождавшие меня на улице. Оказывается, меня охраняли.

Мои друзья из редакции журнала «Юность», по просьбе которых я и пишу эти строки, спрашивали меня: было ли мне в те годы известно, что гитлеровцы назначили за мою голову денежную награду? Ну, что мне ответить? Да, военные товарищи, приезжавшие с фронта в Москву, показывали мне и такого рода листовки. В одной из них, в частности, было обещано двести тысяч марок тому, кто доставит меня живым в Берлин. Дело тут заключается не в том, что как раз моя голова расценивалась высоко. Насколько я в курсе событий, кто-то в геббельсовском министерстве пропаганды хотел, чтобы именно диктор Московского радио оповестил из Берлина весь мир о падении Москвы и капитуляции России, которую гитлеровцы ожидали со дня на день. Иезуитская затейка!

Время действительно было крайне тяжелым. Изю дня в день нам приходилось читать в эфир все более неутешительные сводки.

Вот одна из них: «В течение ночи с 14 на 15 октября положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону».

Невыносимо больно было читать в эти дни сводки. Одно из сообщений гласило: «Объявить Москву на осадном положении». С трудом собираю силы. Включаю микрофон — и боюсь начать...

Не дай бог, чтобы дрогнул голос. Не дай бог, чтобы в нем прозвучала паника, растерянность, смятение. Ведь это будет замечено всеми и вызовет аналогичную реакцию, ибо голос Москвы был как голос сердца... И, что бы мы там ни испытывали, как бы ни страдали и ни терялись, голос Московского радио должен быть независимым от этих эмоций. Он должен был оставаться суровым и мужественным, всеелящим, нет, не просто надежду, а уверенность в победе. Он должен придавать силы, а не убавлять их. Он должен был заставить забыть даже об усталости, о ранах, о боли. Наконец, он должен был все-

лять ненависть, священную ненависть к врагу и жажду борьбы до последней капли крови.

Вот в чем была великая сложность дикторской работы, почти неведомая нам дотоле: Как мы с нею справлялись?

Превосходство врага в танках и авиации было явным. Скажем, на Волоколамском шоссе уничтожили семь танков противника, но ведь там их было сотни! И если в небе было сбито девять немецких самолетов, то ведь это из тысяч! Но важно было тоном, тембром, модуляцией всячески подчеркнуть, как мужественно борются наши бойцы за каждую пядь земли, — и это мужество должно быть заразительным. Поэтому цифры читались с такой гордостью, с таким подъемом, как если бы были сожжены не семь, а семьдесят танков и сбиты не девять, а девяносто самолетов. Мы знали, что, уходя по горьким дорогам отступления, наши воины сражались до последнего патрона, и их беспредельное мужество диктовало нам твердую уверенность в победе, которая звучала в тоне наших передач.

И вот пришел памятный декабрьский день. Это было четверть века назад, но если бы минуло в три раза больше времени, мы, радиодикторы тех лет, помнили бы его так же, как сегодня. Ибо это был день первой большой победы в цепи тяжких поражений. В тот день Московское радио передало историческое сообщение о том, что «войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок...».

О, я очень бы хотел сейчас услышать, каким голосом читалось тогда это сообщение в эфир. Но записей на пленку в те годы не делали. Читали прямо с листа бумаги, нередко испещренной десятками пометок и вписок. А ошибаться — как саперу — было нельзя...

Несколькими днями позже Московское радио уже сообщало, что освобождено более четырехсот населенных пунктов, что контрнаступление растет. Мы, дикторы, стали получать письма с фронта. Все больше и больше. Солдаты писали: «Идем вперед. Берегите голос. Работы вам прибавится».

И действительно, работы прибавилось. Каждый день с нетерпением — скорей, скорей — в студию. Придвигаешь микрофон. Залпом — стакан воды. Расстегиваешь ворот рубашки: «В последний час... Взят Можайск... Еще удар... Фронтальная атака... прорвана оборона»...

Незабываемые сообщения, изумительные слова. Читали сводки по шесть, по восемь раз в день. Но если бы и по пятнадцать — разве устанешь? Как пробежишь глазами строки, так пропадает всякий намек на усталость.

Конечно, еще предстояла долгая дорога до того дня, когда над рейхстагом вознеслось знамя нашей победы. Еще впереди были многие горести, утраты, смерти. Но стало ясно главное: гитлеровскую армию можно бить, легенда о ее непобедимости скончалась... Об этом ежедневно говорили сводки с фронта.

Радиокомитет работал круглосуточно. Репродукторы в домах и на улицах не выключались ни днем, ни ночью. Без радио в то время жить было нельзя. Без радио и без слов: «Говорят Москва... Наступление наших войск продолжается»...

К
НА-
ШЕЙ
ВКЛА-
ДКЕ

● Те-Лан Виен,
вьетнамский поэт

ВИНТОВКИ И ЛОТОСЫ

Где уж мне, поэту, рассуждать всерьез о живописи. Это все равно, что рыбе держать на морском дне речь о том, как летают птицы. Но я на какое-то мгновение перенесся домой, во Вьетнам, увидел воочию пейзажи Вьетнама, его людей и дома, его лотосы и винтовки... И этот мой «перелет» осуществился благодаря силе и мастерству художника! Поэтому я все же возьму на себя смелость написать несколько слов о живописи...

Здесь, в Москве, я смотрел работы художников Самсонова и Переяславца и снова видел фронтовые дороги и обломки американских самолетов; я видел своих соотечественников, сажающих рис и сражающихся с врагом. И сердце мое взволнованно забилось. Художник сумел передать спокойствие и силу страны и народа; спокойствие и уверенность, внушающие любовь и уважение друзьям и заставляющие трепетать врагов. Это подлинные черты Вьетнама.

Спокойствием этим дышат строгие контуры гор и задумчивые воды у пагоды Тхэй. Кажется, будто все здесь сковано дремой. Но нет! Вот из воды возносятся четко звучащие линии стен и ритмично изогнутые ярусы крыши, взметающейся к небу. Изогнутые линии эти напоминают дуги бамбуковых коромысел на плечах крестьян или развевающиеся полы разноцветных платьев девушек, подобные лепесткам цветов, летящих по ветру; они похожи на пластично движущиеся руки танцовщиц или актеров народной оперы «тео». Эти мягкие, динамичные линии символичны для всей четырехтысячелетней истории моего народа...

Спокойствием этим проникнуты и самые драматичные эпизоды. Художник, несомненно, видел длинные вереницы грузовых автомашин, идущих к местам боев. Мы, вьетнамцы, стоим сейчас «на двух ногах»: одна из них — простые, несложные приспособления и средства, другая — современные механизмы и аппараты. Но для своей работы автор выбрал извечный сюжет — повозки, запряженные буйволами. Художник отнюдь не смеется над этим средневековым видом транспорта. Мы видим буйволов за совершенно неожиданным делом. Они выволакивают из грязи обломки современного американского самолета, ставшего посмешищем для ребятишек. Кажется, будто это сама «честь и слава» президента Джонсона тащится за буйволовым хвостом.

Уверенностью проникнута и линогравюра «До свидания, друг!». Сейчас во Вьетнаме, пожалуй, не сыщешь места, где не происходили бы подобные сцены прощания. Художник мог написать эту сцену и по-



М. САМСОНОВ,

Колыбельная.

другому. Он мог изобразить юношу и девушку в слезах накануне разлуки или с улыбкой распеваящих веселые песни. Но это не соответствовало бы жизненной правде Вьетнама. На линогравюре художника Самсонова сцена расставания проникнута искренним, но сдержанным чувством, с ним гармонирует темный фон ночного неба, на котором слабо мерцают звезды. Солдат, уходящий на фронт, и девушка охвачены твердой верой в будущее, гордостью. В них чувствуется огромная сила. Винтовка как будто сливается с телом солдата и точной нотой звучит в аккорде переживаний двух любящих молодых людей. Но художник изобразил здесь не только прощающихся юношу и девушку, ему удалось воплотить в их образах все величие народной судьбы. Мы ощущаем мужество и духовную красоту миллионов молодых людей, поднявшихся на защиту своего отечества, и веру в их грядущую победу...

Я благодарен художнику, точно уловившему черты сегодняшней народной жизни. На его картинах — винтовка за плечами солдата, уходящего в бой, и за спиной крестьянина, сажающего рис: винтовка стала сейчас неслучайной деталью вьетнамского быта эпохи патристической войны. Но у нашей жизни, где мир соседствует с войной, есть и иные живописные приметы: это лотосы, которыми любят любоваться девушки...

Просматривая работы Самсонова, я не только увидел свою родную страну. Меня взволновало соприкосновение с трепетным сердцем художника. Мне казалось, будто я вместе с Самсоновым снова прошел по военным дорогам Вьетнама, мимо деревень и зенитных батарей, под разрывами бомб и снарядов. И я до конца понял чистоту духовных стремлений художника, его твердость и оптимизм, его любовь к моему Вьетнаму.

Да и что здесь удивляться! Ведь это художник большой души, гражданин Советской страны, страны Октябрьской революции и великого Ленина.

● Павел Антокольский

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

(К семидесятилетию
со дня рождения)

В течение двух послевоенных десятилетий мы как-то слишком привыкли к мысли, что Николай Семенович Тихонов — в основном деятель общественный, человек государственный, что у него уйма важных обязанностей и неотложных дел, отвлекающих писателя от рабочего стола, поэта — от музыки. Да и не только привыкли к этой мысли, но и примирились с нею. Еще бы нет! Ведь к своему служению Тихонов относится с таким неистовым рвением, с такой высокой самоотдачей! Председатель Советского комитета защиты мира, депутат Верховного Совета СССР нескольких созывов подряд, председатель Комитета по Ленинским премиям — здесь и не все перечислено, но каждая из этих обязанностей требует вседневного внимания, напряженного труда.

Тем более в день семидесятилетия этого замечательного современника настоятельно необходимо восстановить, утвердить, подтвердить цельность и значимость его книг, его творческого пути. Заново увидеть в Тихонове признанного лидера нашего поколения двадцатых годов — одного из сильнейших и самых своеобразных зачинателей советской поэзии. Не только потому необходимо это сделать, что Тихонов полностью заслужил такое признание; ведь и мы, его давнишние друзья, сверстники, однокашники, единомышленники, чрезвычайно нуждаемся в том, чтобы наше отношение к Тихонову-поэту поняла и разделила с нами нынешняя молодежь.

Выполняя такую задачу, я начну с конца. На моем столе лежит одна из последних книг Тихонова, может быть, одна из лучших его книг, во всяком случае, важнейшая для оценки современного значения этого писателя. Это книга мемуарная. Она вышла всего два года тому назад. Автор назвал ее «Двойная радуга». Просто непостижимо, как могло случиться, что «Двойная радуга» была так мало замечена в свое время, так скудно оценена. А между тем среди остальной мемуарной литературы, среди множества переоценок и пересмотров недавнего прошлого, «Двойная радуга» выделяется и яркой живописью портретных характеристик, и обилием действующих в ней лиц, и, наконец, высоким лиризмом, которого нет и в помине во многих

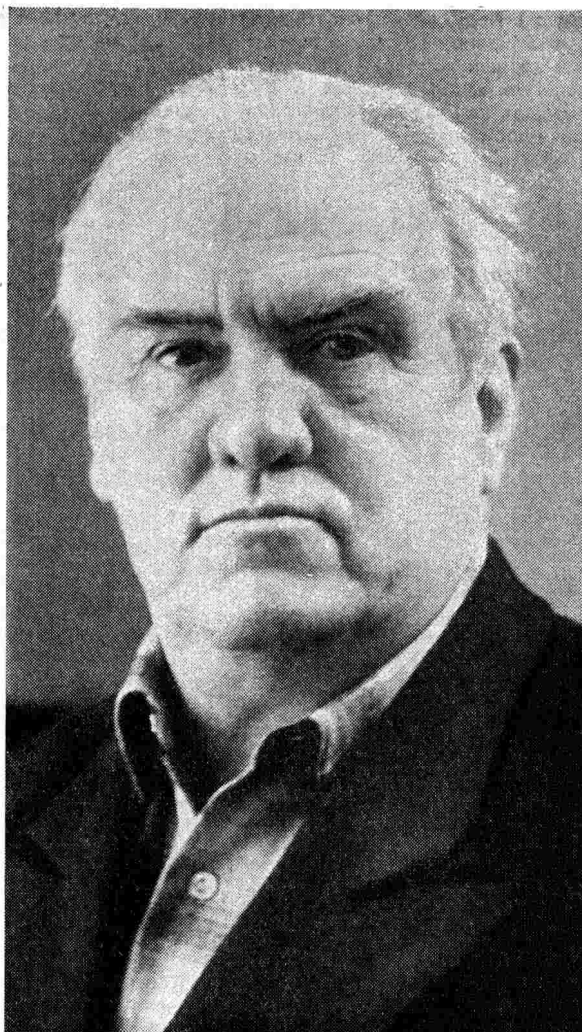


Фото Ал. Лесса.

других мемуарных книг. Своеобразие «Двойной радуги» и в том, что автор очень мало, почти ничего не рассказывает о себе, но зато с полнейшим бескорыстием предается воспоминаниям о других людях, с которыми его столкнула жизнь за несколько десятилетий, в годы мира и в годы войны. Отражение нашей истории в этой книге оказалось двойным: в книге оживает день и час давнишнего события — и рядом с ним присутствует наше историческое сегодня. Вот почему, кажется мне, книга названа «Двойной радугой». Может быть, у Тихонова найдется и другое толкование. Одно из них образно очерчено в четверостишии эпитафеа:

Она стояла в двух шагах.
Та радуга двойная.
Как мост на сказочных быках,
Друзей соединяя.

О ком же, о каких друзьях вспоминает Тихонов? Прежде всего о навсегда ушедших «собратьях по перу», о деятелях собственного поколения, которые прошли рядом с автором от двадцатых годов до сороковых и части пятидесятых. Это Луговской, Фадеев, Вишневский, Павленко, Саянов. К ним же, к

тому же ряду, примыкают Самед Вургун, Гамзат Цадаса, Эфенди Капиев и древний, как время, почти легендарный Сулейман Стальский. Рядом с ними несчастливцев, трагически и безвременно ушедший из жизни, жертва незаконных репрессий ленинградский поэт Вольф Эрлих. Столь же важное место занимают в книге писатели, которые значительно моложе, чем Тихонов, его ученики и последователи, сами вовлекшие автора в мир своего труда и своей одаренности: осетинская писательница-романистка Езетхан Уруймагова, поэт-моряк Алексей Лебедев, гвардейский поэт-красавец Георгий Суворов... Еще одна возникает фигура, сначала кажущаяся почти фантастической, но с такой полнотой любви обрисованная Тихоновым, что мы не только убеждаемся в достоверности ее существования, но вместе с автором скорбим о судьбе впервые узванного человека. Это случайный и недолгий сподвижник ленинградских имажинистов, моряк с «Авроры» Владимир Ричиотти. По свидетельству Тихонова, это был писатель редчайшей одаренности и чрезвычайно больших, увы, несбывшихся возможностей... Вот как описывает через много лет Тихонов свое впечатление от рукописи Ричиотти: «...В ткань повествования были вплетены страны и города, берега, моря, корабли, люди — от самых простых, нищих безработных до самых властных, сильных хозяев жизни, до коронованных особ, развязывавших судьбы государств. Я вчитывался с каждым днем все больше и больше. Я начал, как автор, бредить картинками этого романа...» Новелла о Ричиотти — одна из самых лучших, самых взволнованных в замечательной книге. Какой-то неуловимый признак сходства или родства соединяет автора с его героем — таким же образом, к примеру сказать, как Сервантеса и Дон Кихота. Думаю, что все дело в живо показанном климате далекой эпохи. Мы воспринимаем этот климат сегодня только исторически. Но Николай Тихонов недаром поэт! Он оживляет прошлое особым, ему свойственным путем, окружает прошлое дымкой сказочности. Тому же способствуют в этой книге пейзажи Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья. Тому же служит великое множество теснящихся на этих страницах ненадолго встреченных людей — горцев, рабочих, ученых — геологов и этнографов, монахов и пастухов. Все они не только навсегда вошли в грандиозную память автора, но отчетливо врезаются в сознание читателя. Право, трудно сказать, кому здесь отдать предпочтение: знаменитым или безымянным, старым или молодым, поэтам или чабанам, — так непосредственно и живо схвачены эти фигуры движущимся зеркалом книги, так сохранен в ней ритм давно улетевшего времени.

«Двойная радуга» настроила мой отклик на свою короткую волну. Недаром я с нее начал свой рассказ! Как известно, короткие волны в радиовещании предназначены на то, чтобы пробивать и легко преодолевать наибольшие из мыслимых планетных расстояний. В поэзии они преодолевают такие же расстояния во времени.

Я вспоминаю Николая Семеновича Тихонова во времена нашей молодости. Это было — шутка ли сказать! — сорок три года назад, в апреле 1923 года, в тогдашнем по-весеннему ветреном, по-революционному просторном Петрограде. Я уже знал Тихонова по «Орде» и «Браге» и в первый раз увидел его самого на берегу Невы, точнее же, на берегу Мойки, в тогдашнем Доме искусств, среди других «серапионов» — Зоценко, Льва Лунца, Каверина, Всеволода Иванова, Слонимского... Двадцатилетний Тихонов хорошо соответствовал своим стихам: «праздничный, веселый, бесноватый, с марсиан-

ской жаждой творить». Эта автохарактеристика не нуждалась ни в какой правке. Она точна портретно. Не знаю, какому из четырех содержащихся в ней прилагательных отдать предпочтение. Скажу прямо, моему тогдашнему восприятию больше всего нравилась его «бесноватость». Да и в дальнейшем он сохранил ее больше, чем «веселость» и «праздничность»!

К прилагательным можно и должно прибавить целую серию эпитетов, уточняющих реальный образ: угловатый, непоседливый, неутомимый, легко взрывающийся и столь же легко воспламеняющийся других, необыкновенно говорливый, отличный рассказчик, могущий провести не одну бессонную ночь в непрерывном общении с множеством впервые увиденных знакомцев, легко сходящийся с людьми и навсегда остающийся другом для тех, кто ему полюбился, предпочитающий пешее хождение любому виду городского транспорта...

Как уже сказано, с первой встречи этот человек точно соответствовал своим стихам, их строю и ритму, их широкому или прерывистому дыханию. Он мог быть и героем Баллады о синем пакете, и Гулливером, и играющим в карты, и тем, кому «пленительные полячки присылали письма», и еще множество персонажей включается в это единство противоположностей. Но прежде всего он был своего рода полпредом нашего поколения двадцатых годов. В разных областях человеческой деятельности, в разных специальностях и профессиях это поколение могло выставить юношу с подобной же жаждой жизни и творческой жадностью: и разведчика-геолога, и летчика-испытателя, и зоркого кинооператора и бродягу-актера, мечтающего о Гамлете или Хлестакове, — следует только вдохнуть в каждого «марсианский» размах мечты о своем деле да еще «бесноватость» в изобретениях.

Великолепно изощренный в тонкостях поэтического мастерства, Тихонов, как никто, умел избежать гипноза своей изощренности, отшвырнуть в захлмленный угол комнаты любые литературные побрякушки — от акмеизма до футуризма — ради полноты и новизны жизненных впечатлений:

Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром по плечам моим.
Узловой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди — простым.

По сути дела, в этом была его поэтическая программа. За его плечами была война. Первая мировая. Первая в жизни поколения. Далеко не последняя. Уже было им сказано:

О смерти думать бесполезно.
Раз смерть стоит над головой.
Я бросил юность в век железный.
В арены бойни мировой.

Под этим гордым и печальным четырехстишием могли подписаться одинаково и Лермонтов, и Багрицкий, и Гудзенко. Пускай сражение у «Речки смерти», при Валерике, было ничтожным по сравнению с апокалиптическими мясорубками на Висле и на Марне, а эти последние тускнеют рядом с одной Сталинградской битвой, — пускай будет так, но поэтов разных времен роднит их жестокое прикосновение к истории, их вхождение в «железный век».

В этой области по-особому ошутим ход нашей трудной, суровой и прекрасной истории, по-особому яствен высок коэффициент жизни, властно вторгающейся в поэзию и делающей поэзию драгоценным достоянием народа. Здесь нет и не может быть традиции, нет любезных критикам тех

или других «измов» — есть одна только преемственность юности, которая открыто смотрит в глаза жизни и смерти.

Сказанным выше обуславливается устойчивое, почти профессиональное внимание Тихонова к военной истории. Он всегда был знатоком военного дела. И, когда не был призван на действительную службу, все равно всегда производил впечатление генштабиста в поэзии.

Впервые в середине тридцатых годов побывав на Западе, в капиталистической Европе, когда в его стихи вторглись страшные в своем судорожном правдоподобию картины европейских столиц, когда поэта окружает черно-золотая ночь в Париже или в Брюсселе, — Тихонов пронзительно ищет следы недавней войны. Он ищет их во Фландрии и под Верденом. Война смотрит на него с любого холма средневропейской равнины. Тихонов всегда помнит о том, на каком страшном перегороженном перемолотых солдатских костей жидется изобилие злаков и плодов этой трудолюбиво возделанной равнины. «Необозримый солдатский пантеон» сопровождает его всюду.

Именно Тихонов, как никто другой из наших современников, ощутил себя в этом путешествии как бы на перепутье между двумя войнами — той, которая кончилась недавно, и той, которая была неизбежна в недалеком будущем.

Стихи, о которых сейчас речь, собраны в одной из лучших поэтических книг Тихонова — «Тень друга». Одно уже это название говорит о высоте авторского замысла, о его лирически личном значении. Тихонов отправляется от известного стихотворения Батюшкова, которое посвящено другому солдату, погибшему в кампании 1813 года на Западе. Батюшков ищет его могилу, его «тень». Такой же знаменательной встречи ждет и Тихонов:

Но в теньях ночи Запада
Тень друга я угадывал.
Быть может, он в Валенсии,
В Париже или в Праге он...
Кузнец ли он, рыбак ли он,
На баррикадах Вены ли
Он — ранен и скрывается,
Ушел в страну чужую...
Он тот, кто сложит песню нам
О беспощадном времени,
Расскажет о Европе
Все,
Чего не расскажу я...

В книге «Тень друга» странствование лирического героя Тихонова далеко не кончилось. По сути, оно только начиналось. Уже недалек был день, когда мы услышали:

Я прошел над Алазанью,
Над причудливой водой,
Над седою, как сказанье,
И, как песня, молодой.

Конечно же, рано поседевшим и все-таки еще молодым был в те времена Тихонов, еще не достигший сорока лет. И все же речь в стихах идет не о нем, имярек, адрес такой-то, — не только о нем. Снова и снова возникает, заявляет о своих требованиях к времени, заявляет о своих неутомимых «поисках героя» (так называя одна из его книг) лирический герой автора. Сейчас мы убедимся в том, что поиски «тени друга» тоже не кончились для него.

В сердце Грузии, в Кахетии, — ночной праздник Алаверды, освещенный чадающими соломенными факелами. Земля гудит от топота пляшущих ног. Человек, пришедший сюда с севера, захвачен буйст-



Н. С. Тихонов в дни войны.

вом первобытного языческого веселья. Среди разгоряченной, обожженной кострами толпы появляется группа слепых музыкантов.

Один бог ведает, каким ветром занесло их на праздник. Поэт заметил на одном из музыкантов, на его полинялом солдатском шлеме, след красноармейской звезды. Это еле заметный знак. Его достаточно, чтобы перед северным гостем на минуту, на полминуты распахнулась и ожила история края, где еще так недавно шла гражданская война, утвердившая в Закавказье Советскую власть:

Словно шел я убедиться,
Что измятый старый шлем
Был воинственной птицей,
Приносившей счастье всем;
Что, храня теперь слепого
В Алазанской стороне,
Он, как дружеское слово,
Сквозь года кивает мне.

Во внезапном наплыве воспоминания раскрывается для поэта горизонт истории. Сноп ночного прожектора нашупал углы скалистого ущелья, выхватил из темноты группу слепцов в лохмотьях, в дыме, в ранах и ссадинах великого десятилетия. Этот прямой луч света не что иное, как чувство истории, сильнейшее у поэта. Оно вело его по западным странам, как мы только что видели. Тень друга действительно могла встретиться Тихонову

и в Париже и в Праге, и вот она «сквозь года» кивнула ему в сердце Грузии.

Мы лишний раз убеждаемся в том, как верен поэт своей теме, как верен его лирический герой своим поискам. Не грех вспомнить, что были у нас и отрицатели и хулители лирического героя, они считали самое существование «лирических героев» фальшивой и вредной выдумкой. Среди этих людей были и такие литераторы, которые сами грешат рифмами, поистине только грешат — поэтами никак не назовешь их — именно потому, что у них не было, нет и никогда не будет лирического героя!

Тихонов — один из самых счастливых людей в нашей поэзии. Это — счастье не в обычном, житейском смысле слова, а в ином, более высоком. В старину таких людей называли «избранниками судьбы». Об этом стоит сказать в день праздника поэта. Вспоминается шиллеровский Поликрат и его перстень, брошенный хозяином в морскую глубину и снова счастливо вернувшийся к нему. Когда в начале двадцатых годов появилась тихоновская поэма о мальчике-индусе Сами, автору никак не могло прийти в голову, что его короткая поэма окажется письмом в засмоленной бутылке, которая переплывет не только Средиземное и Красное моря, не только Индийский океан, но и океан времени и будет выброшена в сороковых годах века где-нибудь у берегов Ганга в те самые дни, когда ее автор окажется первым из советских писателей, побывавших в Индии.

Такого же рода происшествие с поэтической книгой его, посвященной Югославии. Она вышла после Отечественной войны и по известной причине вскоре исчезла из нашего поля зрения на целое десятилетие, чтобы в пятидесятых годах зажечь новой, интенсивной жизнью... Но обо всех книгах Тихонова я не смогу здесь рассказать... О чеканной поэме «Киров с нами»... О книге «Два потока»...

Не будучи пророком или провидцем, не гадая на кофейной гуще, Николай Тихонов, как настоящий поэт, живет в обгон календарной даты, в ином счислении времени, которое по праву называется историческим. Такое счисление единственно соответст-

вует высокой правде нашей культуры, нашему самосознанию.

Вот откуда удачи Тихонова, его стойкость, верность себе, своему призванию. Поистине и Всесоюзный и Всемирный комитеты мира продолжают поэзию этого солдата, пехотинца первой мировой и офицера-пуговца Отечественной. Тихонова всегда можно узнать в любой толпе, в любой «смеси одежд и лиц». Это прекрасное лицо с крупными скулами, с крутым, тяжелым подбородком, с высоким, упрямым лбом и выдвинутыми надбровьями, лицо, обожженное зноем и обветренное выюгами десятилетий, давно уже могло стать достоянием нашего искусства. Если руководствоваться расхожим представлением о красоте, его никак не назовешь красавцем в духе Антонио или Байрона. Но это простое, мужественное лицо в ранних сединах, в резкой выразительности неправильных черт прекрасно и не-правильностью своей.

Чем же мне кончить эту прозу в честь поэта-солдата и поэта-друга? Конца здесь нет и не может быть. Но прозу можно закольцевать, повторив сказанное двадцать лет тому назад и полностью оставшееся в силе.

Седой солдат не хочет спать! Сняв португезию и папиру, три ночи кряду он опять зовет друзей к ночному пиру. Там будет жгучая вода для всех гостей любого ранга. Там будут юные года щедры, как скатерть-самобранка.

Он только потому и сед, что выюги северные седы.

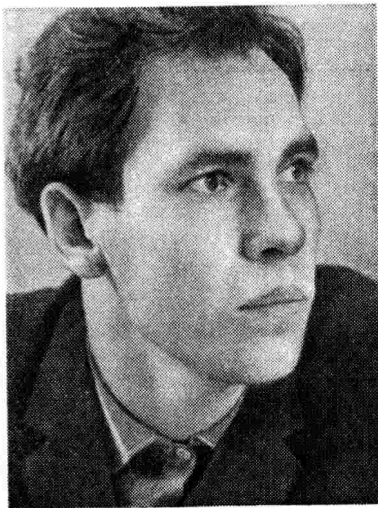
Он табаком набьет кисет, сломает ход любой беседы, в словарь врбаясь сгоряча, сломает ритм, как мальчик голос, — расскажет, как взята Тульча, как Троя девять лет боролась, как Чертов мост, обледенев, плясал псд дудочку метели, как молодец солдатский гнев...

А между тем века летели!

Три ночи кряду колесил он от Мадрида до Кавказа, чтоб у друзей хватило сил войти в страну его рассказа.

Седой солдат, седой поэт, седого Севера товарищ, — он только потому и сед, что убелен золой пожарщи.

— III —



● Валерий
Гейдеко



Заводская проходная

Сегодняшний рабочий (в том числе и рабочий молодой) необычайно многолик. Множество особенностей разделяют, скажем, парнишку, работающего в небольшой обувной мастерской или скобяной артели, от его же сверстника на тракторном заводе-гиганте; а того, в свою очередь, от юноши, приехавшего на стройку в необжитые районы Сибири. Но выберем даже смежный участок работы — так ли одинаковы, сходны на нем люди? Большинство из вас, наверное, наблюдали заводскую или фабричную проходную после конца смены. Широкий, властным потоком идут люди, захлестывая тротуар, и эта слитность движения придает им зримую, символическую общность. Поток нерасчленим на ряды, ряды не дробятся на лица. Но присмотритесь хорошо, и в этом видимом единстве вы различите великое несходство характеров, наклонностей. Разное, естественно, у всех и отношение к труду, и принципы поведения, и уровень самосознания. Можно, наконец, прибавить различие в образовании, духовных запросах, темпераментах и многом другом, чтобы окончательно утвердиться в мысли: «среднего» рабочего попросту нет.

Лучшие произведения, вышедшие в последние годы, если говорить лишь о прозе, отражают это неисчерпаемое многообразие человеческих характеров. Роман Ю. Трифонова «Утоление жажды», повесть Г. Владимова «Большая руда», повесть В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балует!», произведения В. Липатова, В. Семина, П. Халова... Каждый из героев этих книг — личность глубоко своеобразная, судьбы их содержат немалый нравственный заряд. Вот лишь некоторые из возможных размышлений...

«ТЫ НЕ ВТЯГИВАЙСЯ...»

Сюжет предельно традиционен: зеленый юнец приходит на завод, чувствует себя там неловко, совершает нескладные поступки и терзается от мысли, что выглядит среди рабочих явно «чужим». Такие сюжеты нами сто раз читаны-перечитаны. Но рассказ М. Рощина «Мой учитель Гриша Панин» примечателен именно тем, что на материале, освоенном литературой вдоль и поперек, автор находит принципиально новое и, как говорится, конструктивное решение темы. Конфликт «новичок и завод» интересует

М. Рощина как бы постольку-поскольку; все внимание писателя обращено не на главного героя, а на окружающую его среду. И, в частности, на одного из рабочих — Гришу Панина — личность весьма любопытную, соединяющую в себе характерные слабости и достоинства.

Новичок на заводе, бывший десятиклассник (рабочие не замедлили наградить его прозвищем «профессор»), воспринимает новую для него обстановку глазами свежего человека. И если к нравам рабочей среды, к заводской атмосфере он довольно скоро привык и составил обо всем определенное мнение, то Гриша Панин долго оставался для парнишки не разгаданным до конца, не раз заставлял менять о себе мнение.

Встретили парнишку на заводе не слишком приветливо. Подшутить над ним (не очень ловко, а порой и попросту грубовато) охотников было много, но всерьез до «профессора» никому не было дела. Гриша сразу взял его под свою опеку — притом сделал это неназойливо, тактично. Дальше, Гриша любил и умел работать: парнишка с завистью наблюдал, как легко, артистично управлял его учитель станком. И общий язык нашли они просто и скоро: каждый поведал свою биографию, делился впечатлениями повседневной жизни. Словом, товарищеские отношения установились между ними быстро, и если вспомнить еще о стремлении молодости все идеализировать, представлять мир не в действительном, а в желаемом свете, то легко понять, какими восторженными глазами смотрел парнишка на своего учителя.

И вдруг первое разочарование. Гриша, оказывается, вовсе не читал Горького. Объяснение по этому поводу вышло напряженным и для обоих неловким.

— «Челкаша» не читал?

— Это да, это вроде помню.

— А «Дело Артамоновых»?

— Это в кино, кажется, видел.

— А «Двадцать шесть и одна»?

— Ну говорят же тебе!

— Ну как же, Гриша?.. А «Фому Гордеева»?

— Ну вот чудак, ей-богу, говорю тебе.

«Профессор» загорелся срочно восполнить пробел в знаниях Гриши, притащил ему несколько книг, но тот продержал их несколько дней в тумбочке да так и вернул непрочитанными.

Сначала удивлению парнишки («первый раз видел человека, который Горького не читал») не было предела. Но вот прошла еще неделя, вторая, третья, и «профессор» уже свикся с мыслью, что Гриша не только Горького не читал, но вовсе и не знает о многих известных писателях, что в оперном театре он безуспешно будет улавливать, да так и не поймет суть спектакля. Раньше «профессор» считал, что тут недоразумение, казус, который можно немедленно исправить, потом понял: все это полностью вытекает из характера Гриши, из того жизненного уклада, к которому Гриша накрепко привык.

Однажды «профессору» пришлось поехать к своему наставнику домой. Гриша купил поддожины стульев, и парнишка помог перевезти их.

Жил Гриша в пригороде Москвы. Маленький дом недалеко от станции. Терраса, пропахшая яблоками (очевидно, есть небольшой, но «свой» садик). В комнате стол, диван с вышитыми подушками, телевизор. Этажерка с несколькими книгами. Большой сундук, покрытый ковриком. Чисто, тепло. Уютно. И во всем этом мире вещей — какая-то основательность, ощущение надежности жизни. Благополучие.

Эти устойчивые ценности — первостепенные для Гриши. Заготовлены на зиму дрова, дочке куплено теплое пальто, палисадник покрашен — значит все в порядке, жизнь складывается удачно. Огорчения, недовольство связаны тоже с причинами, так сказать, материального свойства. Строители взялись проводить газ, но бросили на полпути, и теперь на улице непролазная грязь. Цех не обеспечили вовремя материалами, как потом ни наверстывали план, но прогрессивка накрылась. В магазин завезли хорошую капусту, все было недосуг выбраться, ждал воскресенья, а теперь поздно, придется на засол покупать какую попало.

Вот примерный диапазон предметов, которыми озабочен Гриша и которые определяют его счастье или несчастье. Я говорю об этом не в укор: грешно было бы упрекать человека за то, что он по рукам и ногам связан бытовыми хлопотами (многие ли из нас самих могут похвастаться полной свободой от всевозможных обыденных мелочей?). Упрекать Гришу следует за то, что дальше таких каждодневных забот он ничего не видит и его ничто не волнует. Эти заботы являются не только главным, но и единственным, всепоглощающим его жизненным интересом. Не в том несчастье, что Гриша не читал Горького, — он не стремится, не хочет его читать. Не в том, что он не понял оперу, а в том, что он не огорчился этому и, наверное, даже зарекся ходить в театр еще лет пять, до очередного принудительного культпохода на заводе... Он мелко видит, неглубоко чувствует, но потребности изменить что-либо в своей жизни у него нет.

«Вот жена у меня вроде тебя, — объяснит он своему ученику. — Она в больнице работает, когда дежурит, делать нечего (подчеркнуто везде мною. — В. Г.), тоже читает. Жутко культурная стала. Музыку по радио слушает. Я говорю: выключи ты ее к черту, она обижается. То ли притворяется, то ли вправду что понимает. Теперь стихи даже стала читать. Спать ложимся, а она с книжкой. Ты послушай, послушай, говорит. Я послушаю и сплю. А она обижается...»

Теперь зададим неожиданный вопрос: а как сам Гриша относится к своей судьбе? Формально в рассказе об этом «не написано», но основания для догадок и гипотез в нем есть.

Доволен ли он жизнью?

Да, доволен. Он прочно свикся со своим положением, ничего другого себе не мыслит, а все попытки

«профессора» внести какие-либо перемены в размеренный ход событий встречает без энтузиазма.

Нет, недоволен. Вспомним сцену, когда «профессор» в приливе великодушия принялся уверять Гришу, что хотел бы стать похожим на него. Такое заявление Гришу вовсе не растрогало: «Ладно, хотел... Я сам живу, живу, а потом, бывает, подумаю... Ну да что тут!..» И немного позже «профессор» заметил, что лицо у Гриши было огорченным и он, как бы утешая себя, проговорил негромко: «Ну ладно... Жизнь она еще большая...»

Как совместить в характере Гриши привычную, годами закрепленную самоуспокоенность и такую вот неудовлетворенность, прорывающуюся остро и внезапно? Какое из этих состояний пересилит, возьмет верх? Очевидно, первое. Даже если Гриша и проникнется горячей решимостью переломить привычный строй жизни, он не знает, ради чего, с какой целью будет это делать. Недовольство собой приобретает у него горький, но при всем том бессодержательный, смутный характер. Зато тот фундамент, на котором покоится его устоявшийся жизненный уклад, прочен, ясен, недвижим. Послушаем, чем, например, оправдывает Гриша свою нелюбовь к чтению:

«— Не привык я, понимаешь, как-то, все некогда, да и книжки попадают муровые... Пока приедешь, пообедаешь, газету прочтешь, с дочкой там поиграешь, а там телевизор или в кино жена потащит — уже и спать надо. А в воскресенье тоже — то сад, то братаны приедут в гости, то там матрац надо перетягивать».

Словом, заколдованный круг, но заколдованный — добровольно. Как бы Гриша ни сокрушался о нехватке времени, ни сетовал на обилие забот и непреложных обязанностей, такое течение жизни его вполне устраивает: оно необременительное, легкое, механическое. Из мелочей (газету прочтешь, посмотришь телевизор, матрац перетянешь) складывается день, из дней — месяц, а там, глядишь... «Ты не втягивайся», — строго наставляет Гриша «профессора» в конце рассказа, невольно подсаживая нам точное слово-символ, объясняющее причину теперешнего его положения. Сам он «втянулся» в сутолоку будней, а жизнь, хотя и действительно большая, летит слишком быстро...

Ему кажется, что он хозяин своей жизни, кузнец своей судьбы, а на самом деле Гриша плывет «по воле волн».

Но, прежде чем делать выводы, обратимся к ситуации более драматической, хотя и в чем-то схожей...

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ!

Рыбы все не было. Рейс подходил к концу, трал уже в который раз вытаскивали пустым, и судно могло так и остаться с незаполненными трюмами.

Тогда-то капитан и отдал команду подойти к пеленгу 307. Пеленг 307 был запрещенным для ловли местом; забросить в нем трал значило не просто нарушить закон, но и переступить через морскую этику, отрешиться от уважения к товарищам и к самому себе.

Все огни на «Коршуне» погасили, и тайком, по-воровски был выброшен трал. Рыба хлынула на палубу сплошным потоком, трюмы быстро заполнялись, но вот неожиданно на горизонте замигали огни: траулер был замечен катером рыбнадзора. «Коршун», не зажигая огней и не отвечая на сигналы, стал уходить к берегу...

Весь этот эпизод, описанный в повести Павла Ха-

лова «Пеленг 307», длился не дольше какого-то часа. Но для матросов, бывших в то время на траулере, он запомнится надолго: не раз будет вольно или невольно вспоминаться им преступление, в котором они были свидетелями, виновниками и жертвами одновременно...

Для всех привычны и всем понятны слова, что рабочий человек (так же, как и колхозник, служащий, студент) является хозяином жизни. На этом принципе основана сама природа нашего общества, это право — одно из важнейших и весомых завоеваний Октября. Право (и необходимость!) каждого трудящегося человека чувствовать себя полноправным строителем нового общества, участвовать в управлении государством настойчиво и часто подчеркивается Лениным.

«Главная задача теперь, — писал Ленин в статье «О задачах профсоюзов», — ...неуклонно расширять недостаточно еще широкую базу Советской власти (то есть расширять число рабочих и беднейших крестьян, непосредственно участвующих в управлении государством)».

«Социализм может быть построен только тогда, когда в 10 и 100 раз более широкие массы, чем прежде, станут сами строить государство и строить новую хозяйственную жизнь», — это из речи на объединенном заседании ВЦИК 17 января 1919 года. В докладе на II Всероссийском съезде профессиональных союзов Ленин еще раз указывает как на первостепенную цель: «Научить массу управлению, не книжному, не лекциями, не митингами, научить опытом...»

Оставив пока что в стороне «Пеленг 307», возьму один недавний случай.

Эмалировщица Львовского электровакуумного завода М. Филимонова поведала читателям «Комсомольской правды» о своем конфликте с мастером цеха. Работница отказалась выпускать заведомо бракованную продукцию, но мастер по-своему расценил ее принципиальность: перевел М. Филимонову на низкооплачиваемую, невыгодную работу. Товарищи по бригаде предпочли остаться в стороне, не пришли на помощь М. Филимоновой. Так вот, работница обратилась в редакцию за советом: правильно ли она поступила, не лучше ли было послушно выполнять приказ, как это делали другие рабочие?

Читатели, откликнувшиеся на письмо М. Филимоновой, сошлись на выводе, что в принципе работница поступила правильно. Но о конкретных формах, в которые должен был вылиться протест, мнения решительно разошлись. «Неужели, уважаемая тов. Филимонова, у вас нет никакой взаимосвязи с коллективом?» — спрашивает группа шахтеров из Луганской области. «Надо было обратиться в партийную организацию, профсоюз...», — советует липецкий рабочий В. Косарев. А работник отдела технического контроля из г. Махачкалы З. Кардашов, всецело поддерживая поступок М. Филимоновой, сетует, что такие случаи протеста рабочего (именно отдельного рабочего) еще очень редки.

Есть и еще одна точка зрения, которую хочется представить более полно.

«Я отчетливо вижу некоторые неурядицы на своем предприятии. Хотелось все высказать, повести борьбу против этого. Но я молчал, молчал потому, что я оканчивал курсы на повышение разряда. Потом молчал потому, что приходила очередь на получение жилплощади. Теперь приходится молчать, так как нужна характеристика для поступления в вуз. Молчал потому, что в силе начальника цеха не дать мне разряд, отодвинуть меня в очереди на квартиру, дать отрицательную характеристику».

В откровенности автору письма никак не откажешь. И, очевидно, чувствуя, что позиция его симпа-

тий не вызовет, рабочий предусмотрительно подготовил оправдание:

«Вы на мои слова можете сказать: «Болтун, эгоист, личные интересы ставишь выше общественных». Я же не ошибусь, если отвечу: таких, как я, много. Иначе несправедливость всякая была бы выметена, как мусор из-под верстака».

Какие комментарии просятся к откликам читателей? Прежде всего — единодушие в их позиции нет, и доведись им волею судеб работать в одной бригаде, не знаю, как скоро и успешно разрешили бы они конфликт М. Филимоновой с мастером.

«Неужели, уважаемая тов. Филимонова, у вас нет никакой взаимосвязи с коллективом?» — вроде бы резонный вопрос (и упрек) обращают к работнице луганские шахтеры. Но он не по адресу, в том-то все недоумение и горечь М. Филимоновой: обратилась она к товарищам, но поддержки не встретила, все продолжали преспокойно выпускать бракованные детали. Она ли и только ли она, М. Филимонова, виновата, что у нее нет взаимосвязи с коллективом? Луганские шахтеры, как бы в наставление, описывают дружбу и взаимопонимание, царящие у них в бригаде. Я не хочу бросить тень сомнения на этот коллектив, как и на тысячи других, которые, несомненно, существуют и являются образцом слаженности и взаимовыручки. Но вот с одной интонацией, прозвучавшей в письме шахтеров из Луганска, мне хочется поспорить.

Известно, что временами происходит печальное явление — инфляция слов. И повинны в этом, естественно, не сами слова, а люди, которые то ли механически, с поводом и без повода, так что выхолащивается весь смысл, то ли демагогически, со скрытой для себя корыстной целью, употребляют слова, имеющие точный и определенный смысл. Мне кажется, такую инфляцию претерпело и слово «коллектив» в письме луганцев. Понятию «коллектив» иногда придают обожествленное значение: коллектив — автоматическое спасение от всех бед, коллектив — чудодейственная среда для исцеления человеческих пороков, коллектив — волшебная палочка, которой стоит только взмахнуть — и все само собой переменится. Обратилась бы тов. Филимонова в коллектив — и весь конфликт разрешился бы счастливо. И вот обратилась. «Недружная у нее бригада, — возрадите вы, — в этом все дело». Да, по-видимому, недружная. Но это лишь часть ответа. Могла, представьте, бригада оказаться дружной, образцовой по всем статьям, а тов. Филимоновой все равно бы пришлось адресовать в газету тревожное письмо. Достоинства и сила коллектива не в голом числе, не в масштабах: дескать, одна работница не сумела найти общий язык с мастером, а бригада — десять, тридцать или пятьдесят человек — сумеет. И решительно неверно видеть коллектив чем-то существующим вне нас, безотносительно к нам: вот, мол, я один не справлюсь с этой задачей, но коллектив в целом ее легко одолеет.

Опять представим: обратилась М. Филимонова к товарищам, к бригаде, коллективу: как мне быть с мастером? — а коллектива-то, в сущности, и нет! Один нащептывает: брось, лучше не связывайся ты с ним; другой советует вообще помириться и наладить с мастером хорошие отношения; третьему некогда — на футбол торопится, а четвертый попросту отмахнулся... Один, другой, третий — вот так из каждого, из отдельного человека и складывается и состоит коллектив; и это не какая-либо монолитная масса, состоящая из абстрактных людей, которые, стоит им быть завятыми общим делом, от одного этого приобретают значение и вес. Коллектив бессильен, безоружен, если ответственность, которая возлагается на него,

не будет прочувствована и взята на плечи лично тобою, лично Ивановым, лично Петровым. В бригаде М. Филимоновой, очевидно, нашелся только один такой человек — она сама...

...Вернемся к истокам нашего разговора: как происходит, что хозяйном производства не до конца чувствует себя коллектив, коллектив, которому такая роль на роду написана?!

Ответ (один из многих) нам и подсказывает повесть П. Халова «Пеленг 307». В конфликте ее есть над чем задуматься: все рыбаки траулера не хотят идти на обман, не хотят — и тем не менее совершают его.

Если говорить словами из рассказа М. Рощина, они «втягиваются» ходом вещей; близость ситуаций при всем различии сюжетов в несвободе, в связанности и в чувстве, что надо разорвать эту «втянутость» и взять ситуацию в свои руки рабочего человека, творца жизни; и рассказ о Грише Панине и повесть о пеленге 307 исходят из убеждения, что такая ситуация — бытовая ли, производственная, при которой человек не волен жить достойно, — противоречит самым основам нашего общества, его социальной природе.

Главный герой повести Семен Барков был очевидцем преступления на «Коршуне».

Развязка произошла несколько позднее (во время следующего рейса команда отстранила капитана Ризнича, бразды правления взял на себя старпом Феликс Федоров), и Семен узнал о ней, находясь на берегу, на лечении.

Как было бы лучше, если бы развязка произошла на месяц раньше, в том памятном квадрате 307! Нет, тогда никто из команды на этот шаг не решился. И Феликс объясняет Семену, почему: ни один из матросов, даже самых близких между собой, не был уверен в других, в их поддержке. Впрочем, что там говорить о поддержке: многие даже не знали друг друга толком! «В команде двадцать шесть человек, а мы всегда были только пятером. Брали рыбу — считали, что это мы: Кузьмин, ты, Меньшенький, Мишка и я. В пролове сидели — тоже на себя принимали. Вспомни-ка, Семен, кто-то у нас только не толкался на судне!.. А мы привыкли. Лишь бы нас не касалось. Приходили такие, как эти десятиклассники, мы и их под одну гребенку...»

Есть двоякое понимание единодушия, сплоченности. Одно — когда люди связаны общими наклонностями, вместе отдыхают, спорят, думают, развлекаются. Другое — когда люди разделяют единые убеждения, важнейшие жизненные принципы, и неважно, близкие ли они друзья или едва знакомы друг с другом. Два этих варианта могут совпадать — тем лучше. Но бывает это вовсе не всегда.

И если все-таки выбирать, что лучше, что нужнее коллективу, конечно же, второе. Мне может не нравиться язвительный, насмешливый нрав товарища, тот, в свою очередь, будет недолюбливать соседа по цеху за меланхолию, замкнутость, за привычку, допустим, играть в домино с угрюмым лицом и смертельно долго обдумывать каждый ход (причин и поводов для недовольства каждый из нас дает сколько угодно).

В конечном счете важны не эти частности. Важно — противники или единомышленники мы в понимании жизни, в отношении к ней в моменты, когда от человека особо требуется гражданская честность, мужество, принципиальность. По такому высшему счету испытывается и коллектив в целом и каждый человек в отдельности — именно здесь и проверяется, насколько нам по силам отстаивать свои права, выполнять свой долг и обязанности.

ЧЕМ КРАСЕН ЧЕЛОВЕК!



хорошо работает...

Эту фразу почти наверняка скажут вам, если спросить, за что ценят в коллективе того или иного человека. И такой ответ никому не покажется странным: хорошо работает — значит, вкладывает в дело всю душу, старается принести людям как можно больше пользы. Это, казалось бы, простой и точный критерий, безошибочно определяющий ценность трудового человека.

Так ли это?

Оказывается, нет!

Что практически означают слова «хорошо работает»? Выполняет и перевыполняет план, заботится о сохранности механизмов — словом, мерилом труда являются цифры, задания, сводки. Но для рабочих, которые трудятся с этим передовиком бок о бок, цифры не являются критерием столь же всеобъемлющим и магическим. Распрекрасный работник, если он зазнайка или себялюб, завистник или высокомерен — а сочетание любого из этих качеств с трудовыми успехами возможно, — лишает себя уважения окружающих.

Но ведь умелец, знаток своего ремесла с незапамятных времен ценился исключительно высоко. Такой человек пользовался среди товарищей привилегированным положением, ему оказывали добровольное снисхождение, охотно прощали и мелкие слабости и более крупные недостатки. Культ уельца был особенно силен в тех ремеслах, где все решала природная хватка, даровитость и где выучкой, самым усердным прилежанием нельзя было достичь той виртуозности, искусства в работе, которыми обладал мастер.

Преклонение перед талантливым работником остается и сегодня (и, надеемся, будет существовать всегда). Но сказать о человеке, что он хороший работник, — значит сказать еще не все.

...Экскаваторщик Семен Нагаев из романа Ю. Трифонова — фигура более чем непростая. Если несколько разных лиц попросили бы дать о нем отзыв, как эти характеристики были бы непохожи!

В представлении Хорева, одного из руководителей строительства канала, Нагаев — человек, всей душой болеющий за общее дело. Не просто опытный рабочий, не просто передовик, оставляющий далеко позади себя других работников, а энтузиаст, чуть ли не подвижник. Невыносимая жара, в любую минуту можно ожидать солнечный удар — все рабочие в палатках, и лишь один Нагаев трудится. Или еще случай: в кабину экскаватора забралась змея, Нагаев попытался убить ее, но змея спряталась так, что ее никак не найти. Дело было ночью, тут бы и отложить работу до утра, пока рассветет, но для Нагаева потерять смену — ничего нет страшнее. И даже от единственного развлечения — кинофильмов, которые изредка завозили на трассу, отказывался: «Лучше я за то время сто кубов выну — и мне интерес и государству польза».

И вот на тебе — Нагаева в коллективе не любят, не переносят, укоряют его в глаза и за глаза. За что? Формально ни за что. Вреда Нагаев никому не причинил, ведет себя скромно, не кичливо (правда, держится немного замкнуто, обособленно). Одна только у Нагаева беда — жадность, но ведь это в конце концов его личное дело: один любит деньги, другой к ним равнодушен, один тратит их направо, другой экономит на чем только может. К тому же жадность не влияет на достоинства и недостатки Нагаева-работника. Сто кубов песка, которые он вынет, не увеличатся и не уменьшатся от того, выработает ли

их Нагаев ради трудового порыва или единственно ради стремления заработать.

И все-таки Нагаева не любят. Разные люди собрались на строительстве канала, ангелов с крылышками среди них не очень много, но почти у каждого вызывает неприятие демонстративная, до цинизма явная расчетливость, с которой Нагаев относится к работе. Копейка для него дороже всего: и уважения товарищей и доверия друзей (которых, кстати, он так и не обрел); ради копейки он, как липку, обдерет и обсчитает ученика-помощника, не прислушается к просьбам и советам жены и бросит в беде бригаду в напряженный для нее момент.

Кажется, нет тяжелей наказания — работать с людьми, которые не уважают тебя и почти впрямую выказывают эту неприязнь ежедневно, по мелкому и крупному поводу. Но Нагаев старался (и, в общем, это ему удавалось) не принимать во внимание такую неприязнь. Изменить отношение к себе — значило бы переменить самому, а такой выход Нагаев начисто исключал. И только когда возмущение рабочих достигло предельного накала, он распростился с бригадой, уехал в другое место...

Такой конфликт бригады и отдельного работника — конфликт в его «классическом» варианте. Бригада права, работник не прав. Соответственно распределяются и наши симпатии: мы осуждаем Нагаева и полностью сочувствуем его товарищам по бригаде. Очевидно, в столь «чистом» виде конфликт случается не слишком часто: к отношениям между враждующими сторонами неизбежно примешиваются обстоятельства, которые лишают какую-либо одну сторону безоговорочной, категоричной правоты.

...У Бориса Слуцкого есть такое стихотворение:

Человеческую жизнь (с деталями)
Можно (в среднем) рассказать за два часа,
Доверительно бросаешь тайнами,
Убедительно меняя голоса.

За сто двадцать (с чемнибудь) минуток
Можно изложить, пересказать
Стройных, ломаных, прямых и гнутых,
Колыбель с могилкой увязать.

Все-таки обидно: ели, пили,
Жили-были — все за два часа.
Царства покоряли, окна били,
Штурмовали небеса,
Горы двигали и жгли леса —
Все за два часа!

Очень грустное, в сущности, стихотворение. Замечание «(в среднем)» существенно: есть люди, чья жизнь была плотно насыщена событиями, исполнена глубокого внутреннего значения; есть люди, словно бы незаметно промелькнувшие по миру, не оставив ярких примет в памяти у себя и у окружающих... Но все это люди, и каждая жизнь — это жизнь.

Так или иначе, жизнь не безгранична, и, когда приходит пора отчета перед собой, горестно сознавать, что все ее события — счастливые и печальные — укладываются в два часа.

...Пронякин умирает. Ему еще предстоит операция — в общем-то почти ненужная, бесполезная; товарищи по бригаде изо всех сил обнадеживают и подбадривают его, но сам Пронякин неспроста уже напоминает все лучшее, приметное, что испытал. И вот итог: «Может быть, во всей его жизни только и было два счастливых дня: тот, на маленькой станции под Камышином («и лунная ночь в степи, когда он шел к невесте, и молодой запах осоки, и женщина, которая поделилась тарелкой борща, а потом и постелью»), и сегодняшний, когда он вез из карьера руду. Он взял

бы все это с собой в последнюю, самую дальнюю дорогу...»

Два счастливых дня... Нет, жизнь вовсе не баловала Пронякина! Тридцать лет, исполненные свершившихся дел, надежд, мечтаний, и два счастливых дня!

Смерть все списала. Тяжелый и затяжной конфликт Пронякина с бригадой разрешился как бы сам собой. Пошла большая руда, та самая большая руда, которую в промозглый осенний день Пронякин в одиночестве вез по скользким, петляющим дорогам карьера, пошла большая руда, был праздник, в местной газете поместили фотографию лучшей бригады — бригады Мацуева и плечом к плечу рядом с другими шоферами стоял строптивый Виктор Пронякин. Все разрешилось вроде бы примирительно и просто. Но задержим взгляд на этом снимке:

«...большой снимок бригады. Они улыбались. И Пронякин улыбался тоже. Но он улыбался другой улыбкой и был подверстан к плечу Мацуева, потому что клише пришлось изготовить со старой фотографии Пронякина, которую Антон разыскал в его тумбочке. На этой фотографии он был в новой шляпе, которую, конечно, отрезали, а вместо нее подретушировали прическу, отчего он и вышел на снимке жгучим брюнетом. Этот номер хранится у многих в Рудногорске, и очень юный брюнет в модном галстуке, с папироской в углу рта странно выделяется среди комбинезонов и ватников».

Вовсе не случайно так режет глаз «подверстка» к фотографии. Внезапная смерть Пронякина оборвала его конфликт с бригадой, но оборвала неразрешенным.

А ведь поначалу ничто не предвещало конфликта. Бригада сразу оценила в Пронякине шоферскую хватку, любовь к машине, сразу признала его «своим парнем». Водителем Пронякин и впрямь был первоклассным. Вот он наблюдает за бригадиром Мацуевым (бывалым, кстати, шофером), когда тот сел за руль: «Мацуев был добрый водитель, но не фейерверк, совсем не фейерверк. Он не родился, а просто стал шофером, а мог бы стать и машинистом на паровозе и слесарем в мастерской». Сам Пронякин именно родился шофером.

Беда была в том, что МАЗ, который достался Пронякину, уступал по емкости и силе мотора ЯАЗам, а вся бригада Мацуева ездил на них. Волей-неволей Пронякину, чтобы выполнить — а ему хотелось и перевыполнить — план, пришлось совершать лишнее число ездов, обгонять на сложной трассе другие машины. Естественно, без риска не обходилось: Пронякин то круто сворачивал перед самым носом у ЯАЗа, то, чтобы не терять дорогих секунд, управлял машиной, еще не сев в машину, стоя на подножке; короче говоря, действовал так, словно находился на спортивных гонках. И последнее: работать в дождливую погоду не полагалось — дорога становилась опасной, но Пронякин, которого несколько не устраивал активированный минимум, один-единственный возил глину из карьера.

Судите сами: очень ли все это понравилось шоферам?

«Смелый парень, что и говорить. Одно, понимаешь, непонятно: что же это ты делаешь, черт с рогами? За что ты нам в морду всем плюешь?.. Ей-богу, перед другими бригадами за тебя совестно. Приняли вроде бы тебя неплохо, да и сам ты поначалу ничего показался...» — усевещивает Пронякина один из шоферов при молчаливой поддержке бригады.

Крыть здесь вроде бы нечем. Не так и много требуют от Пронякина: не зарываться, не ездить демонстративно в дождь, не обгонять других шоферов пе-

ред самым носом. Понятно, что ему нужно делать больше рейсов, но обязательно ли для этого играть на нервах у бригады, рисковать собой и другими?

Столкновение индивидуалиста с коллективом — ко-го не удовлетворила бы такая постановка конфликта? Бригада права, Пронякин не прав, и Георгий Владимов, автор повести, вполне мог бы ограничиться таким — ясным и привычным — решением проблемы. Но тем-то «Большая руда» и привлекательна и сильна, что автор ее начисто отказался от какой-либо предвзятости к герою. Прозаик следует правилу: «выслушать обе стороны». Прежде чем вызвать у читателя осуждение или сочувствие к Пронякину, писатель заставляет нас понять его.

«Дорогая моя женулька!.. Можешь считать, что я уже устроился... Есть такая надежда, что и комнатешку дадут, хотя и здесь многие есть нуждающиеся. А я бы лично, если помнишь наш разговор на эту тему, своей бы хаты начал добиваться. Хватит, намыкались мы у твоих родичей, и они над нами позизгилялись, хотя их тоже понять можно, так что хочется свое иметь, чтобы никакая собака не гавкала...»

За этими немудреными словами письма к жене целая повесть жизни Пронякина. Легко представить на-строение мужчины, у которого к тридцати годам за спиной ни кола, ни двора, а одни только мытарства и скитания из одного города в другой. Потому-то и хочется Пронякину осесть наконец на одном месте, «окопаться», как говорит он сам. В этом свете каждая лишняя ездка имеет для него чуть ли не решающий, принципиальный смысл: в ней — гарантия материальной прочности, крепости, залог того, что он, Пронякин, «окопается» здесь.

«Кого винить, — с горечью думал Пронякин, — если слишком рано обнаружилось твое желание вырваться вперед, и при этом никто почему-то не подозревает за тобой высоких материй. Про одних говорят: «Этот работяга что надо!», а про тебя: «Этот из кожи лезет за деньгой», — хотя и ты и другие делают, в сущности, одно и то же! На лице, что ли, у тебя написано? Но чем твое лицо хуже, чем у Мацуева? У Меньяйло? У Выхристюка? Какой секрет они знают, которого не дано знать тебе?»

Этого недоумения, как и весь затянувшийся спор с бригадой, Пронякин так для себя и не разрешил. И только фотография в праздничной газете пыталась примирить враждующие стороны, но даже и того, как мы помним, не получилось...

Наши идеалы само собой, автоматически не осуществляются. Они становятся, они воплощаются в борьбе. Их становление не абстрактно, оно не заключается лишь в провозглашении высоких заповедей. Претворение идеала в жизнь, становление идеала — это становление человека в человеке. Но ведь и человек абстрактен вне общества, среды, коллектива. И вот происходит как бы взаимное воспитание, взаимное становление.

Желание быть лучше и лучше, непокорство зыбучей текучке, стремление быть всегда впереди, выше обстоятельств, тянуть обстоятельства за собой, не засыпать нравственно никогда, в самой чудесной ситуации, ни в грозовой, критической, ни в житейски спокойной, «не втягиваться» в инерцию — вот гражданский урок, который мы берем и из рассказа М. Рождина и из повести П. Халова, хотя, конечно, эти произведения шире наших выводов.

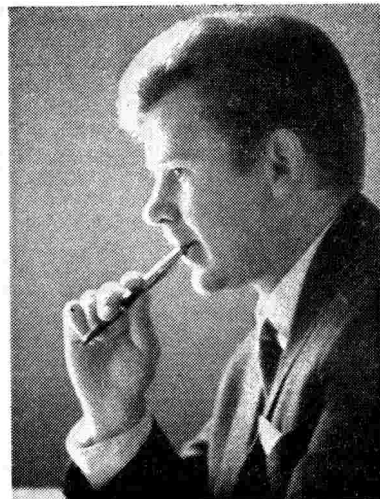
Трагедия Пронякина еще раз вызывает о том, что личность и коллектив взаимно ответственны друг за друга. Максимальное взаимовнимание: человека к коллективу, а коллектива к человеку — это современнейший девиз любого нашего предприятия. У писателя же важнейшая цель — пристальное, подвижническое, пристрастное исследование бытия, вникание в нравственные, социальные процессы реальности. И сфера труда, производства — всегда одна из вдохновенных для советской литературы.

Нет «простого» рабочего. Есть Рабочий, великий создатель мира, лицо многомиллионное, о котором поется в «Интернационале», и одновременно лицо соседа, товарища, знакомого и незнакомого, который поет: «Лишь мы, работники всемирной, великой армии труда...»



● Виктор Буханов

Зеленое райское яблоко



Рисунки автора.

УГРОЗА САМОУБИЙСТВОМ. Этот простодушный ультиматум: если вы мне не поможете, я покончу с собой — адресуют чаще всего не виновнику, а третьему лицу. Потому что виновнику, как правило, наплевать на то, что сделает с собой жертва. Так оно было и на сей раз.

Угроза покончить с собой прозвучала в письме, полученном редакцией «Юности» в конце июня. Вот три выдержки из него на эту тему:

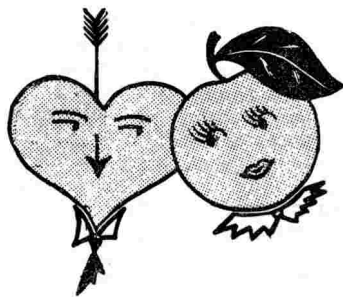
«Я всегда считала тех, кто кончает жизнь самоубийством, слабоумными и дураками, презирала их. А теперь я поняла, когда человек идет на это. Бывают минуты, когда не можешь дольше терпеть душевную боль. Думаешь только о том, как избавиться от нее — скорее, скорее. Это похоже на помешательство».

«Одна мысль: больше не страдать. Капелька яда — и все. Я поехала к брату, попросила мышьяка. Он дал мне таблеток. Тогда я испытала высшее счастье, поверьте. Я целовала брата, смеялась — неужели все? Не будет этой боли, этих унижений... Я выпила таблетки. Каково было мое разочарование, когда я открыла глаза. Брат дал мне снотворное».

«Я хожу, как пьяная, жизнь для меня кончена. В душе будто что-то оборвалось. Я не могу жить честно, справедливо, а жить по-другому мне не хочется. Вот и все. Моя судьба в ваших руках. Пройдете вы мимо или нет?..»

Кто бы ни писал эти строки — психически неуравновешенный человек или просто наивная душа, склонная к преждевременным разочарованиям, — «пройти мимо» действительно невозможно. Был тотчас написан ответ, мягкий, увещательный, простран- ный.

Однако второе, июльское послание Маруси (назовем так нашу юную собеседницу) обнаруживало, что редакционная педагогика не отвратила ее от мрачных намерений.



«Я измучилась. Я не хочу больше так жить, не могу. Из меня выбит главный стержень — вера в добро, в справедливость, в счастье. Все это больше, чем вы думаете».

«Я уже устала от жизни, я не могу бороться, что же, пускай радуется тот, кто хотел моей смерти. Жаль родителей. Глупо, но мне не хочется больше счастья, да его и не будет. Жизнь открылась передо мной в такой безжалостной несправедливости, что она сломила меня».

Слабую надежду на благополучный исход Маруся все же оставляла: «Я не решила еще бесповоротно, быть или не быть». Получалось, что окончательное ее решение зависит от редакции нашего журнала: «Так что же делать мне? Покончить с собой или ждать вашей помощи?»

Далее Маруся высказалась без обиняков: «Если нам больше не придется встретиться, то вините себя в этом». Последняя фраза письма звучала как завещание: «Я прошу вас, боритесь с подлостью, с обманом — это самое страшное в жизни»...

Теперь вы понимаете, что когда в редакцию пришла телеграмма на синем срочном бланке «Выезжайте зпт понеделник меня уже не будет Маруся», истолковать ее можно было только в самом печальном смысле.

Было воскресное утро. Я вертел в руках телеграмму. О такой не скажешь словами известной газетной рубрики: позвала в дорогу. Степень требовательности не та.. Раздумывать, собственно, не приходилось, и около полуночи, покрыв полторы тысячи верст, я стучал в закрытые ставни маленького деревенского домика на берегу Волги.

Никто не откликнулся. Поздно, подумал я, не дождалась. Нужно было вылететь рейсом раньше...

— Кто там? — В щелях ставней проступил свет.

— Маруся жива? — крикнул я.

.....

САД ЛЮБВИ. Итак, жизнь открылась перед Марусей «в безжалостной несправедливости». Но сначала жизнь показала ей свою солнечную сторону. Тут я опять, пользуясь предоставленным мне Марусей правом цитировать ее дневники и письма, отсылаю вас, так сказать, к первоисточнику.

«Я дружила с мальчишкой. Мы любили друг друга. Для меня это были самые счастливые дни. Это — большое счастье, когда любишь. Я не буду писать эпизоды из нашей любви, но когда я смотрю кино и там показывают любовь, то у нас было лучше. Он готов был носить меня на руках. Мы не хотели расставаться и были бы счастливы, если бы не расставались. А как мы ждали лета! Скорее бы лето! Тогда можно было бы дольше вместе.

И вот пришел май. Лучше бы его не было. Цвет садов, пели соловьи, ночи были изумительные. Весна сама по себе опьяняет, а тут еще любовь... Однажды мы были в саду. Степан говорил о своей мечте, о море, что он будет моряком. О том, как мы лет через пять поженимся и у нас будет мальчишка. Он стал целовать меня и тут стал как бешеный. «Маруся, прости, я не могу больше, но пойми меня, ради любви... Ты все равно будешь моя жена. Детей у нас пока не будет, и ты кончишь 11-й класс», — говорил он. Я напугалась. Била его по лицу. Но Степан стал на колени, заглядывал мне в глаза и говорил: «Я люблю тебя». Для меня Степан уже тогда был вся жизнь. Я, не задумываясь, отдала бы жизнь, но почему не сделать этого? Неужели я ему не верю? И я решила согласиться...

На следующий день надо было идти в парашютный кружок. Я зашла за Степаном. Он долго не открывал, потом открыл. Был опухший от водки. «Уйди», — сказал он. «Я люблю тебя, Степан, я не могу без тебя», — ответила я. Он стал целовать меня. После парашютного кружка мы зашли ко мне. И тут произошло все это. Я плакала. Степан говорил мне: «Не плачь, не кричи, ты теперь моя женушка».

Будем кратки. События развивались по хорошо наезженной колее, читателю нетрудно их домыслить. Было четыре фазы отношений: «после этого он стал ко мне еще внимательнее»; «потом он стал менее внимателен»; «потом вовсе невнимателен»; потом он «стал хам».

Хамом он стал в ту минуту, когда произнес сакраментальные слова: «Между нами все кончено». Это произошло осенью, через три месяца после «начала». Ей было восемнадцать, ему — семнадцать лет. Он учился в 8-м классе.

ПОИСКИ ВИНОВАТЫХ. И без срочной телеграммы я выехал бы к Марусе: слишком много тревожных симптомов улавливалось в этой истории. Ведь жаловалась девушка не только на безответную любовь и коварство соблазнителя, но и:

1. На школу. «Был даже эпизод, когда меня исключили из школы. Для одного человека это слишком много».

2. На врача. «Приближался учебный год. Я стала бояться, что у меня будет ребенок. Степан сказал, что любит меня, что ребенка не надо. Я пошла в больницу. Врач предложил прийти вместе со Степаном. Мы пришли. Она долго говорила с нами, сказала, что ребенка не будет... После этого по поселку поползли слухи». (Получалось, что гинеколог нарушил врачебную тайну.)

3. На мать Степана. «Его мать прямо в автобусе говорила за моей спиной о наших отношениях с ее сыном».

4. На соседей. «Идешь по поселку, а тетки смотрят тебе вслед. И слышишь за спиной: «Да вот, вот она

идет». Я же не шлюха какая-нибудь, чтобы мне было все равно. Я не хочу, чтобы мне смотрели вслед. Как можно спокойно жить и учиться, если сплетни не преследуются?»

5. На одноклассников. «Эти подлецы только и хотят мне горя. Они оскорбляют меня, грязно насмеются. Если раньше шептались сплетники, то теперь эта шваль кричит мне всякую похабщину. Зачинщик у них один — М., но он такой двуличный, в школе один из первых, учится хорошо... И никто бы мне не поверил».

Тягостная, пугающая атмосфера всеобщей травли, какой-то ликующий шабаш дегтемазов, на который собрались все, от мала до велика, от врача до педагога. Я летел в этот городок, представляя себе, как вытаску на свет божий «сицилианские» нравы маленького волжского местечка.

Но «местечко», растянувшее свои новостройки на десятки верст вдоль Волги, насчитывало сто пятьдесят тысяч человек населения. Это не деревня в сорок дворов с ее тяготением к единству мнений, вкусов, взглядов. Предположение о душевной и однородной атмосфере отпадало само собой: коренное население захолустного некогда городка давно растворилось среди приезжих. О какой-либо консервации пережитков, характерных для общественного мнения в целом, не могло идти речи.

Тогда я начал «расследование» по частям. Здесь нет необходимости вдаваться в детали, подведу итоги.

Из школы Маруся исключена не была; просто возник скандал в связи с самовольно организованной ею туристской вылазкой. Она болезненно реагировала на сделанное ей внушение и уехала в соседний город. Ее разыскали и вернули в класс. Никто из преподавателей не знал — по крайней мере в то время — о ее отношениях со Степаном. Что касается директора и завуча школы, то Маруся вплоть до выпускного вечера относилась к ним с симпатией и доверием, и это доверие никогда не было обмануто, о чем свидетельствуют ее собственные заверения.

В женской консультации я разыскал врача, осматривавшего Марусю. Она пояснила:

— Я обязана была вызвать юношу и убедить их обоим прекратить интимные отношения. К сожалению, мне не так уж редко приходится брать на себя подобные педагогические заботы. В таких случаях я назначаю время, когда прием уже закончен. Разумеется, никого другого я не ставила в известность на этот счет...

Не пойдешь опрашивать соседей, сплетничали они или нет. Но, судя по тому, с каким трудом я отыскал на Зеленой улице дом В-ых (Марусин дом), знают их очень немногие, и массовых демонстраций презрения, о каких рассказывалось в письмах, быть не могло.

Наконец, по словам Марусиной старшей сестры — работницы райкома комсомола, девушки умной и серьезной, без пяти минут инженера, — Степан проявил редкостную в его возрасте скромность, «победой» не хвастал, и одноклассники Маруси ни о чем не знали. Какие-то приставания и скандалчики были, но они случались и раньше и характеризуют самих разболтанных и подвыпивших парнишек, а вовсе не то «новое состояние» Маруси, на счет которого она и относилась эти дерзости.

Значит ли это, что в своих письмах в редакцию Маруся сознательно лгала, сгущала и придумывала «факты»? Я склонен полагать, что нет.

Весьма экзальтированная девочка — так считают и родные и педагоги, — она после разрыва со Степаном находилась в том постоянном нервном напряжении,

которое вызывает галлюцинации и населяет мир призраками. Каждое проявление внимания казалось ей дьявольским оскорблением, улыбка — насмешкой, сочувствие — жалостью. Она словно ввергла себя в средневековую комнату ста зеркал, и каждое из них многократно отражало ее муки, подозрения, страхи.

Тут в обнаженной форме проявилось волнующее несоответствие ее состояния и ее положения: состояния юной женщины и положения школьницы. То, что со временем могло бы стать источником радости и наслаждения, стало сейчас источником угнетения и ужаса.

«ОБЩЕСТВО ПРОТИВ СПРАВЕДЛИВОСТИ?». Итак, «общественного» гонения на Марусю не было. Ее не предал врач, и педагоги не устроили бестактного воспитания «всем классом». Вина виноватых вне интимного происшествия нет. Может быть, тогда и не стоит о нем говорить? Дело личное, всякий входит в жизнь сообразно своим достоинствам и воспитанию...

Добавим: и сообразно своему опыту. Опыт же приобретает не только непосредственно, лично. Его часто заимствуют, это экономит время и позволяет избежать некоторых ошибок. Чтобы убедиться, что огонь жжет, не обязательно совать руку в костер, — это сделал еще наш пещерный предок. (Увы, большинство из нас знает огонь все-таки по ожогу.)

Я не склонен преувеличивать педагогическое воздействие бесед на моральные темы. Этот жанр пользуется спросом, но его не следует переоценивать, ибо нередко читатель интересуется лишь фактической стороной дела, опуская нравственные поучения, почти неизбежно в той или иной степени банальные. (Хотя они от этого не стареют и необходимость в них не уменьшается.)

Историю же эту я считаю полезным рассказать вот почему. Если очистить ее от индивидуального, от характерного только для Маруси — скажем, от некоторого ее тщеславия, от пристрастия «описывать себя», от склонности к драматической позе, от определенной демагогичности мышления (в какой вы убедитесь позднее), от гипертрофированного самолюбия и прочего и прочего, — то останется одна голая ситуация: соблазненная и покинутая. Общественного интереса и разбора заслуживает не столько то, что девушка по любви (или без любви) преждевременно сошлась с юношей, чем резко осложнила себе жизнь, и сделалась на некоторое время несчастной, сколько то, что она чувствует себя обманутой и апеллирует к обществу. Она просит «исправления зла», которое исправить невозможно. Она ищет защиты, которой ей дать не могут. Она требует наказать обманщика, а законы не позволяют его наказать.

И тогда она впадает в крайне возмущенное недоумение: что же такое получается, общество стоит на страже несправедливости? Наше общество!!

Но будем забывать, однако, о Марусе.

«ВЕРНИТЕ МНЕ СТЕПАНА». На мой тревожный полуночный вопль, жива ли Маруся, она засмеялась и ответила сквозь окно, что жива. Утром мы встретились в гостинице «Обрыв», где я остановился.

Я начал с шуточного упрека:

— Маруся, ну можно ли пугать людей такими телеграммами! Надеюсь, вы не намерены действительно лишить себя...

— Нет, сейчас уже нет. Я попросту решила уехать в другой город.

— Ну, слава богу. А как насчет помощи, которую вы просили? Вы по-прежнему в ней нуждаетесь?

— Конечно. Я хочу, чтобы вы вернули мне Степана, чтобы он стал моим мужем и мы были счастливы.

— А он хочет этого — вернуться?

— Не хочет. Но он же обязан, раз обещал!

Я растерялся. В ситуациях, подобных этой, сочувствие всегда на стороне покинутого, тем более когда это — соблазненная девушка. Но как объяснить ей, что...

— Видите ли, Маруся, обязательства Степана носят моральный, а не юридический характер. С ним можно поговорить, но его нельзя принудить стать вашим мужем. Его нельзя привести в загс под конвоем. Брак — это добровольный союз любящих друг друга людей. А какая же здесь добрая воля, да и любовь, очевидно, односторонняя...

— Хорошо, — подумав, сказала Маруся. — Степан бросил меня, он подлец. А мимо подлости вы ведь не можете пройти. Его надо строго наказать.

— Конечно, он заслуживает осуждения. Но прежде, чем говорить об этом, Маруся, я хотел бы осторожно обратить ваше внимание на то, что ошибку совершили двое, что вы тоже допустили, скажем, некоторую неосмотрительность, и...

— По-вашему, я тоже виновата?

— Перед собою, Маруся, только перед собою...

— Разве я себе враг? — возмутилась она. — Ну уж нет! Это Степан во всем виноват, я ему так верила...

— Скажите, если бы события вернулись на год назад, вы поступили бы так же, как прежде?

— Нет.

— Значит, вы считаете свое поведение опрометчивым?

— Да.

— И вы не повторили бы эту ошибку?

— Сейчас это было бы ошибкой, а тогда нет.

— Почему?

— Потому, что сейчас я опытнее, я бы не развешивала уши... Ведь он сказал: или разойдемся, или это. Иначе он не верил в любовь...

— Или — или, значит. Но право выбора оставалось ведь за вами, Маруся.

— Сейчас я бы сказала ему: катись горошком, залогов не даю.

— Значит, тогда вы сказали не то, что следовало бы, и сейчас сожалеете об этом? Вы допускаете все-таки, что совершили ошибку?

— К чему вы клоните?

— К тому, Маруся, что это был обоюдный грех, что в вашем несчастье вы должны корить не только Степана, но и себя: вы расплачиваетесь за собственное легкомыслие. Вы, так сказать, соавтор этой беды. Конечно, вам тяжело. И не только потому, что вы любите, а вас нет. От подобного рода отношений женщины страдают больше и чаще мужчины: в интимной сфере разница полов то и дело оборачивается неравенством положения. Если вы первой бросили бы Степана, не думаю, что он стал бы искать помощи у «Юности». Я ничуть не оправдываю его, но вы должны были проявить большую осмотрительность...

— Но раз он надо мной надсмеялся и бросил, пусть ему мои слезы вдвойне отойдутся.

— Какое же наказание вы считаете разумным, Маруся?

— Два года тюрьмы.

Она сидела у стола, наивная и серьезная, большими глазами глядя на меня, поджав свои постные губки.



— Может быть, лучше три? — спросил я осторожно.

— Нет, три будет слишком много, — сказала Маруся.

ВИЗИТ К ПРОКУРОРУ. Она разочарована:

— Значит, вы не посадите его в тюрьму?

— Это не в моей власти.

— Не может быть! Вы же корреспондент из Москвы!

Я беру ее за руку и веду к прокурору города. И здесь в свои девятнадцать лет она впервые получила приблизительное и общее представление о том, что есть Закон. Что за все с нею происшедшее она несет личную ответственность и что за свое «преступление» Степан уголовному преследованию не подлежит.

— Мы не можем его обязать поступать так, как хотите этого вы, это было бы насилием над личностью, — мягко говорит прокурор.

— А хоть припугнуть тюрьмой вы его можете, чтобы он не бросал меня?

— Это был бы шантаж, Маруся, а с моей стороны — тяжелое должностное преступление. К тому же я убежден, что счастья все равно не было бы в вашей семье. Послушайте, вы помните дело Королевой? В позапрошлом году?

Прокурор обращается ко мне:

— Очень шумевшая история была... Некий молодой человек, в общем-то мерзавец, долго ухаживал за этой самой Королевой. Она тогда только кончила школу. Подали заявление в загс. За два дня до регистрации он уговорил ее сблизиться, а потом «смотал удочки». Мы возбудили против него уголовное дело: очень жаль было девочку. Однако Верховный суд республики не только немедленно прекратил дело, но и указал на него другим судам как на типичную юридическую ошибку. В сущности, так оно и есть: месяц до регистрации на то и дается, чтобы обе стороны еще раз проверили свои намерения... Что касается Королевой, она забеременела; мы уговорили ее оставить ребенка. Помогли устроиться на работу: прокуратура взяла нечто вроде шефства над нею. О своем «женихе» не жалела, он, как все больше выяснялось, действительно был редкостным подонком. Потом она встретила человека, полюбила его, вышла замуж, живет сейчас в Ленинграде. Последнее письмо я получил от нее месяц назад: счастлива.

Маруся слушает вполуха, думает о своем.

— Сами говорите, что подлец, а сами ничего не делаете, — зло перебивает она и выбегает из кабинета. Прокурор задет.

— Я не имею права исключать и возможность ложного обвинения, — замечает он, обращаясь уже ко мне.

...Мы сидим в сквере. Конечно, размышляю я, многое объясняется в подобных случаях наивностью, незнанием, социальной незрелостью, что ли. «Он обещал жениться», — говорит юная девушка так, словно ею была получена расписка, заверенная в нотариальной конторе. «Он сначала напоил меня допьяна», — говорит другая, искренне полагая, что это обстоятельство полностью оправдывает ее неблагоприятное, а «любимого» делает уголовником.

Но вот что меня настораживает в Марусе: она как будто бы сознательно культивирует эту свою неосведомленность, наивность, всячески подчеркивает свое «я не знала»... Ну хорошо, Уголовный кодекс она не читала, но ведь книги-то она читала и среди людей, а не в аквариуме жила: есть же в 19 лет какой-то опыт жизни. Откуда же этот розовый идеализм?

— Все газеты учат: надо доверять друг другу, — говорит Маруся.

— Но ведь те же газеты пишут и о том, как злоупотребляют доверием. Из них вы не могли не узнать, что есть еще, к сожалению, такие вещи, как воровство, безотцовщина, беглецы-алиментщики, обманутые мужья и покинутые жены...

— Этого всего не должно быть! — восклицает Маруся.

— Но ведь есть! Зачем же растить число жертв слепого прекрасноразумия?

Ах, все это Маруся знает, по крайней мере чувствует. Но она, подобно многим в аналогичном положении, пытается максималистскими требованиями к окружающему миру прикрыть собственную оплошность. Слово за реальными или воображаемыми ошибками каждого несет ответственность все общество. А личная ответственность — за собственное легкомыслие, за проявленную глупость, слабость?..

— Маруся, — говорю я, — когда человек забывает чемодан на перроне и, вернувшись, не находит его, он же не обвиняет в несовершенстве весь мир, не поносит законы страны, а восклицает в собственный адрес: какой я ротозей! Надо быть реалистом. Надо учиться благоразумию.

Мы сидим в сквере. Маруся рыдает.

ИСТОРИЯ ЕГО МАТЕРИ. А началось все с такой чистой дружбы: она готовила с ним уроки по-русскому, читала на память любимых поэтов — Асадова, Надсона. И вот такой горький финал.

Может быть, Степан действительно редкостный подлец? Знаете, есть такие «специалисты» по малокрасивым девушкам, играющие на их страхе остаться на всю жизнь одиночками...

В доме я застал только мать Степана, сам он уехал в Саратов.

— Последний месяц дорабатывает. Осенью в армию.

В комнате сыро, одиноко. В углу гора желтого лука. Сидящая, в прошлом красивая, видимо, женщина, невесело рассказывает:

— Пятеро у меня, троих вырастила, двое еще в школу ходят. Все работающие, да иначе и нельзя: я уборщицей работаю, на сорок рублей не проживешь... В жизни своих ребят я мало вмешиваюсь. Однако, как услышала от Маруси, устроила Степану выволочку: что ж, говорю, женись теперь, раз девушку осрамил. А он: какой из меня муж, на что жить будем? И то

верно, сопляк еще. Сначала зарабатывать нужно научиться, а потом жениться. Вот вернется из армии — поступай как хочешь. А против Маруси я ничего не имею — она девка серьезная, скромная, не то, что иные. Вот ведь говорили раньше старики: будут девицы — бесстыжие лица. И стали. Я сама девушкой была. Бывало, в пляс пойдешь — юбка колоколом, а сейчас такое надевают — чуть сраму не видно...

— А что с вашим мужем? Умер?

— Ушел. Тридцать лет вместе прожили. Любили. А год назад его судили — к женщине пьяный приставал. Эта женщина, потерпевшая, как узнала на суде, сколько у него детей да что жить не на что, — я, говорит, его прощаю. Ну, и суд простил. А он взял да все равно к другой ушел. Теперь алименты получать стала — двадцать рублей... Тут вот Маруся приходила. Заставьте, говорит, Степана на мне жениться. Да кабы я могла, я б перво-наперво мужа своего вернуться заставила. А как заставишь, если он говорит: разлюбил тебя, вот и весь сказ. Рада б за пана, да пан не берет...

Я ушел. В судьбе этой женщины несправедливости и горечи куда больше, чем в том, что произошло с Марусей. Но какой корреспондент какого журнала смог бы ей помочь и чем?

«ЧТО ЕСТЬ ЧЕСТЬ?» Мы снова в гостинице.

— Собственно, я вовсе не из чувства мести настаивала на том, чтобы Степан был наказан. Мне важен принцип: зло должно быть наказано. Иначе я разучусь в людях и в жизни.

Ну что ж, ей, Марусе, нельзя отказать в некоторой находчивости. А Маруся продолжала:

— Для меня уже хорошей жизни не будет. Я испорченная и поступать теперь буду, как подлецы. Мне это полудетское кокетство стало надоедать.

— Дорогая Маруся! — сказал я. — Вы волны поступать, как вам заблагорассудится. Можете пить, грешить и при этом хвастать своими пороками. Вы взрослый человек, за свои поступки вполне отвечаете. Можете ставить вашу нравственность в прямую зависимость от того, в какой мере удастся отплатить бывшему другу за оскорбление. Меняйте ваши взгляды на человечество хоть каждое утро и каждый вечер. Можете еще сто лет гальванизировать ваши мучки и «страдать», как страдают в романах. Можете и дальше строить из бытовой драмы вселенскую трагедию. Не хотите смотреть вперед — смотрите назад. Не хотите жить хорошо — живите плохо. Повторяю, вы взрослый уже человек. И именно поэтому я обращаю ваше внимание на то, что моя поездка сюда обошлась государству в полсотни и что я начинаю находить этот расход неразумным. Видит бог, я приехал не за тем, чтобы вы морочили мне голову угрозами стать бякой!..

Маруся вдруг рассмеялась.

— Вы правы, — сказала она, — я действительно болтала чушь. Но знаете, я уже взяла билет в Р. Новый город, новый комбинат, новый университет. Новая жизнь. Буду готовиться на биофак. А пока пойду аппаратчицей. Поможете устроиться в общежитие?

— Охотно, — сказал я.

...Когда Маруся ушла, я вспомнил вчерашний с ней разговор. «Я отдала Степану самое дорогое — честь», — сказала она тогда. Это убеждение, что «честь» — понятие применительно к девушкам только физиологическое, а не нравственное, распространено чрезвычайно.

Я пишу об этом и невольно вспоминаю одно скандальное и резкое словечко, обозначающее столь же скандальное явление. Есть такая небольшая категория

девушек (в некоторых городах), которые своей подчеркнутой легкомысленностью и «завлекающей» доступностью ловят любителей легких уличных знакомств, пьют и едят за их счет и внезапно исчезают, оставив «соискателя» с носом. Не пойдет же он при нашем общественном неприятии подобных «приключений» жаловаться, что его «обманули»! Девиц этой «профессии» зовут динамистками. Физиологически такая девушка может быть девственной, но по существу у нее мораль проститутки. (Разумеется, обвиняя в нравственной растленности подобных девиц, мы обвиняем и тех стрекозлов, благодаря которым еще существуют подобные «искательницы приключений». Но это другая тема.)

Маруся полагает, что «честь» все-таки важнее. «И муж никогда не упрекнет», — добавила она.

Марусин одноклассник, когда я затеял с ним «абстрактный» разговор на эту тему, сказал:

— Если девочка намекнула, парень не откажется. Так уж повелось. Сама себя беречь должна. Я кого уважаю? Кто мне кукиш к носу подносит...

Удивительная неразбериха царит на счет «честь» и не только в головах юных школьников. В казачьей станице на Тереке я видел, как после свадьбы во дворе была торжественно вывешена простыня... В прошлом году я жил в Ашхабаде. Сосед по номеру сказал, что уже четыре месяца, как не был в родном Ташаузе. «Засиделась жена в четырех стенах», — заметил он. Из дальнейшего выяснилось, что под строгим оком ссекрови и братьев жена не смеет переступить порог дома до возвращения мужа.

— Что же вы так задержались? — спросил я.

— Учусь, — ответил мой сосед. — Повышаю квалификацию.

Он был интеллигентным работником районного масштаба.

Недавно знакомый мне врач, преподающий в медицинском вузе, провел на третьем курсе среди студентов анонимную анкету. В числе прочего выяснилось, что сорок процентов студентов имели добрые половые связи. Как в этом случае обстоят дела с «честью»?

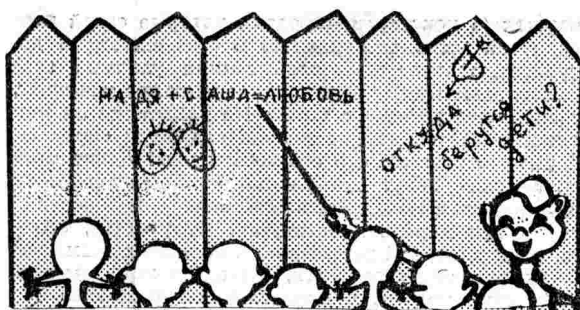
Тут, на мой взгляд, самое время обратиться к авторитету. В «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс писал: «Если нравственным является только брак, заключенный по любви, то остается нравственным только такой, в котором любовь продолжает существовать. Но длительность индивидуальной половой любви весьма различна у разных индивидов, в особенности у мужчин, и раз чувство совершенно иссякло или его вытеснила новая страстная любовь, то развод становится благодеянием как для обеих сторон, так и для общества».

То, что правильно для юридически узаконенной семьи, не может не быть правильным и для добрых отношений.

Коммунистическая мораль имеет свою историю: она всегда боролась и против ханжеского аскетизма и против теории «стакана воды». Очевидно, здоровым и реалистичным является мнение, что любовь — источник наслаждения — украшает жизнь, но как в личной жизни, так и в масштабе общества нужно знать меру, иначе это становится социально опасным явлением.

Крупнейший медик и, кстати сказать, писатель — Николай Амосов продолжил эту мысль так: «Сексуальное воспитание молодежи должно быть хорошо продумано: запрещать нельзя, но стбит проповедовать ограничения».

Не слышится ли вам в этих словах эхо тысячелетий? Не только потомки отвечают на вопросы предков. Бывает и наоборот.



ИСКУШЕНИЕ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ. «Источник наслаждения»... «Сексуальное воспитание»... «Проповедовать ограничения».

Проповедовать — значит говорить вслух и печатно. Мы этого до сих пор почти не делаем. Из каких же побуждений?

Недавно один маститый педагог возмущался тем, что в «молодежной» повести фигурировали такие вещи, как туго обтянутые юбкой бедра и обнаженная грудь. «Этим мы пробуждаем у подростков любопытство к своему телу!» — воскликнул педагог.

А оно само пробуждается. Приходит время, и девочка подходит к зеркалу и внимательно рассматривает себя: «какая я? Я вспоминаю Уланову в роли Джульетты и ее знаменитое удивленное первое разглядывание себя. Не только балетоман, но и любой архиепископ скажет, что этот момент прекрасен, ибо он полон напряженного жизненного содержания.

Как ни горько упомянутому педагогу, но дети в 10—12 лет знают уже то, до чего еще не доросли. Знают друг от друга, из книг, наконец, из «наглядной агитации» на заборах и стенах всяких укромных мест. Порой самым неожиданным образом — в парке, в туалетной какого-нибудь приличного вполне кафе натыкаешься на черт знает какие рисунки с пояснительными надписями. И все это видят подростки, даже дети. И получают представление о «любви», я бы сказал, подзаборный вариант этого представления. Навивно думать, что с влиянием подобной агитации можно справиться только щеткой и кистью.

Дети всегда знают больше, чем понимают. И всегда раньше, чем это положено. До поры до времени такое знание не таит никакой опасности. В худшем случае ребенок вдруг спросит, дерзко улыбаясь, откуда берутся дети. И поскольку он уже знает это от соседского Петьки, то чувствует себя героем, а отец при этом чувствует себя дураком. Но в 13—15 лет на смену такому «самообразованию» должно прийти сознательное понимание сути дела.

Поинтересуйтесь, какая справочная литература пользуется наибольшим спросом в любой юношеской или студенческой библиотеке? Тома Большой Советской Энциклопедии (или Медицинской, если она есть) на определенные буквы. Это попытка самообразования. Подросток ко времени своего физического созревания хочет и должен понимать, что такое любовь, и отнюдь не в отрыве от чисто эротического чувства, которым она питается. Любовь же в нашей архипедагогической интерпретации превратилась в нечто иссушенное, как осенний лист, а «это» приобрело еще более привлекательный и таинственный ореол.

Искушение быть взрослым — вот что нередко стоит за желанием побыстрее вкусить от райского яблока любви. А яблоко незрелое, зеленое. И надолго остается оскоминой от горького опыта первых «экспериментов».

Как хорошо знакома эта сцена: он и она. Ломаю-

щимся голосом он говорит: «Я люблю тебя, я тебе отдам все, всю жизнь». А что у него есть? Штаны, купленные на папины деньги? Но ей это нравится, это так звучит: вся жизнь! И оба любят, глядя на себя со стороны: какие мы взрослые!

Отрезвление наступает нередко в гинекологическом кресле — у нее; у него же — когда выясняется, что нет двух рублей, чтобы купить любимой пирожные и банку сока. Оба начинают соображать, что отдать и взять жизнь отнюдь не так просто...

Запретительные меры в sentimentalной области себя не оправдывают, да они и невозможны. Необходимы разъяснения и откровенный разговор.

Я допускаю возможность, что возникают ситуации, когда интимные отношения вне брака высокоморальны. Этот вопрос каждый решает сам — не дело постороннего вмешиваться в сферу интимного. Но, решая его, особенно в юности, нужно быть максимально компетентным; нужно определенно представлять себе, на что идешь, что тебя ждет. А когда этого нет, когда парень и девушка очертя голову бросаются в неведомую для них область жизни, наступают раскаяния, сожаления; и вот уже летит очередное письмо в редакцию, очередное заявление в суд...

Когда-то вся мудрость жизни преподавалась детям на одном уроке — закона божьего. Атеистом же быть сложнее, ему нужны не вера, а знания; нужны уроки и опыт специалистов. Я убежден, что уже в старших классах школ — прежде всего городских — необходимы беседы о половых отношениях, о воздержании, темпераменте, о гигиене, дурных аномалиях и прочем. Быть может, их разумно проводить раздельно. Приглашать же лучше всего врачей: сама профессия медика stuшует «сенсационность» таких бесед.

Столь же необходимо ввести, на мой взгляд, «час юриста»: свободный разговор об Уголовном кодексе, о типичных нарушениях закона. Это интересно, и это полезно.

Школьники должны знать то элементарное, чего они подчас не знают: что за нарушение обещания жениться не судят; что заявление, поданное в загс, не гарантирует заключения брака; что 30 дней для размышления — еще не начало медового месяца. Неплохо бы знать, что два грамма чистого алкоголя на килограмм веса для непьющей девушки — серьезное отравление, после которого она становится физически беспомощной, не говоря уже о том, что волевой самоконтроль в это время сходит на нет.

Уроки пусть будут разные. Представьте, входит в класс поэт, литератор и говорит с ребятами о мужском рыцарстве, о женской верности. Он читает строки о Пенелопе и Ярославне, о неистовом Роланде и Тристане. Он рассказывает историю Сольвейг и историю бедной Эммы Бовари. Он говорит о силе духа, о том, что уровень любви всегда выше постели. Он не рассказывает, как надо любить. Он рассказывает в стихах и прозе, как люди любили.

Чему только не учат тех, кто сидит за партой: и астрономии, и пению, и выпиливанию лобзиком по фанере! Но никто не рискует говорить с пятнадцатилетними о чувственной стороне любви. Во-первых, мол, эротика — это стыдно (если только она не тема классического полотна или скульптуры). Во-вторых, «дурацкое дело нехитрое» — сами дойдут.

Дойдут, конечно. Каждый своей ценой. Но лучше проявить реализм и честность. Лучше заговорить о том, о чем напряженно молчат пока обе стороны — и ребята и взрослые. Тогда историй, как у Маруси, не скажу, что не станет вовсе, но станет меньше. И время любить не будет подменено временем ненавидеть. Здоровье общества зависит, в частности, и от этого.

Не так ли, дорогой читатель?



Пять лет я писал книгу «Люди, годы, жизнь», в ней я попытался рассказать и о своей жизни и о некоторых людях, которых я знал. Теперь мне хочется рассказать читателям «Юности» о собаках. Почему о собаках?—спросит, наверно, не один читатель. Да прежде всего потому, что я люблю собак, это не мое достоинство да и не мой недостаток, одни любят лошадей, другие кошек, а некоторые никого не любят, что касается меня, то я с детства привязался к собакам.

Я знаю, что эта любовь у нас не почитается добродетелью. Но когда человек ругается: «Ах ты, собака этакая»,—или когда он пишет «фашистские псы», он показывает бедность своей фантазии и избыток чванства. Никогда ни одна собака, даже выдрессированная фашистами, не доходила до изуверства гитлеровцев, и, если собаки умели бы разговаривать, они, наверно, приравнивали бы самых лютых псов к людям-тюремщикам или к людям-палачам.

В Лондоне меня всегда поражают собаки во все не потому, что среди них много породистых, холеных, но потому, что они прекрасно ведут себя на улице. Редко там увидишь пса на поводке. Они гуляют независимо, как будто знают, что существует собачья «Хартия вольностей»; иногда они знакомятся, иногда проходят мимо других собак, не обращая внимания. Им хочется показать свою независимость, и они не оглядываются на хозяев. Но вот переход через улицу—тысячи машин. Собака не сходит на мостовую, она ждет хозяина и улицу переходит у его ноги; очевидно, в понимании собак здравый смысл не противоречит свободолюбию.

А. П. Чехов любил собак. В молодости он написал чудесный рассказ «Каштанка». В Мелехове у него жили две собачонки, таксы, одну он назвал Бромом, другую Хиной—сказалась докторская складка. Куприн вспоминал, как Антон Павлович с добродушной улыбкой говаривал: «Славный народ—собаки!»

Собаки действительно неплохой народ. В Ленинграде во время блокады у литератора И. А. Груздева жили два пуделя, голодные, отошавшие. Однажды жена Груздева принесла паек свой и мужа на два дня—пятьсот граммов черного, мокрого, похожего на глину хлеба. В передней затрещал телефон, она побежала, долго разговаривала и вдруг вспомнила, что оставила хлеб на низеньком столике. Она увидела пуделей, которые сидели и как замороженные глядели на ломоть хлеба; под каждым была лужица—они роняли слюну, но хлеба не тронули.

На фронте я встречал многих бесстрашных собак.

Связной пойнтер полз под пулеметным огнем—носил записки с переднего края на командный пункт. Санитар, шотландская овчарка в защитном белом халате (дело было зимой), найдя раненого, ложилась рядом—у нее на спине была корзиночка с перевязкой, с едой и водкой; потом она брала в зубы кожаную блямбу, подвешенную к ошейнику, и спешила к санитару—показывала, что кого-то отыскала, вела хозяина к раненому. Часто раненых отвозили собаки, запряженные в санки, везли осторожно. В одной из таких запряжек были две лайки, чего-то или кого-то не поделившие. Никогда они не дрались во время работы, но когда их распрягали, начиналась маленькая собачья война. В последний год войны

О СОБАКАХ

немцы закладывали мины без металлической оболочки, аппараты перестали служить, их заменил нюх собак. Не знаю, что они чувствовали, может быть, запах недавно разрытой земли, но они безошибочно обнаруживали мины, садились рядом и ждали сапера. В Ленинграде летом 1945 года была выставка военных собак, а также собак, переживших блокаду. Среди героев был пес, который обнаружил свыше четырех тысяч мин; у него было оторвано одно ухо—отделался он легко; на него все глядели, а он недоуменно оглядывал людей и порой тоскливо зевал. Собак, переживших блокаду, показывали их хозяйки, их было пятнадцать, трудно сказать, кто был более истощен—старые женщины или маленькие дворняжки.

Мне хочется рассеять вздорную легенду о богатых людях в капиталистическом мире, которые якобы обожают своих собачонок. В июне 1940 года я был в Париже, видел исход населения этого города, преданного правительством Франции. Раньше других опустели богатые кварталы, по мертвым улицам бродили брошенные своими хозяевами породистые собаки. Потом начали уходить жители рабочих кварталов, некоторые шли с ручными тележками, и я видел, как старики и детишки несли на руках собачонок. В наших газетах иногда появляются описания роскошных собачьих ресторанов Парижа. Я долго жил в этом городе, но никогда не слышал о суще-



Рисунок И. Бронникова.

ствовании собачьих ресторанов, возможно, что такой существует для двадцати или тридцати дам, не знающих, как потратить деньги, но это никак не определяет положения собак в Париже, они едят неплохо, едят не страсбургские паштеты с трюфелями, а обыкновенную собачью похлебку.

Вернусь к военным годам. Мой пес Бузу-второй не был трусом, но при одной из первых бомбежек Москвы жена оставила его в квартире на девятом этаже (собак в убежище не пускали), и Бузу ударила воздушная волна. Он потерял сознание, но вскоре встал — отделался страхом. После этого грохот артиллерии заставлял его озираться на окна, и, когда начались салюты в честь наших побед, он очень волновался. Если я сидел далеко от окна, он только изредка таял, но стоило мне или жене подойти к окну, как Бузу-второй начинал неистовствовать — пытался отогнать нас от окна, будучи убежденным, что ничего хорошего от пальбы не получится. Вскоре он стал различать позывные, предвещавшие сообщение об очередной победе, и тотчас начинал выть, предупреждая нас об опасности.

Есть породистые собаки, есть дворняжки — и те и другие по-своему хороши. Я сказал бы, что дворняжки разностороннее породистых собак. Шотландская овчарка умеет выводить на пастбище стадо коров или отару овец без пастуха. Она ласково подгонит зазевавшуюся корову, найдет забредшую в сторону овцу. Ньюфаундленд спасает утопающих. У французского писателя Сименона, который проводил каникулы на барже, была такая собака, и она причиняла ему немало хлопот: на Марну часто приезжали люди, чтобы выкупаться в реке, но пес несся

и вытаскивал плававшего из воды. Сеттер или легавая влюблены в охоту. Терьеры различных пород роют ямы — ищут барсука или, на худой конец, крота. Все они напоминают людей-специалистов.

Я упомянул о Бузу-втором, скотч-терьере, коренном москвиче. А вот Бузу-первый был скорее дворняжкой, или, как вежливо выражаются наши собаководы, метисом. Его мать была скотч-терьером, а отец спаниелем. У него была морда скотча, но с длинными ушами спаниеля. Он жил у меня в Париже. Это был чудесный, веселый пес, хотя были у него и пороки, напоминавшие человеческие, — он был хвастуном, а порой и жуликом. Когда я его вел на поводке, он прикидывался отчаянным забиякой, облаивал огромных догов, но стоило его спустить с поводка, как он сразу становился весьма благоразумным и осторожно обходил больших собак. Я жил в первом этаже, и Бузу порой выскакивал на улицу, бежал в мясную лавку, где торговали кониной. Там он начинал показывать различные фокусы — служил, делал сложные пируэты — и в итоге получал кусок мяса. В ресторане, где мы порой ужинали, он обходил все столики, смотрел и, конечно, нюхал. Парочек он не любил: они слишком заняты своими чувствами, и Бузу-первый не рассчитывал их растрогать. Он разыскивал одинокого посетителя, который ел мясное блюдо, и начинал к нему ласкаться, проявляя исключительную любовь. Умиленный человек давал ему кусок бифштекса. Четверть часа спустя напрасно он подзывал собаку — он ел грушу, а Бузу-первый не любил фруктов. Когда я с ним гулял по бульвару Монпарнас, он несся вперед, забегал в кафе и возле стойки, где готовили бутерброды, быстро проделывал цирковые номера. Получив кусочек ветчины, он выбегал на улицу и делал вид, что ждал меня: чего ты опаздываешь? Он свято верил во всемогущество своих номеров. Однажды мой друг чешский художник Шима привел ко мне двух девиц — породистых скотч-терьеров. Бузу-первый попробовал их приветствовать, но они, будучи очень добродетельными, осуждающе зарычали. Тогда Бузу начал перед ними служить. Однажды он играл в пустой комнате, и мяч закатился под шкаф. Войдя, я увидел, что Бузу стоит на задних лапах перед шкапом — ждет, когда мячик выкатится.

Я знал и другого хитреца — рыжую дворняжку Монаха. Летом 1916 года я прожил несколько месяцев на юге Франции, в местечке Эз. Ежедневно к нам приходила обедать коренастая нескладная собака. Мы ее прозвали Монахом: шерсть напоминала монашескую одежду, а глаза были лукавыми. Однажды я шел по дороге и увидел Монаха. Я его позвал. Он отвернулся. Женщина, с которой он шел, называла его Бижу. Потом я обнаружил третьего хозяина, и узнал, что Монах ночует в их доме, но днем куда-то пропадает.

Как-то я ехал в трамвае в Ниццу. Билетер потребовал деньги за проезд собаки. Я изумился. Билетер сурово сказал: «Это не в первый раз — он едет до Вильфранша». Значит, у него был еще хозяин в восьми километрах от нашего дома. Конечно, не от легкой жизни Монах стал дипломатом.

Все собаки восторженно встречают хозяев, многие ищут подарка и приносят то туфлю, то половую тряпку, то газету. Так делали пудели моей дочери Чука и Уголек. Была у меня в Праге знакомая чешка Мильцева. Ее спаниель всегда искал подарок, а когда ничего не находил, брал в рот свое длинное пушистое ухо и подносил его хозяйке или мне.

Чука была ласковой и домовитой. Ирина ее научила многим номерам: она приносила в столовую сигареты, спички, газету, закрывала дверь. Иногда никто Чуку ни о чем не просил, и, изнеможенная чуд-

ным ароматом диетической колбасы, она проявляла инициативу, закрывала дверь или приносила «Вечернюю Москву». Помню смешную сцену. Один наш гость, понизив голос, начал рассказывать последние новости. Вдруг он замолк: Чука закрыла дверь — на лице рассказчика был подлинный ужас.

Сын Чуки, стройный Уголек, был мечтателем и отличался редкой чувствительностью: когда кому-либо бывало тяжело на душе — а военные годы были нелегкими, — он пытался утешить людей, садился и нежно глядел в глаза, чуть помахивая хвостом.

В 1930 году директор немецкого издательства «Малик-ферлаг», которое издавало и переводы моих книг, поэт Герцфельде, подарил мне жесткошерстную таксу. «Малик», по-арабски «принц», издательство называлось в честь героя романа писательницы Ласкер-Шюлер. Я назвал таксу в честь Герцфельде Маликом. Герцфельде не разбирался в собаках и купил песика у одного злого немца, который, наверно, вскоре стал гитлеровцем. Малику был один год, и его детство прошло в неблагоприятной обстановке, особенно собака боялась ног, очевидно, ногами ее били. Это была чувствительная, добрая собака, но иногда она проявляла характер. В местечке Баньюльс мы глядели на танцы 14-го июля. Танцевали на берегу моря. Вдруг Малик исчез. Мы искали его часа два, потом, печальные, пошли в дом, который мы сняли за несколько дней до того. У двери сидел Малик: ждал нас. Он нашел дом, хотя путь был некоротким и путаным. В другое лето мы пошли в лес и оставили его дома — он ранил себе папу. Час спустя Малик нас нагнал — неся на трех лапах.

Малик-второй жив и здоров, ему уже около десяти лет, он не боится ног, но обоняние, или, как говорят, нюх у него прекрасный. Еще лифт не тронулся, а Малик у двери в великом волнении — на седьмом этаже он чувствует, что вернулся кто-либо из домашних. Бузу-второй чуял, когда ветеринар шел по другой стороне широкой улицы Горького, и начинал выть — он терпеть не мог лечиться.

Слух у собак тоже прекрасный. Моя шотландская овчарка Тайга различала гудки нашей машины за триста метров и неслась в дом сторожа — просила открыть ворота. Я не мог понять, чем отличался гудок моей машины от других, но Тайга это хорошо знала.

Собака живет недолго, и у знаменитого клоуна и дрессировщика В. Л. Дурова было в жизни много собак. Я помню, как в конце двадцатых годов одна его собака исполняла роль математика. Дуров говорил: «Три плюс четыре», — и собака приносила кубик с цифрой «7». «Восемь минус пять» — появлялся кубик с цифрой «3». Однажды Дуров сказал зрителям: «Собака не может считать, но она очень наблюдательна. Посмотрите внимательно — мое лицо меняется, когда собака проходит мимо нужного кубика». Четыре раза он повторил номер, и никто не заметил, как Дуров чуть поводит глазом. Последней любимицей Владимира Леонидовича была шотландская овчарка Рыжка. Она сидела на катафалке и, согласно воле покойного, присутствовала на похоронах.

У нас трудно гулять с собакой, приходится выбирать глухие переулки, заброшенные дворы. В день, когда я кончил роман «Буря», мне подарили щенка — скотч-терьера. Я назвал собачку именем любимой героини — Мадо. Однажды я шел по переулку и позвал: «Мадо!» Женщина возмущенно на меня посмотрела: «Как вам не стыдно называть собаку таким именем?» Я ей не объяснил, что я автор ро-

мана, молча привязал Мадо. Скотч-терьеры очень низенькие собаки — длинные, на коротких лапах. Женщина продолжала: «Большого уродства вы не могли найти?..» Я не выдержал и ответил: «До низкого роста нужно дорости».

У скотчей флегматический характер, они серьезные, даже степенные, а несколько похожие на них сельхам-терьеры веселы, непринужденны, и вот, будучи в Лондоне летом 1950 года, я выложил полагавшиеся мне суточные и купил щенка сельяма по имени Тимош, или, как мы его звали, Тимоша. Я не знал, как он отнесется к путешествию в самолете, пошел в аптеку и попросил клеенку для младенца. Продащица меня спросила: «Для мальчика или для девочки?» Я ответил, что это совершенно безразлично, но она строго мне разъяснила, что мальчику нужна голубая клеенка, а девочке розовая. Я купил голубую и держал Тимошу на коленях, но он был настолько потрясен происшедшим, что клеенка оказалась ненужной. Когда самолет приземлялся, у Тимоши заложило уши, он чуть скулил и пытался лапой почистить хотя бы одно ухо. Это был милый, веселый щенок, но он дожил всего до года и трагически погиб — съел во дворе крысиный яд. Мой друг Айвор Монтег решил меня утешить и прислал из Лондона взрослого сельяма — как Герцфельде, он не знал, что нельзя покупать в питомнике пса, которому полтора года.

В удостоверении ветеринара пес назывался Томсоном, а в родословной были зловеющие предсказания: его мать носила имя Месть, а его самого окрестили Ретрибушн, что в переводе на русский означает Возмездие. Пес не знал ни одного из этих имен, и мы его прозвали Томкой. Он оказался воистину возмездием. Я не знаю, как он жил в питомнике, но, видимо, очень скверно. Он был недоверчив, раздражителен и начал кусать своих. Вообще он представлял собой пса, больного манией преследования; у него был явный избыток бдительности, обращенный к домашним — с чужими он всегда бывал мил. Он жил в моей комнате, и я не выпускал его без предупреждения. Когда ему приносили еду, он долго не двигался с места, потом начинал обнюхивать миску, вытаскивал кусочки мяса, раскладывал их, снова обнюхивал и часа два спустя съедал. Он никого не подпускал к креслу, в котором я работал, но порой глаза у него краснели от гнева, и он не подпускал к креслу и меня. Он прожил у меня полтора года, а в начале 1953 года я отдал его специалисту дрессировщику, у которого находился огромный злой дог. Томка выдрессировал и дога, и дрессировщика, и его жену: они приспособились к его мании.

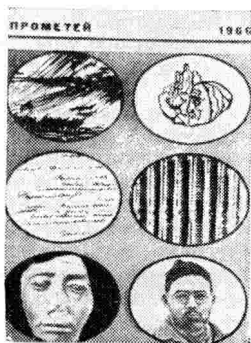
А Монтегю, сильно сконфуженный своим подарком, прислал мне в Вену в конце 1952 года милейшего сельяма Лю, или Люшку. Я мог бы рассказать и о Люшке, но, пожалуй, хватит: нельзя заполнять чересчур много места в «Юности» столь несерьезной темой, как воспоминания о собаках.

Иные читатели, наверно, удивятся: старик выжил из ума! Какая польза от собак? Эти рационалисты почерпнули свою несложную философию не столько у тургеневского Базарова, сколько у своего расторопного папаша. Я мог бы объяснить, что собаки бывают очень полезны, ремесел у них много. Но я скажу о самом важном: собаки — хорошие друзья, и они, хоть немного, помогают подростку и юноше стать человеком, а это совсем не просто, это, пожалуй, даже труднее, чем сдать на пятерку все экзамены и получить аттестат зрелости...

—

«Он был молод в свои 53 года и остался бы молод, сколько бы ни прожил на свете. Молод и ленинизм — от него веет мировой молодостью, веет колоссальным будущим впереди и безудержной молодеческой отвагой.

И если Ильич молод, то и молодежь должна быть «ильичевой» молодежью. Она должна проникнуться не только этой его заразной и родной для нее молодостью, но и мудростью Ленина, и осмысленностью, и умением делать выводы из седой культуры, приобретенной столетиями».



Так говорил в своем докладе «Ленин и молодежь», сделанном в дни прощания с Ильичем, А. В. Луначарский. Доклад опубликован в только что вышедшем первом томе альманаха «Прометей» (изд-во «Молодая гвардия»). Хороший заповедь для «Прометей», цель которого, как говорится в редакционном предисловии, знакомить молодого читателя «с биографиями и отдельными эпизодами из жизни множества людей — великих и обыкновенных, широко известных и совсем забытых».

Разнообразен состав нового издания. Тут и биография

Хемингуэя (жаль, неоконченная), написанная И. Кашиным, глубоким знатоком литературы... Виктор Шкловский пишет о виртуозе фотографии и монтажа Александре Родченко, а летчик-испытатель Марк Галлай — о знаменитом авиаконструкторе С. Лавочкине... Корней Чуковский рассказывает об А. Исаакяне, В. Качалове, С. Маршаке... Гипотеза о «Железной маске», таинственном узнике Бастилии... Страницы жизни Франсуа Вийона... Повествование Юрия Тынянова о русском якобинце графе Павле Строганове...

Прометеев огонь не гасим.

В. ПОЗДНЯКОВ

Жил на свете чудак, собравший и прочитавший великое множество книг. Звали его Николай Александрович Рубакин. Он прожил 84 года.

Но, может, он просто «отрядом книг установил полку, читал, читал, а все без толку...».

Толк был, да еще какой! Дело в том, что содержание книги не исчерпывается тем, что в ней написано. Ведь читатель сравнивает изображенное в книге с читанным раньше или узнаваемым в практике, и вот этот-то поток, процесс сравнений, и есть полное влияние книги на жизнь и поступки человека.

«Не следует придавать решающее значение «содержанию» книги, — писал Рубакин, — надо принимать в расчет прежде всего ее действие на читателей. А это действие всегда можно сделать революционизирующим, даже при помощи хотя бы и самой дозволенной книги и официально изданной. Для этого стоит лишь присмотреться к читателю, нащупать в нем ту точку чувства, эмоций и инстинкта, в которой сосредоточены его страдания от той или иной неурядицы существующего строя, и выбрать, предложить, подсунуть этому читателю как раз такую книгу, которая эту-то точку и разбередит и вместе с тем покажет, что излишне нелепые, но болезненные страдания причиняются тут самим строем жизни, а не чем иным».

В этих строчках — весь Рубакин, все содержание его колоссального труда, отданного просвещению народа во имя революции. Казалось бы, как это просто — лишь присмотреться к читателю! Рубакин «присматривался» всю жизнь — сам годами работал в библиотеке и изучал читательские интересы, рассылая специальные анкеты в тысячи адресов, вел переписку с сотнями частных лиц. Казалось бы, как



просто — «подсунуть» нужную книгу! Но чтобы найти нужную книгу в книжном океане, Рубакин изобрел его вдоль и поперек. Зная книги и зная читателей, он составил и разослал 15,000 программ по самообразованию, написал 280 научно-популярных книг по астрономии, биологии, географии, истории, физике, химии, которые разошлись по России в 15 миллионах экземпляров и были зачитаны не то что до дыр — стали библиографической редкостью. А в наиболее значительной его работе — «Среди книг» — во всем 22 тысячам книг, о которых рассказывал Рубакин, были приложены таблицы, и по ним читатель мог найти себе книгу, руководствуясь не только темой, но и своей подготовкой, склонностью и вкусом.

В. И. Ленин высоко оценил эту книгу. Он писал: «Ни одной солидной библиотеке без сочинения г-на Рубакина нельзя будет обойтись». Вместе с тем он критиковал некоторые недостатки книги.

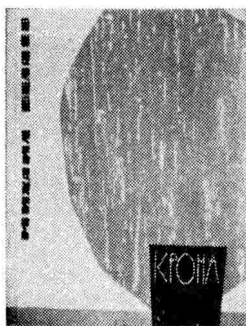
Самодержавие преследовало Рубакина, и после разгрома первой русской революции он был вынужден покинуть Россию, но его связь с Россией никогда не прерывалась. Почти 80 тысяч книг, собранных им, вернувшись, согласно завещанию собирателя, из Швейцарии и хранятся ныне в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина.

Удивительно цельную и в то же время полную острых противоречий жизнь прожил Рубакин. Подробно о ней рассказывает Лев Разгон в недавно вышедшей в издательстве «Знание» книге «Под шифром «Рб»».

Г. РЯБЦЕВА

Стихотворных сборников (если даже не брать в расчет переиздания) ежегодно выходит огромное количество. Но многие ли из них оказываются хоть в какой-то степени заметным явлением в поэзии? Не без некоторого скептического предубеждения

я взял в руки и сборник Михаила Беляева «Крона» (изд-во «Молодая гвардия»). И вправду, стихи, которые я успел пробежать глазами за первые минуты, меня уже стали расхолаживать, и я готов был отложить сборник в сторону, чтобы больше к нему не возвращаться. Но взгляд задержался на строчках: «Земле б от зноя дождем завеситься... Каплями звезды стекают с месяца». Перекинув страницу, читаю еще:



Этот лес нам вечность создавала

Из земли,
И неба,
И дождей.
Удивляйтесь жизни!
Очень мало
Жизни
Удивляемся
Своей.*

Мне уже захотелось дочитать сборник до конца. Поэтические находки радовали меня все чаще и чаще. «Светом выделены дома, светом вымощены дороги». Или: «Почки сбросили кожуру, словно кожаные ушанки». Или еще: «Рукам от яблук тяжело. Мы ловим их, как сгустки света». Читаю превосходные строчки о печи на строительстве в тайге:

Две вьюги мечутся:
Холодная снаружи
И жаркая, веселая — в печи.
Одна
Рабочим согревает ужин,
Другая
Студит
В трубах кирпичи.

Хорошо сказано поэтом и о речке, что вертится на замшелом мельничном колесе, о жерновах, похожих на белые планеты. Энергично звучат строчки:

Попробуй.
На пашне меня пошатни —
Планета
Со мной
Пошатнется...

В сборнике есть проходные и даже какие-то натужные стихотворения, но в нем многое радуется подлинной поэтической свежестью и емкостью. А это куда важнее того, если бы весь сборник состоял из средних — ни плохих и ни хороших — стихотворений.

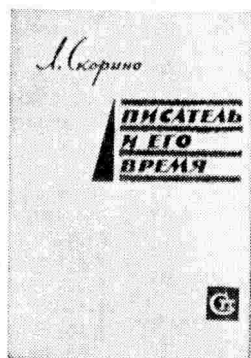
— Степан ЩИПАЧЕВ

Неужели вы не читали «Белеет парус одинокий»? Нет, читателей, которые не знают повесть Валентина Катаева, мы, пожалуй, не найдем. А «Хуторок в степи»? А многое и многое другое!..

И вот вышла подробнейшая, обстоятельнейшая книга об этом мастере советской литературы. «Писатель и его время. Жизнь и творчество В. П. Катаева» — так называется монография Л. Скорино (изд-во «Советский писатель»).

Это рассказ о первых шагах советской литературы, о борьбе старого с новым, о бурных годах гражданской войны, становлении Советской власти, о первой пятилетке и, наконец, о начале фашизма в Германии, о Великой Отечественной войне. Подняты огромные пласты литературного материала, запечатлевшего стык двух эпох. Лейтмотив книги — преемственность огней искусства и связь их с огнем эпохи.

Читаем о выступлениях группы молодежи (В. Катаев, Ю. Олеся, Э. Багрицкий, И. Ильф, Е. Петров, Л. Славин, З. Шишова, А. Адалис, С. Гехт и др.) в сатирической газете «Перо в спину», выходившей в Одессе с 1 января 1919 года еще во время англо-француз-



ской интервенции, о том, как они работали в агитпоездах, ходили голодные по хуторам агитировать за Советскую власть, как воевал Катаев в 1919 году в Красной армии...

Это не сухой перечень биографических данных и творческих достижений или неудач, а серьезное прочтение книг Валентина Катаева, чье творчество всеми своими корнями

крепко связано с грандиозной нашей эпохой. Правда, с тех пор, как вышла монография Л. Скорино, писатель вновь порадовал нас своим мастерством. Монография, следовательно, уже неполна... Но это-то и прекрасно!

Е. АВКСЕНТЬЕВСКАЯ

Имя украинского писателя Юрия Смолича знакомо советскому читателю. Его рассказы, повести, романы неоднократно переводились на



русский язык. И вот мы вновь встретились с его книгами «Мир хижинам, война дворцам» и «Ревет и стонет Днепр широкий» (изд-во «Советский писатель»), воскрешающими события революции на Украине.

«Ты строишь коммунизм, а они отдали жизнь за то, чтобы ты его мог построить. За твою жизнь и твое счастье. Наши первые коммунары.

Не забывай этого! И пусть никогда ни дети, ни внуки твои не забудут», — говорит писатель.

Диалогия Ю. Смолича — это книга об Украине, о народе, который под руководством партии большевиков встал на борьбу за свою свободу. Это книга о Киеве, о его славном революционном прошлом, о киевлянах, которые обессмертили себя январским восстанием арсенальцев 1918 года. Это книга о людях нашей партии — Коцюбинском, Андрее Иванове, Боженко, Гамарнике.

Несмотря на обилие реально действующих героев, перед нами — художественное произведение, живая память поколений.

А. КУРИЛОВ

● **Максим Штраух,**
народный артист СССР

Странная вещь: чем старше я становлюсь, тем больше я интересуюсь молодежными изданиями. До «Пионерской правды» я пока еще не дошел, но на «Московский комсомолец» и на «Юность» я уже подписался и с удовольствием их читаю.

Вот почему я осмеливаюсь предложить свой очерк об Эйзенштейне, поразительном художнике нашего времени, именно «Юности». Мне кажется, что для юных читателей этот очерк о его жизни будет небезынтересным и даже полезным.



СЕРЕЖА, СЕРГЕЙ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

*Ты слишком щедро одарен судьбой,
Чтоб совершенство умерло с тобой.*

6-й сонет ШЕКСПИРА.

Я пожалуй, не ошибусь, если скажу, что мне довелось быть знакомым с Эйзенштейном если не ближе всех, то, во всяком случае, дольше всех. Я хорошо знаю и помню его с детства — с тех пор, когда ему было 10 лет.

Мне хочется попытаться, по мере моих сил и способностей, вам обрисовать его, как человека и художника.

Когда я мысленно перебираю все свои встречи с ним и его творческую жизнь, передо мной встают как бы три разных Эйзенштейна.

Первый — это Сережа Эйзенштейн, мальчик с огромной стриженной головой, бегавший в коротеньких штанишках.

Второй — Сергей Эйзенштейн, юноша с пышной шевелюрой, художник и режиссер, завоевавший мировое имя в 27 лет.

И, наконец, третий — всем хорошо памятный — Сергей Михайлович Эйзенштейн, уже погрузневший, полысевший, профессор, доктор искусствоведческих наук.

Конечно, это были три разных внешних облика одной и той же удивительно цельной натуры, настолько цельной, что в его детские годы я всегда удивлялся: «Какой он для своих лет уже взрослый!» — а к концу его жизни не переставал поражаться: «Как он еще юн!»

Наша первая встреча произошла очень давно. Помню поросшие соснами песчаные дюны Рижского взморья. Вдоль них тянулся проспект, застроенный дачами. Это были пансионаты, где приезжие семьи могли снимать комнаты для летнего отдыха.

И вот в саду одного из таких пансионов я увидел однажды мальчика. Его звали Сережа Эйзенштейн. Интересно отметить, что впервые я его увидел не лазающим по деревьям и заборам, как это подобало бы делать каждому порядочному мальчишке его возраста. Я увидел его сидящим в саду, со склоненной над столиком большелобой стриженной головой. На столе лежала толстая тетрадь, куда он тушью заносил свои зарисовки. Рисование было излюбленным занятием, настоящей страстью Сережи. Он мог так просиживать целыми часами и без усталости рисовать все, что ему приходило в голову: жанровые сценки, отдельные фигуры, лица... он этих тетрадей нарисовал великое множество, ими был завален чердак городской квартиры. С восторженной выдумкой и огромным юмором, с уверенностью и мастерством профессионального художника набрасывал он свои рисунки, которые напоминали работы Буша и Гульбрансона из «Симплиссимуса». Это была какая-то бесконечная и непрерывная тренировка фантазии, еще в детстве заложившая основы неповторимого мастерства Эйзенштейна. Я об этом так подробно сейчас рассказываю, потому что профессия художника была его второй профессией и сыграла огромную роль в творчестве.

На снимке сверху: Максим Штраух и Сергей Эйзенштейн (1926 год).

В среде певцов широко распространено выражение — «ставить голос». А у художника Валентина Серова я как-то прочел не менее удачное определение — «ставить глаз». Эйзенштейн с детства «ставил свои глаз», упорно и неутомимо тренируя свою фантазию, зоркость, меткость, остроту наблюдения.

Несколько слов о его семье. Родители жили в разводе: мать — в Петербурге, отец, вместе с маленьким сыном, — в Риге. Он был гражданским инженером и архитектором города и строил безвкусные дома, в стиле плохого модерна. Однажды Сережа наивно спросил отца: «Папа, как тебе не стыдно строить такие ужасные дома?» Отец очень рассердился и сделал выговор гувернантке: «Почему так плохо воспитывается мой сын?»

Но в основном отец имел все основания гордиться им и нередко это даже афишировал. Находясь в обществе, он имел обыкновение подзывать мальчика. Происходил такой диалог: «Сережа, поди сюда». Сережа подходил: «Я, папа!» — «Сережа, скажи, как ты учишься, какой ты ученик в классе?» — «Первый, папа». Папаша торжествующе оглядывал окружающих: «Вы слышали?» — и отсылал первого ученика заниматься своим делом. Я был неоднократно свидетелем такой процедуры. Не знаю, насколько педагогично было такое поведение любящего родителя. Поглощенный своими делами, папаша мало внимания уделял своему сыну.

Мать Эйзенштейна, Юлия Ивановна, была дочерью русского купца первой гильдии. Дед Эйзенштейна в молодости гонял плоты по Шексне: прежде чем разбогатеть, он был сплавщиком леса.

Мать жила в Петербурге и любила сына издали. Она мечтала после окончания им реального училища отправить его путешествовать по маршруту, который казался ей необходимым для всестороннего образования сына — по этапам развития мировой человеческой культуры: сначала в Египет, в Месопотамию, в Грецию и Рим, а затем и в остальные страны Европы. Но этому плану не суждено было осуществиться: помешала война 14-го года. Вместе с эвакуацией Риги Сережа переехал к матери в Петроград и стал студентом Института гражданских инженеров.

Я убежден, что громкими словами надо пользоваться весьма экономно и осторожно. Но об Эйзенштейне можно смело сказать, что он был человеком гениальной одаренности. И силу этой одаренности можно было проследить уже с детства.

В школе он постоянно был «круглым пятерочником». Ему давались легко все школьные премудрости — и литература, и математика, и история, и языки. В десять лет он владел тремя иностранными языками, читал в подлиннике произведения классиков мировой литературы с той же легкостью, с какой впоследствии делал свои доклады на французском языке — в Сорбонне и на английском — в Оксфорде, в Берлине — на немецком.

За что бы он ни брался, он делал все на «пятерку». Будучи уже зрелым мастером, он мог одинаково талантливо применять свои силы в театре и в кино, как режиссер и художник, как теоретик и публицист. Я представляю себе, что он мог бы очень интересно планировать и строить дома и целые города, тем более, что он получил высшее, правда, неоконченное, образование гражданского инженера.

Это был всесторонне развитый человек и — я не боюсь это сказать — с энциклопедическим запасом знаний, которые он начал накапливать с малых лет.

В Сереже поражала его неуемная, поистине недетская страсть к книге. Он сам вспоминал впоследствии, как однажды, на празднике новогодней елки, он, кудрявый мальчик в белом костюмчике, среди го-

роха подарков увидел желтые корешки двух книг. Это была «История французской революции» Минье. И сразу же померк восторг, вызванный хрустальным великолепием елки, роскошью других подарков. Мальчик уткнулся носом внутрь желтых обложек. Беспредельная любовь к книге не покидала Эйзенштейна до последних дней его жизни.

Встречаясь каждое лето, мы с Эйзенштейном очень сдружились. Я привозил ему из Москвы театральные новости. В одно лето я приехал с рассказами о премьере «Синей птицы» Метерлинка в Художественном театре. Мы ее сейчас же разыграли сами. Я был режиссером, а Эйзенштейн у меня... играл. Он выбрал роль Огня — махал красной тряпкой, яростно фырчал и шипел, изображая огненную стихию. Потом мы поменялись ролями. Сережа ставил на дачной веранде гоголевскую «Коляску», где я играл у него Чертокуцкого.

Затем наступило увлечение цирком. Представления мы давали в саду полной программой, причем нагрузка была предельной — вдвоем приходилось изображать и людей и зверей. Это увлечение цирком сказалось впоследствии на первых работах Эйзенштейна в театре.

Корни будущей профессии режиссера можно было обнаружить уже в его первых детских играх и заня-



Сережа Эйзенштейн и Мака Штраух (1910 год).

тиях. Однажды Сережа смастерил на большом столе в саду такое сложное и замысловатое сооружение из песка, камней и веток, что взрослые окружили этот первый бессознательный режиссерский этюд на планировку, долго любовались и удивленно качали головой, недоумевая, откуда у мальчика могла появиться такая фантазия?

Мы, конечно, отдавали дань и чисто детским увлечениям. Когда выяснялось, что в пансионе к обеду готовится птица, мы устремлялись на кухню, выпрашивали перья ощипанных уток, гусей и индюшек и, смастерив из них головные уборы, с визгом носились по лесу, изображая индейцев. Так действовали на наше детское воображение рассказы Фенимора Купера.

Но, повторяю, хоть Сережа никогда и не выглядел заморенным вундеркиндом, главным в его детском облике была потрясающая, поистине недетская усидчивость.

Таким вот вспоминается мне мальчик Сережа Эйзенштейн.

В 1914 году нас разлучила война. Лет на шесть мы потеряли друг друга из виду. Я продолжал учиться в московской гимназии, и единственное, что я знал про Эйзенштейна, что он собирался по окончании училища поступить в Институт гражданских инженеров. Потом он рассказывал, что в эти годы много внимания он уделял технике, математике, архитектуре. Одновременно его не покидала любовь к театру, к цирку, к театрально-декоративной живописи. Но эти увлечения Эйзенштейн, как будущий инженер, считал несерьезными, побочными. Однако страсть к театру все росла, постепенно брала верх, и наконец возникло решение заняться театром параллельно с архитектурой. Сидя в строительных сооружениях, он занимался в свободное время планировкой разных пьес. На фронте он изучал японский язык, — чтобы ехать в Японию смотреть национальный театр «Кабуки», и в небольшой сравнительно срок выучил несколько тысяч слов и несколько сот иероглифов.

Грянула Великая Октябрьская революция. Среди хаоса войны и разрухи раздались и зазвучали новые лозунги, полные справедливых и смелых идей.

Я служил в Красной Армии, и по роду службы часто бывал вне Москвы в разъездах. Театр увлекал меня по-прежнему, и, возвращаясь в Москву, я всякий раз стремился прежде всего посмотреть упущенные спектакли.

В один из таких приездов я неожиданно встретился с Эйзенштейном. Наша встреча произошла при столь курьезных обстоятельствах, что мне трудно удержаться и не рассказать о ней. Однажды вечером я собрался пойти в Камерный театр. В ту пору билеты в театры доставать было трудно, и поэтому появились барышники, перепродававшие театральные билеты.

И вот с одним из таких барышников я было совсем уже столкнулся, как вдруг почувствовал на себе взгляд какого-то человека. Смотревший на меня был одет в военную форму. «Попался!» — подумал я и вошел в подъезд театра. Каково же было мое удивление и беспокойство, когда этот человек вновь появился невдалеке! Не сводя с меня пристального взгляда исподлобья, он продолжал наблюдать за мной. Я опять ушел. Он за мной. Так повторилось несколько раз. Наконец мой преследователь подошел ко мне и спросил неуверенно, не Штраух ли я?

Незнакомец, от которого я так старательно убегал, оказался... Эйзенштейном! Не мудрено, что мы друг друга не сразу узнали. Были мальчиками, стали юношами. К тому же он был непривычно для меня одет — солдатская шинель, на голове военная фуражка. Это был уже не Сережа, а Сергей Эйзенштейн. Он совсем недавно приехал в Москву с Западного фронта. На фронте он работал полевой фортификации, строил укрепления, составлял агитгруппы, расписывал стены агитпоездов.

Встреча со старым другом детства была бесконечно радостной для нас обоих. После спектакля, на который мы пошли уже вместе, мы до самого утра бродили по уснувшей Москве, делились пережитым, мечтали о будущем. Театр продолжал нас увлекать, и мы решили работать дальше совместно. Но для нас огромную важность представлял вопрос: «куда идти»? Мы могли, конечно, войти в сложившийся, почтенный театральный организм. Но мы были молоды, наши сердца были захвачены и увлечены революцией. Нам хотелось служить такому искусству,

которое отвечало бы боевым настроениям времени, которое было бы оружием в революционной борьбе. Мы хотели быть немедленно полезными общему делу!

Ах, как мне памятна эта ночь на Никитском бульваре — ночь, которая решила нашу судьбу в искусстве и определила нашу дальнейшую дорогу!

Решение Эйзенштейна идти в революционный театр было закономерным и глубоко органичным. Еще в детстве его волновали и увлекали эпохи великих революционных потрясений. «История французской революции» Минье, о которой я уже говорил, карикатуры Домье и Андре Жилля, фотографии опрокинутой Вандомской колонны, титанические фигуры Марата и Робеспьера, наконец, страстная проповедь Виктора Гюго — проповедь социальной справедливости — были одними из самых ярких впечатлений детства и ранней юности Эйзенштейна; позже, по его собственному признанию, на смену эпопеям Дюма выступает эпопея «Ругон-Маккаров» Золя, забирающая в свои цепкие лапы не только юношу, но уже начинающего совсем бессознательно формироваться будущего художника.

События Октября по-новому раскрыли перед ним мир, облекли в плоть и кровь отвлеченные понятия добра и зла, справедливости и несправедливости.

Мы решили поступить в Первый рабочий театр Пролеткульта. Эйзенштейн в качестве художника-декоратора, я — студийца-актера. Дебют Эйзенштейна в этом театре был ярким и своеобразным. Он сразу заставил говорить о себе всю театральную Москву. В качестве художника он оформил спектакль «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона. Декорации и костюмы, удачно созданные Эйзенштейном, не только предрешили успех спектакля, но и определили все его режиссерское решение. Надо сказать, что потом, когда он уже утвердил себя в положении режиссера-постановщика, профессия художника ему все время как бы сопутствовала: давая как режиссер точнейшие задания по декорациям, гриму и костюмам, он фактически воплощал в себе эту вторую профессию художника и делал все за него.

Вероятно, немногие хорошо представляют себе суровую, холодную и голодную Москву того времени. Несмотря на все трудности и лишения, тяга к культуре, к искусству была огромна. Закладывались основы нового, революционного искусства.

Если я в свое время привозил Эйзенштейну театральные новости, то на этот раз Эйзенштейн привез мне театральную новость из Петрограда, а именно — «Маскарад» Лермонтова в постановке Мейерхольда, в декорациях Головина и с музыкой Глазунова. Постановка эта произвела на Эйзенштейна огромное впечатление, и он с увлечением рассказывал о ней. Вот почему, когда на улицах Москвы появились агитки, извещавшие об открытии Государственных высших режиссерских мастерских, которыми должен был руководить Всеволод Мейерхольд, Эйзенштейн решил немедленно поступить туда, совмещая учение с работой в театре Пролеткульта. Правда, он пробыв там не так уж долго, потому что Мейерхольд, убедившись в его творческой зрелости, посоветовал ему скорее начать самостоятельную творческую жизнь.

Следующий спектакль Рабочего театра родился несколько своеобразно. Мы с Эйзенштейном во МХАТе смотрели «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Билетов не было, нас провел капельдир, мы сидели на ступеньках бельэтажа. И вот именно на этом спектакле у Эйзенштейна возникла



Сергей Эйзенштейн у афиши «Мудреца» после успешной премьеры (1923 год).

мысль — используя схему сюжета комедии Островского, перевести ее действие в сегодняшний день. Так был создан спектакль «Мудрец» — веселое, озорное, эстрадно-цирковое политобозрение на злобу дня.

Персонажи комедии были «осовременены». Мамаев стал Мамилюковым-Проливым (намек на известного кадета Милюкова, мечтавшего о завоевании Дарданелл). Гусар Курчаев расщепился и превратился в трио врангельских гусар, Крутицкий превратился во французского генерала Жоффра, Голутвин стал международным политическим авантюристом и т. д.

Спектакль этот, созданный уже целиком Эйзенштейном, основывался на приемах клоунады, эксцентрики, народного балагана. С утра до вечера мы на опилках обучались цирковым дисциплинам — акробатике, жонглижу, трапеции, искусству куплета. Нашими учителями были цирковые артисты.

Это крайнее увлечение жанрами, драматическому театру мало свойственными, имело для нас, актеров, одну, безусловно, положительную сторону — воспитывало стремление к четкой, чеканной работе, учило ненавидеть рыхлость и «приблизительность» формы в искусстве.

«Мудрец» шел в доме знаменитого купца Морозова на Воздвиженке, в одном из специально оборудованных для этого залов особняка. Сцену называли ареной, как в цирке, амфитеатром располагались места для зрителей. Теперь в этом приходится признаваться как в одном из грехов нашей молодости, потому что вряд ли заслуживает одобрения и подражания такое, мягко выражаясь, вольное обращение с классическим наследством. Но необходимо отметить, что даже самые эксцентрические трюки и аттракционы не были чисто внешними, чисто формальными. Эйзенштейн мечтал тогда о театре «такой эмоциональной насыщенности, когда, к примеру, удивление человека можно было бы выразить обратным салто-мортале».

Например, я играл в этом спектакле Мамаева. Мне показывали карикатуру, которую сделал на меня мой племянник. Я приходил в ярость, бросался на портрет головой вперед и... летел каскадом сквозь раму портрета, разрывая свое изображение. Или еще один пример. Дневник Глумова похищен Голутвиным и передан госпоже Мамаевой. Необходима напряженная

сцена. Голутвин говорил свои реплики, балансируя по горизонтальной проволоке. Напряжение, возникшее у зрителя при восприятии этого номера, невольно переносилось и на содержание диалога.

Работа Эйзенштейна в театре Пролеткульта подчинялась насущной задаче момента. Мы стремились откликнуться на каждое событие, и талант Эйзенштейна делал эти отклики яркими и острыми. Так, например, через месяц после того, как пришло известие о революции в Германии, мы уже показывали агитпесню Сергея Третьякова «Слышишь, Москва?», посвященную этим событиям.

Но рамки сценической площадки казались Эйзенштейну тесными. Он стремился перенести действие пьесы непосредственно в жизнь. В основу его следующего спектакля по пьесе того же Третьякова «Противогазы» — был положен случай, который произошел на Уральском газовом заводе. Эйзенштейн решил поставить этот спектакль непосредственно в цехе такого же газового завода в Москве. Не было ни сцены, ни декораций. Зрители сидели на скамейках, окружавших место действия, которое разворачивалось непосредственно у станков. Спектакль прошел всего четыре раза. Эта затея поначалу была с интересом встречена администрацией завода. Ей было лестно, что предприятие стало в центре такого внимания. Но уже после первого представления выяснилось, что мы им изрядно мешаем работать. Да и публике с непривычки было нестерпимо дышать газовыми отходами. Поэтому нас протерпели 4 спектакля, а потом любезно выпроводили.

Но спектакль этот, с моей точки зрения, был интересен тем, что именно он определил органический переход Эйзенштейна в кино, за пределы театра, в ту область, где заводы, улицы, площади, мосты сами становятся действующими лицами. Очень характерно то, что фотосъемка спектакля, которую с огромным увлечением проводил Эйзенштейн, походила уже на настоящую киносъемку — с поисками кадров, положения актера в кадре и т. п.

Так незаметно и, я бы сказал, очень органично осуществлялся переход Эйзенштейна из театра в кино.

Я позволил себе рассказать так подробно о детстве и юности Эйзенштейна, о его первых театральных постановках, потому что эти периоды его жизни наименее известны.

✱

Первый кинофильм Эйзенштейн делал еще с Пролеткультом, в нем принимала участие вся группа Рабочего театра. Это была «Стачка» — один из эпизодов задуманного цикла фильмов, посвященных истории рабочего движения. По существу, «Стачка» была смелой экспериментальной работой. Столкнувшись с новыми грандиозными возможностями, Эйзенштейн с нетерпением и какой-то неутолимой жаждой кинулся на поиски. Он как бы стремился раскрыть все тайны кинематографа, выжать все его возможности. Может быть, в «Стачке» были излишества, но этот эксперимент был совершенно необходим, потому что именно на базе его появился «Броненосец «Потемкин», в котором талант Эйзенштейна развернулся во всю мощь.

Фильм «Броненосец «Потемкин» так широко известен, о нем столько написано, что нет необходимости мне много о нем говорить. Хотелось только упомянуть, что рождался он как-то очень счастливо, дружно, на легком дыхании.

Поначалу — так же, как и в «Стачке», — была попытка охватить огромный материал революционной

эпохи 1905 года, попытка объять необъятное. Остепенила Эйзенштейна не собственная мудрость, которая пришла с годами, а... погода. Надвигавшаяся осень заставила нас перебазироваться в более солнечные края юга — в Одессу, и тем самым предопределился один из эпизодов 1905 года — восстание на броненосце «Потемкин».

Великое свойство, необходимое художнику, — уметь себя ограничивать. В молодости Эйзенштейн этого еще не умел делать. Он был ненасытен.

Справедливость требует сказать, что неуемный темперамент Эйзенштейна таил в себе и некоторую опасность. Он настолько увлекался поисками выразительных средств, что забывал иной раз о зрителе. Так было в «Стачке», с моей точки зрения, так было и потом в «Октябре». Он обрушивал на публику такую дозу впечатлений, что ее трудно было переварить. Для этого необходимы были усилия, на которые зритель не всегда бывает согласен, требуя, чтобы его кормили более удобоваримой пищей.

После «Стачки» Эйзенштейн ушел из театра Пролеткульта, и с ним ушли пять актеров, которые образовали единый в своем устремлении творческий коллектив. Мы работали очень дружно и спаянно. Один журналист, наблюдая за съемками, окрестил нас «железной пятеркой» Эйзенштейна. Мы ходили, как зебры, в полосатых футболках для того, чтобы быть хорошо распознаваемыми во время съемок огромных массовых сцен.

Мы ни от чего не отказывались и, если нужно, делали абсолютно все. Один раз даже самого Эйзенштейна положили в виде груза (как-никак около 80 кило) в коляску мотоцикла, чтобы не так трясло киноаппарат во время съемок с движения по гоночному треку.

С неиссякаемой энергией — не боюсь сказать вдохновенно — работали Эйзенштейн и оператор Эдуард Тиссе. Заражая всех окружающих и вовлекая их в стремительный темп своего движения, они без усталости носились по знаменитой одесской лестнице в 120 ступеней, находя все новые и новые выразительные возможности. Впоследствии многие кинорежиссеры и операторы пытались использовать в своих фильмах каскад одесской лестницы. Но Эйзенштейн так полно обыграл все планы и ракурсы, так, если можно выразиться, «облизал» киноаппаратом всю лестницу, что на долю его последователей не осталось буквально ничего. Можно было только повторять кадры Эйзенштейна или отказаться от своего замысла. Это умение использовать каждый материал до предела, до отказа очень характерно для Эйзенштейна как мастера.

До революции наше кино занималось производством картин преимущественно салонно-бульварного пошиба. Существовала даже такая точка зрения, что не все можно снимать в кино, потому что, видите ли, не все фотогенично. Снимались поэтому лакированные крышки роялей, блестящие поверхности автомобилей, элегантные дамы и всякие аксессуары «изящной жизни».

Практика Эйзенштейна опрокинула все эти «теории». Смело взявшись за новые для кино темы — темы рабочего движения, восстания 1905 года, — Эйзенштейн доказал, каким могучим идейным оружием может стать в руках советского художника самое важное из искусств — кино.

Но не только в овладении новыми темами заключалось новаторство Эйзенштейна. Он беспощадно ломал принципы кинематографической техники, которые всеми воспринимались со всей непреложностью закона. Вспоминается характерный эпизод. Одновре-

менно с «Потемкиным» в Одессе снималось еще несколько фильмов. И вот однажды рано утром, проснувшись, мы услышали сигналы: гудел маяк-ревун — порт был окутан туманом. Для всех режиссеров туман был своего рода «нелетной погодой» для съемок — они повернулись на другой бок и, как говорится, захрапели обратно. Эйзенштейн и Тиссе поступили иначе. Они бросились в порт и засняли чудесные кадры причала и мола, окутанных туманом, которые явились потом великолепной траурной увертюрой к эпизоду похорон Вакулинчука.

И еще одна деталь, которая мне кажется символической. Бросалось в глаза, что киноаппарат у режиссеров и операторов того времени вел довольно неподвижный, я бы сказал, склеротический, образ жизни. У Эйзенштейна аппарат вырывался из этой традиционной неподвижности. Как бы радуясь полученной свободе, он то взлетал на крыши и башенные краны, то распластывался по земле, то зарывался в нее. Аппарат в руках Эйзенштейна и Тиссе зажил напряженной и чрезвычайно динамической жизнью.

Сила поэтического и художественного воздействия «Потемкина» была огромна. Впечатление было такое, что делал картину не Эйзенштейн, не кинопостановочная группа, даже не кинофабрика, а делала картину вся Советская страна самим фактом своего существования.

В 1927 году, к десятилетию Великой Октябрьской революции, Эйзенштейн создал фильм «Октябрь», или «10 дней, которые потрясли мир». Это был огромный фильм, охватывающий события от февраля до взятия Зимнего дворца и Второго съезда Советов.

Несколько слов мне хочется сказать о пользовании «типажом», потому что вокруг этого вопроса возникло много ложных споров. Ложными и ничемными эти споры я считаю потому, что ничего страшного и вредного нет, если режиссер пользуется таким художественным методом. Точно так же нет ничего порочного, если режиссер поставит спектакль или политическое обозрение в стиле народного балагана, лубка или цирка. Грехи начинаются тогда, когда провозглашаются опрометчивые декларации и строятся ложные теории, что кинофильм можно снимать только при помощи типажа; что спектакли надо ставить только в цирковом разрезе; что театр изжил себя и режиссер поэтому должен уйти из театра и заниматься только кинофильмами.

Основой этих фильмов Эйзенштейна были исторические события. Есть, мне кажется, два пути изображения таких событий в искусстве. Можно взять группу людей — например, семью, несколько близких друзей и т. п. и в жизни этого маленького интимного общества, как в капле воды, отразить событие — показать, как оно влияет на судьбу, настроение, чувства и мысли каждого отдельного человека. Это один путь. А можно взять это же событие целиком, показать его во всем размахе, во всей грандиозности и внешней динамике. В своих первых фильмах Эйзенштейн шел именно таким путем. Поэтому его фильмы населены так густо. Каждый персонаж появляется на экране ненадолго, иногда буквально на несколько секунд. К примеру, так появляется в «Потемкине» мать с убитым мальчиком, раненая женщина с коляской, учительница с разбитым пенсне и т. д. Они возникают ровно настолько, насколько это помогает воспринять общее событие — расстрел на одесской лестнице. Типаж одним кадром должен предьявить свой паспорт. Как мы говорили тогда, не лицо, а целое мировоззрение.

И началась настоящая охота за людьми. Типаж искался и подбирался везде: на улицах, в трамваях,

в учреждениях, на съездах... Мы, как коршуны, гонимся по городу, выслеживая свои жертвы. Это было целое искусство. Ибо найти и выбрать — это еще только начало. Дальше начиналось главное: уговорить сниматься. Или уговорить мужа разрешить жене сниматься. Или уговорить сниматься именно ночью, если съемка ночная. Или прийти, несмотря на июльскую жару, сниматься в шубе. Или уговорить побрить усы, несмотря на то, что человек их носит всю свою жизнь. Или доказать, что сниматься в кино не противоречит евангелию. И так без конца.

Впрочем, в большинстве случаев обладатели необходимой для нас внешности легко и охотно соглашались принять участие в съемках. Предложите встречному на улице заняться изготовлением обуви. Он скажет: «Не умею». Пригласите его участвовать в спектакле — он уже поколеблется. Позовите сняться в кино — он будет польщен. Победит страстное желание видеть себя на экране. И вот мы, играя на этой слабой струнке человеческой психологии, заманивали людей на съемки.

Работая над фильмом, Эйзенштейн с головой погружался в материал. Перед тем как приступить к съемкам, мы месяцами встречались с теми людьми, жизнь которых нам предстояло снимать. Перед «Стачкой» у нас были интереснейшие беседы с революционерами, с поразительными людьми ленинской гвардии большевиков, с рабочими разных заводов. Эти встречи были для нас великолепной политической школой. А когда мы снимали «Старое и новое», мы сначала месяцами колесили по деревням Московской области. Нам тогда говорили в шутку, что мы должны состоять в профсоюзе работников земли и леса, а не работников искусств. Эта галерея людей, их судеб, поступков и характеров давала изумительный по полноте и многогранности материал для фильмов. Материал, почерпнутый в самой гуще жизни, был всегда неизмеримо больше, чем могла вместить картина.

Таким вот мне вспоминается второй этап жизни Эйзенштейна, когда я его воспринимал как Сергея Эйзенштейна.

Он обладал могучим темпераментом и феноменальной художественной потенцией. С какой силой и страстью он ворвался в область театра своим «Мексиканцем»! Это была не робкая проба пера, а смелый прыжок в неизведанную область. Его буквально распирало от обилия творческих замыслов. Уже в «Мудреце» он включил в ткань театрального представления кинематограф, засняв на пленку один из эпизодов спектакля. В «Стачке» он сказал так много нового, что трудно поверить в то, что это первый фильм молодого режиссера. Ему не терпелось — в «Потемкине» он раскрашивает красный флаг, как бы предвещающая появление цветного кино. В «Октябре» впервые в истории кино делает попытку показать образ Ленина.

Просто диву даешься: откуда все это? В папашу? Вряд ли. В мамашу? Тем более. В деда? Тоже нет. Так в кого же? Ответ один: в эпоху! Он был воистину дитя своего времени, сын своего века.



И наконец, перед нами Сергей Михайлович Эйзенштейн. Он вступает в период, который принято называть творческой зрелостью. Это уже художник, более мудро строящий композицию своих произведений, умеющий обуздывать и ограничивать свою неуемную фантазию. Теперь он много времени и сил уделяет теоретическим изысканиям и педагогике. Всему этому он отдавался

пылко и с огромным увлечением, без тени академической степенности и покоя. Его лекции во ВГИКе слушаются с захватывающим вниманием и интересом. Меня и мою жену, актрису Юдифь Глизер, он эксплуатировал в качестве подопытных кроликов, заставлял подробно рассказывать и показывать студентам, как мы работаем над ролью, вскрывать всю нашу творческую кухню.

Путь Эйзенштейна не был сплошь усыпан розами и лилиями. Были и просчеты, были и трагические минуты, которых могло и не быть. Эйзенштейн был не просто профессионалом. Он был экспериментатором, и очень смелым экспериментатором. А это всегда связано с риском. Первый человек, который вышел с зонтиком, был, говорят, побит камнями. Первый дирижер, который на концертной эстраде встал спиной к зрителю, был освистан.

Как мне не хватает Эйзенштейна сейчас, когда появился широкий экран! У меня возникает ощущение, что режиссеры, работающие сейчас для широкого экрана, не знают, что делать с этим проклятым пространством, которое появилось по бокам экрана. Хотя нет... Я помню один случай, когда возможности широкого экрана были использованы полностью! Я смотрел документальный фильм об Африке. Среди разных экзотических животных был показан бегемот. Он постепенно влезал сбоку в кадр, пока не заполнил собой все экранное пространство. Тогда я понял: ага! Вот для чего изобретен широкий экран!

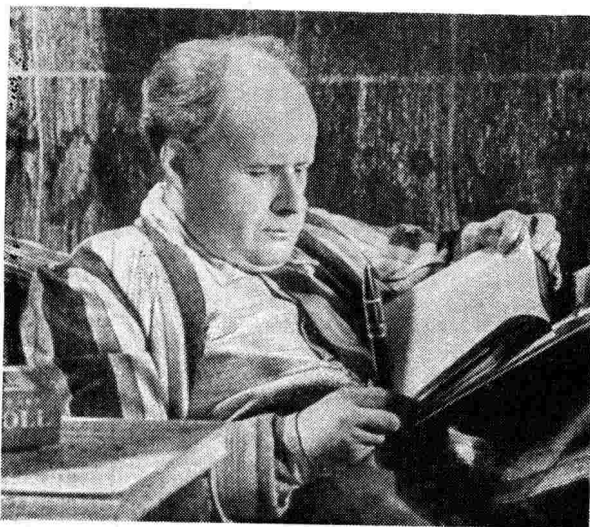
Да, если бы Эйзенштейн дожил до появления широкого экрана — уж он бы знал, что делать с этой роковой «мертвой зоной»! Говорят, что где-то даже появилась статья под таким названием — «Широкий экран ждет своего Эйзенштейна».

Я бы советовал прочесть текст выступления Эйзенштейна в Голливуде в 1930 году — «Динамический квадрат» (опубликован в сборнике «Вопросы киноискусства», вып. 4 за 1960 г.).

Эйзенштейн невероятно много знал. Его квартира поражала обилием и разнообразием собранных там книг. Это были книги по этнографии, педагогике, истории культуры, детективу, эмбриологии, теории относительности. Были книги с автографами Эйзенштейна, Бернарда Шоу, Теодора Драйзера... Каждая книга хранила множество закладок и пометок, причем пометок на четырех языках, потому что Эйзенштейн писал на том языке, который казался ему в данном случае наиболее подходящим. Все носило следы напряженной, ищущей работы мышления.

Его библиотека пополнялась непрерывно. Он охотился за книгами. Помню один характерный для Эйзенштейна эпизод. Открывался большой букинистический магазин на улице Горького. Эйзенштейн очень волновался: а вдруг кто-нибудь опередит его и перехватит интересную книгу? Чтобы этого не случилось, он всеми правдами и неправдами проник в магазин с черного хода накануне открытия... То-то было радости!

Еще один примечательный случай вспоминает известный кинорежиссер Михаил Ромм. Задумав поставить фильм по новелле Мопассана «Пышка», Ромм пришел к Эйзенштейну посоветоваться. Эйзенштейн, не говоря ни слова, подошел к полкам и одну за другой, так быстро, как будто они были давно приготовлены, вытащил несколько книг. Это была целая библиотечка — от критики на «Пышку» до истории французской прически. «Прочитайте, — сказал он Ромму, — вам это будет интересно». И действительно, в работе над фильмом книги оказали молодому режиссеру хорошую помощь.



Сергей Михайлович Эйзенштейн у себя в кабинете.
(1942 год, Алма-Ата, между съемками
«Ивана Грозного».)

Многие, очень многие обращались к нему за помощью и советом. Это была своего рода «скорая помощь» для художников.

И вот что мне еще хочется сказать, чтобы дополнить не только творческий, но и человеческий облик Эйзенштейна. Я никогда не замечал у него творческой зависти или ревности. Мне кажется, это происходило именно потому, что он сам был так богато одарен, что ему не нужно было никому завидовать. Он никогда не чувствовал в соседе конкурента и не тайл своих рабочих секретов. Многие режиссеры не начинали новой работы, не посоветовавшись предварительно с Эйзенштейном. Он любил и умел передавать молодым свои знания, свой богатейший опыт. Это было его органической потребностью.

А как он радовался появлению молодых талантов! Я никогда не забуду, как он прибежал один раз домой и возбужденно сказал: «Какой парень приехал с Украины! Какую чудесную картину показал!» Речь шла об Александре Довженко. Мне рассказывали потом, как Эйзенштейн бегал в фойе после просмотра, перебежал от группы к группе, проводя своего рода «агитационную работу».

Весь этот огромный груз человеческих познаний, который Эйзенштейн умудрился в таком количестве впитать в себя и приумножить с собственными изысканиями и практикой, его не тяготил. Он нес его и владел всеми своими духовными богатствами с удивительной легкостью и щедростью. И вообще он совсем не был похож на ученого, любил шутку и смех, постоянно острил и каламбурил.

У Эйзенштейна была одна особенность, которая мне кажется поучительной и достойной подражания. Он был чрезвычайно пытливым и любил всякое дело проверять на себе.

Он очень обрадовался, когда узнал, что среди студентов Пролеткульта один оказался портным по профессии, и стал немедленно брать у него уроки кройки и шитья. Он утверждал, что это совершенно необходимо знать не только художнику, но и каждому режиссеру. «Теперь мне легче будет разговаривать в пошивочных мастерских и добиваться нужной линии в покрое театрального костюма. Объяснить мне бу-

дет легче, да и за нос меня теперь никто не проведет!»

Когда Эйзенштейн работал еще художником в Пролеткульте и уже целился стать режиссером, он стал усердно посещать занятия по ритмике, пластике, акробатике, танцу, биомеханике — ему хотелось во что бы то ни стало познать механику движения на себе самом.

В самом начале тридцатых годов, будучи уже маститым кинорежиссером, Эйзенштейн счел недостаточными свои познания в области философских и общественных наук и по собственной инициативе стал ходить в Комкадемию, где мы подвергали себя познавательным беседам. Помнится, он соблазнился этими занятиями и Михаила Ромма, к которому питал симпатии и которого считал большим умницей.

Последние годы Эйзенштейн необычайно много работал над теорией киноискусства. Его деятельность была чрезвычайно разносторонней, но одним из главных его увлечений были поиски законов выразительности в человеческом образе, выразительности в построении кадра. Великий творец, он сам для себя был объектом поистине научного исследования. Он стремился осознать то, что на первый взгляд кажется недоступным осознанию, — процесс творчества.

Он спешил кончить свою работу. «Надо торопиться» — эти слова я часто слышал от него. Однажды он показал мне недописанный лист. Я увидел строчки быстро бегущего почерка. Одна из строчек неожиданно вдруг обрывалась, перо прочертило страшный зигзаг: это дала о себе знать точившая его болезнь и внезапной судорогой свела ему руку. Эйзенштейн хладнокровно отвел красным карандашом к полям стрелку и написал: «Это кривая моей болезни». И заторопился писать дальше.

Он чувствовал приближение смерти, и лозунг «Успеть, успеть!» пронизывал особенной интенсивностью последние годы его жизни.



Однажды на занятиях во ВГИКе один студент задал Эйзенштейну вопрос: «Скажите, как стать Эйзенштейном?»

Действительно, как Эйзенштейну удалось стать Эйзенштейном? Не знаю, как ответил сам Сергей Михайлович, но я бы попытался так ответить на вопрос, что сделало его великим художником нашего времени.

Во-первых, его необычайная природная одаренность. Я иногда просто удивлялся: как природа отпускает человеку такую огромную порцию одаренности? Но — интересное дело! Казалось бы, что при таком таланте Эйзенштейн мог бы позволить себе роскошь и избрать более легкий жизненный путь и существовать за счет того, что ему отпустила природа. Так нет же! Знавшие его люди могли только поражаться, каким трудовым напряжением была пронизана вся его жизнь!

О том, каким подвижническим трудом была наполнена жизнь Эйзенштейна, очень ярко говорила организованная в Москве выставка его рисунков. Это была совершенно необычная выставка. На ней экспонировались работы, не предназначенные для публичного обозрения. Это рабочие эскизы, внутренняя лаборатория, творческая кухня большого мастера.

Я сейчас вспомнил, что в первый и в последний раз в жизни я видел Эйзенштейна в совершенно одинаковой позе, хотя эти два момента разделяют добрые

40 лет. Это была рабочая поза, поза пишущего человека.

Он производил на меня впечатление «человека-фабрики», которая круглосуточно выбрасывает продукцию.

На ночь, ложась спать, он неизменно клал на тумбочку рядом с собой карандаш и бумагу, которая к утру обязательно пестрела пометками.

Я помню, как-то раз он позвонил ко мне домой и сказал: «У тебя на полке стоит греко-русский словарь. Ну-ка посмотри, что означает такое-то слово». Это было в 4 часа утра. Когда он работал, он не замечал времени и не смотрел на часы. Он работал во время болезни и во время «вынужденных посадок», когда самолет не мог лететь дальше. Он уплотнял свое время.

Этот напряженный, поистине титанический ежедневный труд — вот то второе, что сделало Эйзенштейна великим мастером искусства.

Но не только это. Большой природный талант, которым обладал Эйзенштейн, приумноженный и отточенный огромным трудом, он отдал без колебания пролетарской революции, советской эпохе. Он честно и до конца связал свою жизнь, свое творчество с жизнью народа.

В буржуазной прессе любят помуссировать вопрос о том, что в странах социализма у художников нет будто бы свободы творчества.

На примере творческой биографии Эйзенштейна легко опровергнуть это измышление. Надо только добросовестно проследить, какие темы выбирал он сам для своих работ, то есть сделать как бы тематический обзор его произведений.

«Стачка» — история рабочего движения.

«Броненосец «Потемкин» — революция 1905 года.

«10 дней, которые потрясли мир» — Октябрьская революция.

«Старое и новое» — коллективизация сельского хозяйства.

А его неосуществленные фильмы! В данном случае я не ставлю вопроса, почему именно они не были осуществлены. Важно то, какие темы его волновали.

«Джунго» — о Китайской революции.

«Конармия» — о гражданской войне.

«Ферганский канал» — о социалистическом переустройстве Средней Азии.

Он хотел экранизировать «Капитал» Маркса!

А возьмите его работу в Америке. Ведь это был бой, настоящий бой, который он провел с голливудскими дельцами. Он намеревался поставить «Американскую трагедию» Драйзера и свой «Стеклянный дом». Но хозяева студии не очень-то хотели на своих экранах решать столь остро поставленные в социальном отношении вопросы. Эйзенштейн не уступил своих позиций и уехал в Мексику, где начал работать над народной трагедией «Да здравствует Мексика!».

Он смело схватывал самые узловые, самые животрепетшие вопросы и брал их в основу своих произведений. Даже последние исторические фильмы, как «Александр Невский» и «Иван Грозный», которые, казалось, были далеки от действительности сегодняшнего дня, даже они были вызваны естественным интересом советского народа к своему прошлому, к становлению и развитию своего государства в связи с событиями тяжелых военных лет.

Когда я думаю об Эйзенштейне, именно эта сторона его творческого лица мне представляется наиболее интересной, существенной и решающей. Эта его идейная целеустремленность и верность темам большого социального звучания должна служить

примером. Ведь часто мы являемся свидетелями того, как талантливые художники в буржуазном обществе вынуждены расплескивать свои способности по мелочам.

Эйзенштейн мечтал о кино как о великом искусстве нашего социалистического века. Он искал органического сплава идеи, изображения, цвета и музыки. Он делал заявки, разрабатывал перспективы, прорубал дорогу...¹

Творчество Эйзенштейна — пример творческого подвига, полной отдачи своих творческих сил служению прогрессивным идеям нашего века. Для честного художника иного пути нет! В этом отношении творческий путь Эйзенштейна ясен и прям. И это — основное.

Итак, глубокий и своеобразный талант, помноженный на непрерывный труд и вдохновленный идеями Октябрьской революции, — вот что сделало Эйзенштейна Эйзенштейном!

Я очень люблю слова Энгельса об эпохе Возрождения: «Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености...» То же самое хочется сказать о нашем времени и об Эйзенштейне.

Великие люди принадлежат всему миру, а не только той стране, где они родились и работали.

Однажды, когда шли съемки фильма Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине» в Горках, где Ленин жил последние годы своей жизни, я в свободную минуту подключился к экскурсии и вновь пошел по комнатам мемориального дома. Не волноваться в Горках нельзя, потому что жизнь Ленина всегда поражает, восхищает, зовет, служит примером в жизни и борьбе. А когда вы приближаетесь к той комнате, где Ленин скончался, волнение достигает предела.

Среди множества газет, советских и иностранных, экспонированных в траурной комнате, и извещавших большими буквами о смерти Ленина, я увидел одну газету на немецком языке. Заголовок гласил:

«UNSER LENIN IST TOT»

«Наш Ленин»... Честное слово — комок подступил к горлу, и слезы навернулись на глаза...

«Наш Ленин» — писали иностранные демократические газеты.

«Notre Lenin est mort...»

«Our Lenin is dead...»

Я ощутил в этих коротких словах силу прекрасного и великого чувства братской пролетарской солидарности и гордости за то, что Ленин является не только для нас, советских людей, но и для других народов таким близким, родным и дорогим человеком.

Так происходит не только в области общественной жизни, но и в искусстве.

Художники, отдающие свое вдохновение, талант и знания на службу великим идеям Маркса — Энгельса — Ленина, сами становятся великими. Их искусство приобретает интернациональную силу и значение.

Жизнь и творчество Эйзенштейна — вдохновенное свидетельство этого.

¹ Очень интересны все его теоретические размышления по этому поводу. С ними можно ознакомиться по шеститомнику сочинений С. М. Эйзенштейна (изд-во «Искусство»).

Информационный взрыв в науке

Рисунки В. Зуйкова.

В конце книги известного английского ученого Дж. Бернала «Наука в истории общества» помещена таблица, подводящая итоги его рассуждениям о путях научного и технического прогресса.

В левой части таблицы — даты. В правой — главные открытия и изобретения, сделанные в ту или иную эпоху.

При изучении таблицы становится необычайно наглядным стремительно нарастающий темп научного и технического прогресса.

Три тысячи лет отделяют первые зеркала от первых теорем геометрической оптики. Еще полторы тысячи лет проходит до появления телескопов и микроскопов. Еще столетие — до создания теории света.

В той части таблицы, где представлен девятнадцатый век, еще сравнительно просторно: здесь свободно располагаются изобретения и открытия этого века — пароходы, железные дороги, автомобили, рентгеновские лучи... Но для таких эпохальных открытий, как электронные волны, радар, телевидение, антибиотики, пластмассы, комбайны и тракторы, термоэлектронная эмиссия и расщепление атома, автор таблицы едва находит место: все они оказались втиснутыми в несколько десятилетий. А ведь сюда же надо бы еще вместить и теорию относительности, и беспроводный телеграф, и аэропланы, и еще не существовавшие в то время, когда автор писал свою книгу, искусственные спутники Земли и космические корабли, и лазеры, и многое, многое другое, без чего немислимы ни наука, ни техника сегодняшнего дня.

Темп научно-технического прогресса продолжает нарастать. Но уже сейчас перед человечеством встала очень сложная проблема: как обеспечить людей информацией об уже достигнутых успехах, как довести до сведения всех заинтересованных то, что делается в сотнях тысяч лабораторий, как помочь ученому или инженеру найти нужную ему справку.

Чем больше мы знаем о мире, тем труднее ориентироваться в наших знаниях. А ведь такая ориентировка совершенно необходима. Если ученый задумал сделать новую работу, исследовать нечто новое, ему необходимо знать все, что уже сделано до него в этом направлении.

Наука и техника наращивают горы новых сведе-

ний, целая армия библиографов, авторов каталогов и справочников систематизирует новые факты, чтобы нужные сведения могли быть быстро найдены. И тем не менее ученые обеспокоены: количество информации нарастает так стремительно, что разобраться в ней становится очень трудно даже при помощи справочников и каталогов, а еще труднее прочитать и усвоить все то, что мы уже знаем.

НЕ НАДО ВЕРИТЬ НА СЛОВО!

За полчаса вы можете отыскать в библиотеке любую из миллионов книг. Но всей жизни вам не хватит на то, чтобы прочесть хотя бы три с половиной тысячи из них.

Мы говорим здесь о средних читателях. О тех, кто начинает читать книги лет в шесть и кончает, скажем, в семьдесят пять. О людях работающих, занимающихся немного спортом, во время отпуска предпочитающих полежать на берегу реки или на лесной поляне, ни о чем не думая и ничего не читая.

Примем, что наш условный читатель одолевает за день 50 страниц (для Толстого или Бальзака это много, для Агаты Кристи — мало, но мы берем среднюю норму). Пусть чтением книг он занимается триста дней в году, и пусть, как уже сказано, книги читаются им семьдесят лет.

В средней книге триста страниц. Арифметические подсчеты, которые приводят к выводу, что более трех с половиной тысяч книг прочитать невозможно, произведите сами: мы не хотим, чтобы вы верили нам на слово.

Мы привели только один пример — художественную литературу, которая адресована всем, всем, всем! Но на каждую такую книгу приходится десятки и сотни учебных и научных книг. Если из всей мировой литературы вы познакомитесь с книгами самых знаменитых писателей, а о тысячах других ничего даже не будете знать, особой беды не случится. Но если ученый ограничится знакомством с тысячной долей нужной ему научной информации, он рискует по меньшей мере тем, что ему придется заново проделывать исследования, которые были уже выполнены его предшественниками.

Наше сознание способно усваивать информацию лишь с определенной скоростью. Некоторые ученые определяют ее максимум в одну бит (единицу информации) в секунду. И если бы мы не спали, не ели, а двадцать четыре часа в сутки слушали, читали, вдыхали, осязали, впитывали всеми возможными путями новые сведения, то и в этом случае мимо нас проходило бы в десятки раз больше новых фактов и данных, чем мы успеваем бы запомнить и усвоить. Каждая книга, вероятно, кем-то когда-то читалась. Но вот мы сейчас приходим в библиотеку и в растерянности останавливаемся перед миллионом недоступных нам томов.

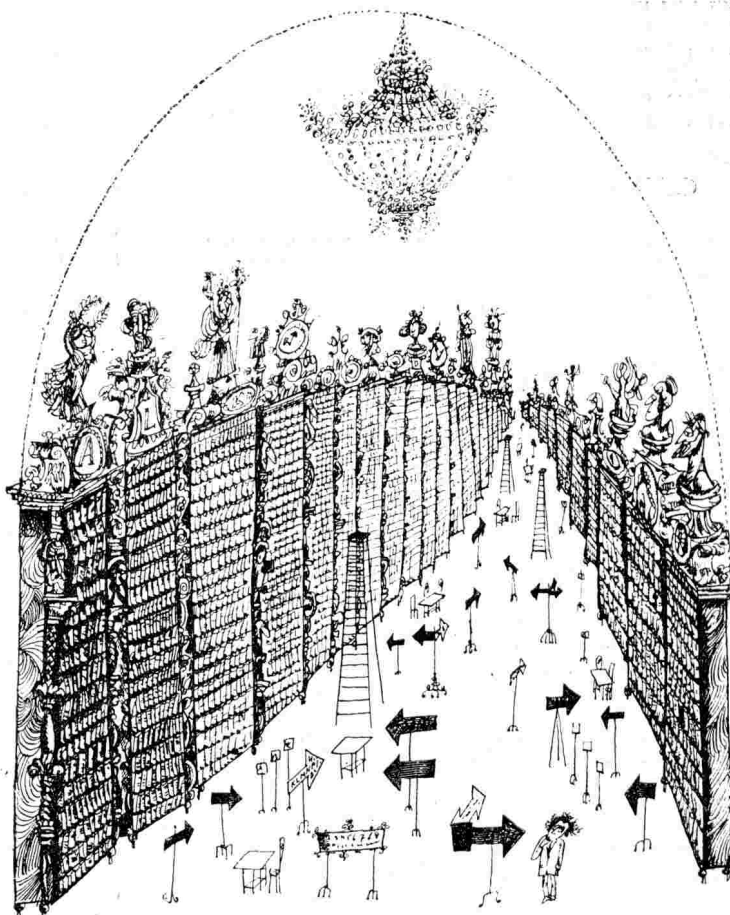
ТРИ ШАГА К БЕЗДНЕ

Споем гимн в честь каталогов Библиотеки имени В. И. Ленина: заглянув в картотеку, вы узнаете, сколько раз выходили при жизни Д. И. Менделеева «Основы химии» и сколько раз переиздавалась «Занимательная физика» Я. И. Перельмана. К вашим услугам перечень всех изданий книг А. Н. Толстого, полный список журналов, выпускавшихся Академией наук почти за два с половиной века ее существования.

Но сегодня нас не радует чудесная простота алфавитного каталога, где выстроился миллион книг от «А» до «Я». Мы пришли в библиотеку для того, чтобы прочитать о влиянии плотины Братской ГЭС на подстилающие ее горные породы. Где искать крайне нужные нам сведения, если мы не знаем фамилии автора книги, в которой они опубликованы?

Годы понадобились бы для просмотра всех алфавитных карточек и отбора книг, в которых могли бы оказаться нужные данные. К счастью, в том же зале есть еще и другой — систематический каталог. Правда, в нем нет раздела «Братская ГЭС»: электростанций тысячи, других крупных промышленных объектов сотни тысяч, и на каждый из них немислимо заводить собственный список литературы. Но мы не отчаиваемся. Возможно, что сведения о воздействии плотины на горные породы содержатся в книгах по инженерной геологии. Воспользовавшись «ключом» предметного каталога — вспомогательной картотекой, мы разыскиваем новые книги по этой науке. Наша решимость несколько поколеблена, когда выясняется, что для того, чтобы отыскать интересующие нас данные, придется просмотреть много десятков трудов, каждый из которых содержит сотни страниц. Мы чувствуем — что-то не в порядке: захотев выяснить какой-то важный, но частный вопрос, мы сделали шаг к краю бездны, на дне которой бушует поток информации.

Однако положение наше было бы не безнадежным, если бы мы могли обойтись курсами инженерной геологии. Но гораздо больше шансов, что нужная нам информация содержится в статьях, помещенных... Ах, если бы мы только знали, в каких журналах и за какой год! В библиотеке — хвала библиографам! — есть, правда, картотека журнальных статей. Однако мы не завидуем тем, кто роется в ней, — хорошо, если нужная статья называется «в лоб», но как быть, если о влиянии плотины на горные породы сообщено в



докладе, посвященном памяти академика В. И. Вернадского, одного из создателей инженерной геологии?

Выбрав, скажем, сто статей, с которыми следует познакомиться, мы не можем быть уверенными в том, что не учтенные нами источники не содержат еще более важных сведений. И сколько бы мы ни находили дополнительных источников информации, нас уже никогда не оставит страх, что нечто самое ценное пропущено нами. Ночью нам будут сниться обложки журналов, за обедом мы начнем лихорадочно вспоминать название статьи, о которой как-то упомянул наш сотрудник.

Сделан еще один шаг к краю бездны. Но пока мы еще не теряем надежды и настойчиво перебираем картотеку статей...

Но вот жизнь сыграла с вами злую шутку: вам в руки попала книга И. О. Яковского, в которой в 1889 году — до открытия электрона, до обнаружения радиоактивности — излагались интересные мысли о строении атомов. В каталоге не указана биография Яковского — она не написана. Книги по истории, химии и атомистике молчат о его работах. А вам захотелось узнать, как встретили современники Яковского его книгу? Как расценил его соображения о строении атомов Менделеев? Появлялись ли рецензии на труд Яковского? Кто были авторы этих рецензий? Что отвечал им Яковский?

Вот теперь вы пропали. Вы низверглись в бездну. Ни картотеки, ни указатели, ни сводки, ни справочни-

ки вам не помогут. Из читателей вы превращаетесь в исследователей и начинаете «раскопки за столом», куда более трудоемкие, чем раскопки древних курганов. Впрочем, если у вас есть год в запасе, если работа со старыми книгами — ваше призвание, то вы можете надеяться на успех.

ФАКТЫ, ФАКТЫ И ЕЩЕ РАЗ ФАКТЫ

В 1700 году во всем мире издавалось пять научных журналов, общий объем которых составлял около 2000 страниц в год. В 1900 году число журналов увеличилось до десяти тысяч, а их объем стал выражаться семизначными числами. К 1960 году в списках научных журналов было уже пятьдесят тысяч названий, а в 1965 году — восемьдесят тысяч.

Если бы дело и дальше пошло так, то к концу нашего века стало бы выпускаться несколько миллионов журналов!

В 1965 году в помощь ученым выходило полторы тысячи реферативных журналов. Только в одном из них, в знаменитом старейшем немецком химическом реферативном журнале, помещались краткие резюме почти ста тысяч статей, появившихся более чем в трех тысячах специальных химических журналов. Но теперь химических журналов более семи тысяч! Значит, огромная часть химической информации не попадает на страницы реферативного журнала, и, если ученый хочет уследить за ней, он должен листать журналы на всех языках мира. Сколько часов в день ему понадобится для этого?

Честно говоря, мы этого не знаем. В 1830 году немецкий реферативный журнал проконспектировал четыреста статей по химии, и для ознакомления с этими конспектами было бы достаточно двух часов в месяц. Теперь, когда число помещаемых ежегодно рефератов приближается к ста тысячам, ученому потребовалось бы тратить примерно по десять часов в день только на то, чтобы проглядеть... не сами журналы, а всего лишь рефераты статей, помещенные всего лишь в одном реферативном журнале, который рефератирует всего лишь три тысячи изданий из семи, освещающих проблемы химии!

...Население земного шара удваивается сейчас за 35 лет, число ученых возрастает вдвое каждые 15 лет, а удвоение количества научно-технической информации происходит каждые 10 лет. Возможно, что вы не полностью сознаете, какая в этом таится угроза. Поясним: если сохранятся такие темпы роста, то через 200 лет на земле будет жить свыше 100 миллиардов человек (рост в 30 раз), из них — 24 миллиарда ученых (рост в 8 тысяч раз). Каждый четвертый житель земли станет заниматься научной работой! Что же касается научно-технической информации, то ее через 200 лет будет в 1 000 000 раз больше, чем теперь, и вместо миллионов книг и журналов в книгохранилищах придется держать триллионы «печатных единиц».

Вам еще не хочется закричать: караул?!

Конечно, крупные события никогда не потонут в морях информации. Статьи и книги, содержащие сообщения об открытиях, которые могут изменить способы производства, средства сообщения, вообще оказать значительное воздействие на развитие науки и техники, не дожидаются на полках библиотек, пока их обнаружат удачливые специалисты, они немедленно попадают на выставки «новинок».

Огромную роль играют обобщающие монографии, которые систематизируют наиболее важный матери-

ал по отдельному вопросу, и личное общение ученых между собой на всевозможных симпозиумах, конференциях, съездах, семинарах, в летних или зимних школах и многих других собраниях. Самый древний способ передачи информации путем личного контакта даже в наше механизированное время не потерял своего огромного значения.

Однако научный прогресс зависит не только от открытий великих ученых. Упорная, кропотливая работа тысяч тружеников науки имеет не меньшее значение. А вот о ее результатах уже не кричат громкоговорители на площадях городов. До итогов этой незаметной работы трудно докопаться даже специалистам. Как же все-таки быть, чтобы им не работать впустую?

ДАЙДЖЕСТЫ И РЕФЕРАТЫ

По отношению к художественной литературе «выход» предложен западной, главным образом американской прессой: романы Толстого, Стендаля, Диккенса втискиваются в двадцать-тридцать страниц дайджеста, воспроизводящего канву огромного литературного полотна.

Мы целиком отвергаем этот путь. Мы справедливо считаем, что лучше прочесть в оригинале или в хороших переводах тысячу книг великих писателей, чем получить искаженное представление о ста тысячах их романов. Но то, что неприемлемо при знакомстве с художественной литературой, может устроить при освоении научной информации: очень часто исследователю достаточно установить, содержит ли та или иная статья нужные для него сведения, или эту статью можно и не читать.

Дайджест — этот своеобразный реферат художественного произведения — безусловно вреден. Реферат научной работы может быть полезен даже в том случае, если он не полностью отражает содержание статьи.

Чем определяются размеры дайджестов? Во-первых, тем, что дайджест должен свободно помещаться в дамской сумочке или в кармане пиджака, а во-вторых, тем, что его прочитают, как правило, во время поездки в пригородном поезде или метро: количество страниц лимитируется десятью, много — двадцатью минутами чтения.

А какой должна быть величина реферата?

Слишком обширный реферат потеряет право на существование: лучше уж прочитать самую статью, чем ее пространное изложение. Очень краткий реферат не вместит даже принципиально несокращаемую информацию: различные формулы, даты, географические названия, имена исследователей и тому подобные сведения, содержащиеся в статье.

В результате пишут рефераты средние, которые очень помогают, пока их количество измеряется сотнями или тысячами. Но сто тысяч рефератов так же невозможно прочесть, как и сто тысяч статей. Чтобы освоить накопленную человечеством информацию, нужны не рефераты, а сверхметоды хранения и передачи информации. Однако прежде чем начать рассуждать о сверхметодах, зададимся вопросом: так ли уж необходимо ученому знать все обо всем?

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ — БЛАГО ИЛИ ЗЛО?

Легко представить себе рабочий стол Ньютона, заваленный всеми научными журналами за много лет: в 1700 году их было всего пять.

Немыслимо даже вообразить книгохранилище исследовательского института, в котором собраны под-

шивки всех научно-технических периодических изданий нашего времени.

К счастью, семь тысяч химических журналов могут отсутствовать в институтах археологии, математики, географии и литературы. Медицинские журналы не интересуют химиков. Книжки и журналы по инженерной геологии вряд ли пользуются спросом среди специалистов по холодной обработке металлов.

Нельзя быть мастером на все руки, невозможно, да и не нужно, быть эрудитом во всех областях науки и техники. Специализация ученых, казалось бы, должна внести существенные поправки в наши с вами подсчеты. Увы, это не так. Объем литературы по таким разделам, как «акустика» или «ядерная физика», уже намного превысил возможности отдельного человека. К тому же, в то время как научные дисциплины дробятся на тысячи частей, на границах различных наук возникают новые направления, для разработки которых нужно быть «двойными», «тройными» и даже «пятерными» специалистами.

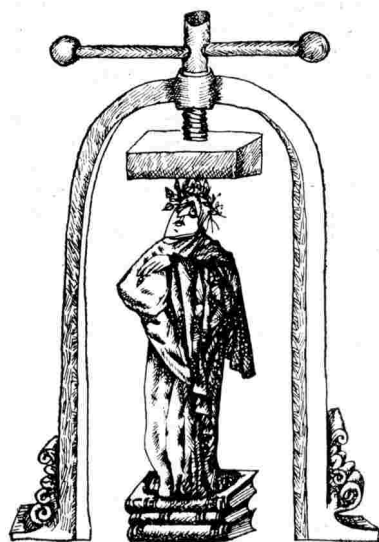
Не беремся описать наглядную модель такого двудеиного развития науки. Но пока молодые биологи, только что окончившие институты, еще по старой привычке расходятся по кабинетам и лабораториям, чтобы в одних из них отдать свои силы изучению комаров всего мира, в других исследовать особенности нематод, в третьих заняться систематизацией пыльцы ископаемых папоротников, а в четвертых синтезировать дыхательные ферменты одноклеточных водорослей, выясняется, что все они должны овладеть основами кибернетики, что всех их начинают волновать проблемы бионики и что всем не хватает математической подготовки, всем необходимо быть в курсе многих физических исследований.

Что же с нами будет дальше? В чем искать спасение?

КОНЕЧНО ЖЕ, В ЭЛЕКТРОНИКЕ!

Огромное количество информации необходимо перерабатывать не только для научных исследований, но и для того, чтобы управлять народным хозяйством.

Академик А. А. Дородницын недавно писал: «Для



современного хозяйства число укрупненных групп предметов (речь идет именно об укрупненных группах, а не об отдельных видах продукции) измеряется сотнями тысяч наименований. Производство продуктов тех или иных групп взаимно связано. Если попытаться арифметически выразить масштабы этих связей, то можно сказать, что между этими группами существуют по крайней мере миллиарды связей. И все они должны быть учтены в плане».

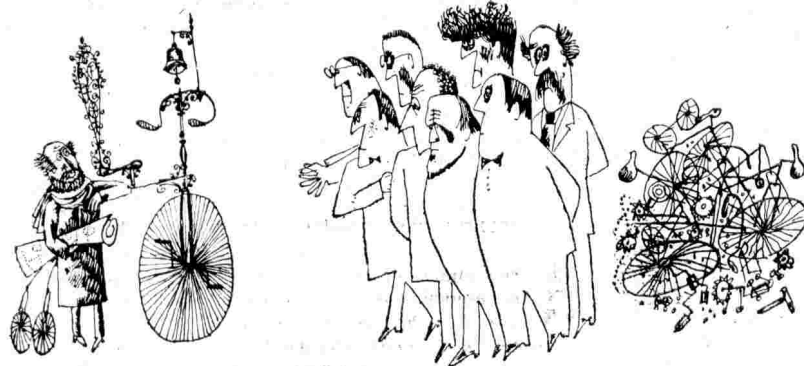
Сложить, перемножить, вычесть и разделить в различных сочетаниях миллионы миллионов больших чисел с помощью счетов и арифмометров просто немислимо. Мощные электронные вычислительные машины легко справились бы с такой задачей, если только... сообщить им, в каком порядке нужно производить те или иные действия, то есть суметь запрограммировать все стадии решения «миллиардночисленной» задачи.

О том, как это трудно сделать, рассказал недавно другой ученый, академик В. М. Глушков: «Если раньше программы, состоящие из 1—2 тыс. инструкций, считались достаточно сложными, то средняя система программ для завода небольшого мощности (заметьте: только для одного небольшого завода, а не для всего народного хозяйства) включает тысячи и даже десятки тысяч приказов. Подготовка каждой такой программы очень трудоемка. ...Практически это была бы неразрешимая задача, если бы не большая типизация программ. Дело в том, что если заранее составить программу для какого-нибудь крупного предприятия, то ее можно почти без переделок или с минимальными переделками использовать для большинства родственных предприятий».

С каждым годом растет число электронно-вычислительных машин (ЭВМ), используемых в народном хозяйстве, и с каждым годом все большее количество научно-технической информации усваивается их запоминающими устройствами. «Память» машин разительно отличается от книгохранилищ: электронные вычислительные машины не просто накапливают сведения, они перерабатывают их и, что очень важно, могут выдавать по нашему требованию в самых различных сочетаниях.

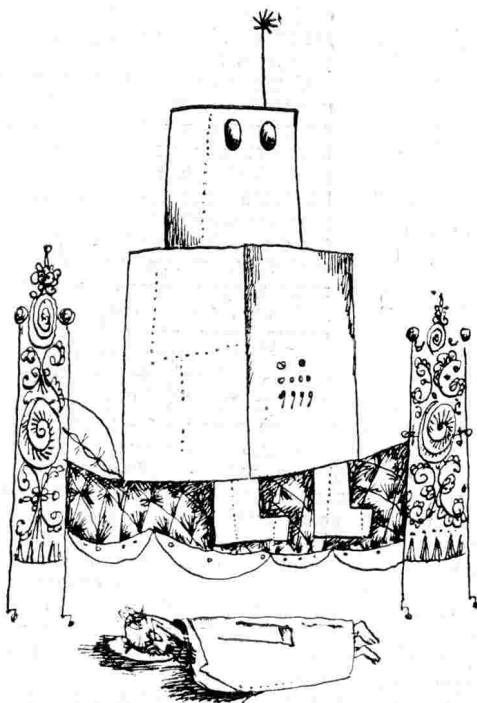
ЭВМ можно приказать: сообщи названия всех статей 1965 года, в которых содержатся сведения о производстве полиэтилена. От нее можно потребовать также, чтобы из всех материалов о полиэтилене были выбраны такие, в которых имеется информация о полиэтилене высокого давления. И, наконец, электронная вычислительная машина, в которую вложена информация о всех работах по полимерным материалам, может сообщить нам, имеются ли среди многочисленных сортов полиэтилена такие, которые выдерживают температуру в 150 градусов.

Уже сейчас, в самом начале эры кибернетических машин,



мы можем в очень большой степени облегчить труд ученого по сбору и анализу нужной ему научно-технической информации. И не требуется быть фантастом, чтобы предвидеть, что в ближайшие годы книгохранилища, патентные бюро и другие «информационные центры» будут работать в тесном контакте с вычислительными центрами страны.

Но тут возникает новое сомнение: еще ни один математик не сумел запрограммировать процесс чтения книг. Машине нельзя сказать: прочти сто ты-



сяч книг и сделай из того, что ты вычитала, все возможные выводы: машины пока еще работают по четкой программе. Они отвечают на ясно сформулированные вопросы, а для того, чтобы поставить вопрос, часто нужно проделать большую половину работы, необходимой для получения на него ответа. Если даже удастся научить машину «читать» книги, она увидит в них только то, на что заранее будет направлено ее внимание.

Вся электронная техника, поставленная на службу информации, не в силах пока заменить мозг даже одного мыслителя. По этой причине ей отводится хотя и почетная, но вспомогательная роль в решении проблемы «человечество и информация».

А как представляется сотрудничество с ЭВМ? Когда ученому нужны какие-либо сведения, он идет в библиотеку и сам или с помощью библиографа находит ту или иную статью или книгу. К каждой статье или книге обычно прилагается солидный перечень источников. Ученый обычно выписывает особо интересные ему журналы на дом. Так или иначе, но каждый раз он обращается за справкой к первоисточнику. А как быть с электронными машинами? Неужели у каждого исследователя появится собственный электронный шкаф, как сейчас есть у него пишущая машинка, магнитофон и другая оргтехника индивидуального назначения? Или тысячи ученых

будут выстраиваться в длинные очереди у ворот вычислительно-справочных центров?

Интересные идеи по этому поводу есть у специалистов ГДР. Им рисуется всемирный информационный электронно-кибернетический центр, из которого систематизированная информация в закодированном виде будет поступать в промежуточные специализированные информационные центры. Здесь эта информация «впитается» мозгом ЭВМ меньшей мощности и более узко запрограммированным. Еще несколько промежуточных ступенек — и где-то в районе концентрации химических заводов и лабораторий окажется машина, мозг которой будет содержать только химическую информацию определенного профиля. Но и это еще не все. Группа квалифицированных информаторов — сотрудников особой службы информации — будет подбирать определенные данные, которые могут представить интерес для работников такого-то завода, не дожидаясь запроса: информация начнет опережать потребность в ней. Она станет наталкивать ученых на новые идеи, подсказывать им новые решения научных проблем. Видимо, скоро появится новая массовая профессия информаторов разной квалификации и профиля: инженер-информатор, оргинформатор, информатор-биолог и т. д.

Заманчивая, но, увы, еще не слишком реальная перспектива! Нет пока ни всемирной службы информации, ни четких представлений о том, как она должна быть организована.

МЫ НЕ МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ

Не надо думать, что трудности в освоении информации могут когда-нибудь остановить развитие науки. Нет, конечно, этой опасности возникнуть не может. Но коэффициент полезного действия научной работы, которая все больше становится непосредственной производительной силой общества и вовлекает в свою орбиту все большее количество людей, будет значительно меньше, чем он должен был бы быть. Это крайне нежелательно.

Но как же тогда быть?

Не знаем. Как долететь до ближайшей звезды? Не знаем. Какова разгадка тунгусского «дива»? Не знаем. Очень многие научно-популярные статьи нельзя дописать до конца, потому что сама наука еще не решила ту или иную проблему.

Ясно, что чтение научной литературы — это большое искусство: беспорядочный поиск нужных вам сведений бесперспективен.

Ясно, что составление справочников, каталогов, сводок, обзоров статей, организация консультаций, выпуск реферативных журналов, установка в библиотеках и институтах информации электронных машин, могущих хранить в своей памяти огромное количество сведений об опубликованных результатах исследований — все это имеет не меньшее значение для быстрого развития науки и техники, чем создание десятков новых научно-исследовательских центров.

Ясно, что очень важны работы тех ученых, которые пытаются найти новый способ фиксации, закрепления, хранения информации, чтобы сделать ее доступной одновременно и людям и электронным машинам.

Ясно, что сами книгохранилища должны быть реорганизованы так, чтобы стало легче добираться до источников, погребенных на их полках.

Неясно, однако, как при всем этом будет решена проблема «человечество и информация».

Вот почему у нашей статьи нет конца: мы сами хотели бы знать, как ее можно закончить.



«КУДА ТЫ СКАЧЕШЬ, ГОРДЫЙ КОНЬ...»

(К 250-летию
со дня рождения
Этьенна Фальконе)

Он уехал из Петербурга и из России, не дождавшись торжественного открытия памятника, созданного им. Что вновь повело его в дальнюю дорогу — тоска по оставленной родине, желание покоя? Кто скажет, кто ответит?... Покинув Россию, стареющий Фальконе почти уже не касался глины и резца, доверяя бумаге свои воззрения на искусство, приходя к мыслям, близким Дидро. Жизнь угасала, время медлило...

А на широкой площади возле полноводной Невы в вечном движении вознесся его Медный Всадник — неукротимый, отдавший необозримым пространствам звон громких конских копыт, да так и замерший, очарованный красотой далей, ждущих деяний.

«Созидателя, законодателя, благодетеля своей страны», по собственному признанию, воплощал Фальконе в образе Петра Первого неведомого ему российского плотника на троне, монарха и воина. История давно уже разобралась в своих архивах. Всему и каждому воздано должное во всей мере сложности и истинности. Потому-то уже без сословного поклонения, кан-то по-новому чисто и прекрасно видится нами это дерзновенное творение — детище благородных грез о праведных преобразованиях, достойных устремлениях, красоте и мощи человеческих страстей.

Француз Этьенн Фальконе (1716—1791) был сыном столяра. Резьбой он увлекался с детства. Стал скульптором и имел успех. Им двинулось вперед производство знаменитых севских статуэток — интимно изящных, холодно-вато-изысканных. Статуи Фальконе, хранящиеся в парижском Лувре и ленинградском Эрмитаже,



Этьенн Фальконе.
Портрет работы М. А. Колто.



ласкают взгляд классической чистотой формы и не утраченной еще чувственностью рококо.

«Купальщица», «Нимфа источника»... Сколько подобных созданий скульптора встало в ряд с другими современными, чтобы провозгласить начало стиля классицизма и стать частью большого предисловия! Но в Фальконе жил титан. В Фальконе жил гений, но не одной ночи, а одного творения.

Волею счастливых судеб 50-летний мастер в 1766 году призывается в Россию, чья императрица еще вела игру с витающими над миром идеалами просветителей. Фальконе представился случай создать нечто необычайное, редкое, совершенное по замыслу, размаху, техническому исполнению. Талант его созрел к этому, силы преисполнились действием, дело пошло, за двенадцать лет совершившись к удовлетворению. Но какой труд откладывался в каждом часе, в каждом дне! Его описание стало бы повестью об усилиях, терзаниях, находках, которые Фальконе разделил с помощ-

никами, в том числе и с русскими мастеровыми людьми.

Медный Всадник рождался на сломе эпох. Его окрестил отзыв Радищева, к нему пришли бессмертные декабристы... Здесь страдал и поднял бунт пушкинский Евгений...

Помня все, мы вновь и вновь смотрим на величественное создание искусства, радостно приобщаясь к запечатленной в нем разумной воле, бескорыстному таланту, умному упорству действия.

Мы вбираем в себя величавую мощь формы, ее динамику, каждый миг возникающие в восприятии заново, удивляющие. Классика — это стих, знаемый наизусть всяким поколением и чарующий первозданностью, возникновением. Медный Всадник прорвался к нам через века. Он волнующе призывает к себе взгляд, дарит нам ко многому обязывающее чувство прекрасного. Он навеки слит с тем безмерным, чье имя Россия.

Иван КУПЦОВ



ПЯТЕРКА ПО ЧЕРЧЕНИЮ

Среди многих его набросков и эскизов я обратил внимание на карандашный рисунок, сделанный Кувшиновым по памяти. Сосновый лес на высоком берегу дельты Одера. Вдали плещется Балтийское море. Немецкая грузовая машина, брошенная в воде. На этой машине прятался вражеский наблюдатель и корректировал огонь. Это место последнего боя Кувшинова.

Ранней весной, за двадцать девять дней до победы, капитан Виктор Кувшинов сдерживал атаки немцев: пулеметный расчет погиб, и он сам взялся за станковый пулемет. Три немецкие гранаты, брошенные в окоп, успел выбросить обратно. Четвертая разорвалась в руке.

Польский врач, оперировавший его, вытащил из тела тридцать один осколок. Руки спасти не удалось: правая ампутирована выше локтя, левая — чуть ниже.

Виктору Кувшинову не было в то время и двадцати двух лет.

— Первое, чему я решил научиться, — рассказывает он, — отгибать и вытаскивать зубами чеку из гранаты «Ф-1» — из «лимонки», попросту говоря. Удобная штука, чтобы с жизнью счеты свести... Наш госпиталь в Познаньской цитадели размещался, где недавно прошли бои, и такого добра, как «лимонки», хватало. Я ушел в лес с гранатой, чеку зубами отогнул — осталось только вытащить... Польский крестьянин откуда-то появился. «Дзень добры, — говорит. — Покой...» Мир, значит. Я — бегом в госпиталь. Там стреляют, смеются, плачут... Любопытно стало: как же здесь без меня будет? Как на земле без меня будет?..

...Чем измеряется человек? Смотрю на десятки картин Кувшинова: сотни эскизов к ним. Я не стану вас уверять, что он пишет

лучше Репина. Нет. Но среди всех прочих талантов человека есть еще талант борца, без которого само понятие «человек» неполно. Рисовать, поддерживая карандаш зубами, каждому ли это под силу?

Мы говорим с Виктором Николаевичем о генерале Бибикове, потерявшем руку в Бородинском сражении, что позже не помешало ему стать непревзойденным в России бильярдистом. А Кувшинов своей жизни не представляет без рисования.

Два года назад он окончил вечернюю школу. Карандашные наброски встречаются даже в тетрадях по алгебре — рисовал на уроках. Все удивлялись: своих нынешних одноклассников, и не нюхавших пороха, Кувшинов неизменно одевал в военную форму солдат и офицеров, иногда — в немецкие мундиры. Готовил эскизы к будущей картине. Учитель математики строчил у него из пулемета Дегтярева.

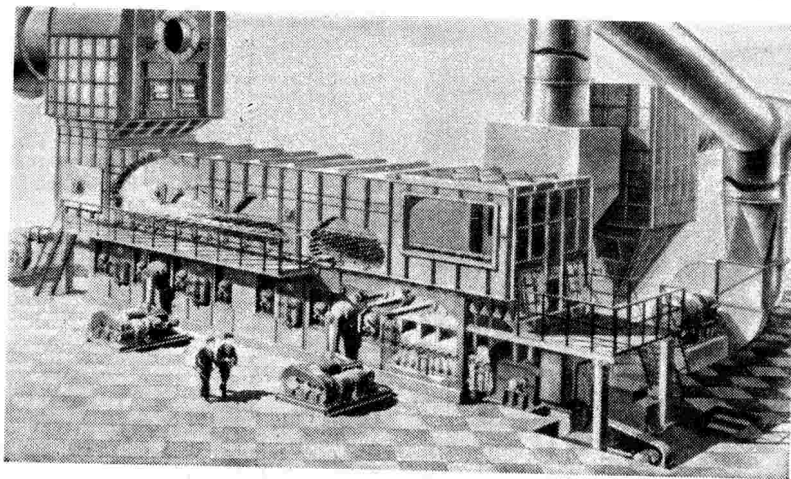
— Война часто у меня перед глазами стоит, — говорил мне Кувшинов. — Если бы не она... Никогда не забуду свою первую пятерку по черчению. Самому не верилось, что это моя пятерка. Сейчас второй курс института заканчиваю, но та пятерка, полученная в вечерней школе, — самая дорогая оценка.

Доцент политехнического института Павел Александрович Козловский рассказывает о своем студенте-вечернике:

— Чертит он действительно великолепно. Мало того, он даже помогал по черчению своей группе промышленно-гражданского строительства. Немного погодя второй группе вызвался помогать. А теперь еще с химико-технологического факультета идут к нему за помощью. Отказывать — единственное, чему он никогда не научится...

Позже я узнал: соседу, по его просьбе, Кувшинов разработал чертежи стиральной машины, и не только чертежи — многие детали помогал выпиливать в домашних слесарных тисках. По чертежам, разработанным Виктором Николаевичем, его младший брат, Александр, выстроил свой дом.

На двух чертежных досках в комнате Кувшинова постоянно приколоты огромные листы ватмана: неоконченные работы одноклассников, рекламные проспекты для местного завода — от них Виктор Николаевич не отходит часами. Я видел обложку рекламного проспекта холодильника, на мой взгляд, великолепно выполненную, но автор недоволен:



Его рисунок.

И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

— Придется вычертить заново. В рекламных проспектах надо не просто соблюсти пропорции обычного чертежа, самое трудное — подать продукцию завода так, чтобы иностранным фирмам захотелось приобрести наше оборудование...

Однажды Кувшинов узнал: одному из местных заводов требуются чертежники для оформления рекламных проспектов. Чертежники с хорошим художественным вкусом: рекламные проспекты отправляются заводом за

границу, во многие страны мира. Предложил свои услуги. На заводе усомнились было в его возможностях.

Виктор Николаевич рассказывает:

— Конечно, я понимал руководителей с моими руками. Но мне очень хотелось испытать свои силы на самостоятельной, настоящей работе. А тут и работы у них в отделе скопилось много. Упросил все-таки, чтобы дали мне работу для пробы. Первое время без оплаты работал: проходил ис-

пытательный срок. Сейчас утвержден старшим конструктором.

Рекламные проспекты, оформленные Кувшиновым, идут сейчас в Аргентину, Венгрию, Польшу. Последнее особенно приятно бывшему капитану: в числе многих наград у Виктора Николаевича есть и высший польский орден «Виртути милитари». Старинный орден Польши. Им награждают за самые высокие, исключительные заслуги.

Бронислав ГОРБ

г. Тольятти,
Куйбышевская область.

ЗОЛОТОЙ ВЕНОК СОВЕТСКОМУ ПОЭТУ

НЕСКОЛЬКО лет назад группа македонских поэтов решила устроить фестиваль современной поэзии. Идея встретила повсеместную поддержку, и вскоре в небольшом живописном городке Струга, лежащем в том месте, где река Черный Дрин вытекает из голубого Охридского озера, состоялось открытие фестиваля «Стружские вечера поэзии». С скромная вначале встреча нескольких энтузиастов превратилась в общегославский поэтический форум, а спустя несколько лет среди его участников можно было встретить поэтов из Варшавы и Софии, Рима и Анкары, Будапешта и Парижа, Бухареста и Праги. В прошлом году в «Стружских вечерах поэзии» участвовал и советский поэт Евгений Евтушенко.

Первоначальные замыслы организаторов фестиваля усложнились и расширились. Право голоса на нем вскоре получили не только поэты, но и критики и даже прозаики. Темы, остро волнующие современную литературу, стали определять самый характер фестиваля. В прошлом году литераторы Югославии и гости из других стран говорили об ответственности поэта перед человечеством, о его роли в борьбе за лучшее будущее, о гуманизме подлинной литературы.

Программой фестиваля этого года предусматривалось несколько интернациональных вечеров поэзии под символическим названием «Мосты», а также конкурс на лучшее неопубликованное стихотворение. Предполагалось устроить также концерт из музыкальных произведений, написанных на слова македонских поэтов, и провести симпозиум на тему «Возможности и виды поэтического творчества в настоящее время». Словом, организаторы и хозяева фестиваля — Союз писателей Македонии — разработали исключительно широкую и интересную программу, важным элементом которой были, конечно, личные контакты поэтов из разных стран.

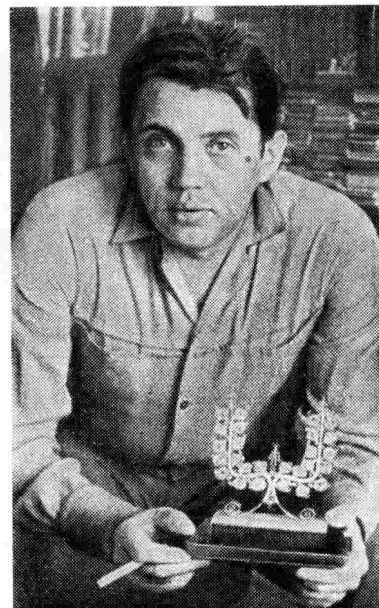
В состав нашей делегации входили советские поэты и переводчики литературы народов Югославии — народный поэт Азербайджана Расул Рза, Роберт Рождественский, Юлия Беляева, Андрей Лысенко и автор этих строк. Большинству из нас уже приходилось бывать ранее в Македонии, и мы с нетерпением ждали встречи с нашими добрыми друзьями.

По решению организационного комитета фестиваля было проведено два литературных вечера, на которых со своими стихами выступили зарубежные гости и представители международной югославской литературы.

Вечером 27 августа на мосту через Черный Дрин, живописно декорированном рыбацкими сетями, собрались все участники фестиваля. Оба берега Черного Дрина заполнили слушатели — их было тысяч десять. Это был подлинный праздник для жителей городков Струга, Охрид и ближайших рыбацких сел. Школьники, крестьяне, рыбаки и рабочие, туристы из разных стран, гости фестиваля из Белграда, Загреба, Любляны... Затаяв дыхание, люди слушали стихи. Думаю, что никто из присутствовавших тогда в Струге не забудет этого вечера.

Читали Ацо Шопов, Роберт Рождественский, Збигнев Беньковский, Вероника Порумбану, Тоне Павчек, Оскар Давичо, Драгутин Тадиянович, читали поэты Македонии и Чехославии, Сербии и Турции, Польши и Италии, Азербайджана и Венгрии, Словении и Болгарии, Черногории и Румынии. «Вечер европейской поэзии превратился в международный митинг дружбы», — писал корреспондент газеты «Политика».

А на другой день жюри сообщило об итогах конкурса. Первую премию — золотой венок и эмблему фестиваля «Стружские вечера поэзии», которые в этом году присуждались впервые, а также премию — получил советский поэт Роберт Рождественский за стихотворение «Человек родился». Вто-



Роберт Рождественский

Фото А. Лесса.

рая премия была присуждена македонцу Милану Терзовскому и третья — трагически погибшему в дни фестиваля черногорскому поэту Блажо Шчепановичу.

Фестиваль поэзии в Струге, проходивший в обстановке братской дружбы и взаимопонимания, стал символом международной солидарности поэтов мира, и мы радуемся, что его первым лауреатом стал наш советский поэт Роберт Рождественский.

А. РОМАНЕНКО



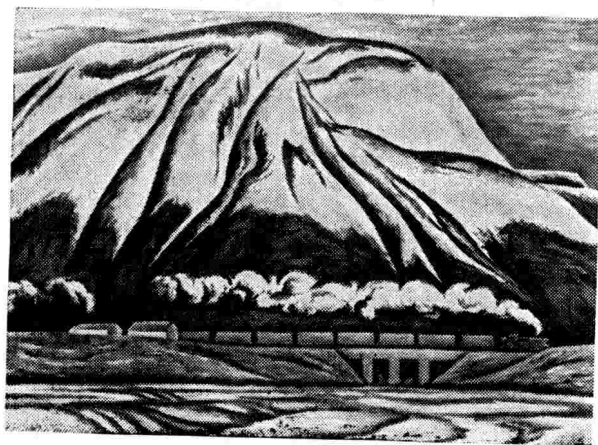
А. ИШИНА.

На заводе.



В. ЧЕЛОМБИНЕВ.

Будни.



В. МЯГКОВ.

Гора Шмидта.

На стендах
«ЮНОСТИ»

В ДОБРЫЙ ЧАС!

На стендах «Юности» в сентябре — октябре были представлены работы трех совсем еще молодых художников: А. Ишина, В. Мягкова и В. Челомбиева. Задумывалась эта выставка, когда ее участники были студентами Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

Трое из шестерых учащихся театральной мастерской института решили отправиться в Норильск. Редакция «Юности» поддержала просьбу молодых художников и помогла им отправиться в творческую командировку в город, победивший вечную мерзлоту.

Время было найдено из резервов дипломного года, «уплотнено», и 3 месяца, проведенные выпускниками института в тундре, запомнятся им, очевидно, надолго. Острые, яркие впечатления, жизнь, полная неожиданностей, и очень, очень много работ, которые мы и увидели на стендах «Юности». Некоторые из работ воспроизводятся здесь и на 3-й странице обложки этого номера нашего журнала.

Далеким север Красноярского края поразил и захватил начинающих художников. На их полотнах появились пейзажи с изумрудно-зеленым небом и багровыми закатами, окаймленные темными сказочными холмами, напоминающими груды металла. А Норильск, один из самых северных городов мира, его строители, рабочие покорили художников душевностью и мужеством.

Художники написали несколько интересных портретов жителей города.

Природный серый колорит заставил местных архитекторов красить дома броскими красками, — синими, красными, желтыми. Эти краски появились и на этюдах Ишина, Мягкова и Челомбиева. Яркие, сочные пятна, разноцветные кубики домов, праздничность — и, порой, упрощенность, примитив, чисто внешнее решение темы, невыработанность индивидуального почерка, подчас прямая подражательность — об этом товарищески говорилось в редакции «Юности» на обсуждении выставки трех молодых дебютантов.

Студенты института имени В. И. Сурикова, преподаватели и художники тщательно разбирали произведения, показанные на выставке. Было высказано много добрых пожеланий и дружеских советов, они, безусловно, принесут пользу.

Казалось бы, что общего между пейзажами и графикой Александра Ишина и его работой над дипломом — декорациями к опере «Сказка о царе Салтане»? А работы Владимира Мягкова над трагедией «Ромео и Джульетта» или Валентина Челомбиева над хроникой «Десять дней, которые потрясли мир», совсем не связаны с их норильскими впечатлениями. И говоря сегодня о работах уже не студентов, а художников, только что защитивших свои дипломы, необходимо еще раз подчеркнуть нерасторжимость жизненных впечатлений и полета фантазии в творчестве театрального художника.

Существует сложнейшая взаимосвязь подлинного мастерства живописца с безграничным ощущением сцены, театра. Только художник во всеоружии мастерства и знания жизни способен в сценической работе создать нечто значительное, поразить зрителя своим неповторимым ощущением мира.

И сегодня, когда молодые мастера уже расстались с институтом, хочется пожелать им радостей и открытий. Хочется верить, что это будут смелые, настоящие художники, умные и душевные мастера.

М. КУРИЛКО,

доцент, преподаватель
Московского художественного института
имени В. И. СУРИКОВА

Какова спортивная жизнь?

Вы пришли на стадион. Купили билет. Пробрались к своему месту на трибуне и, забыв обо всем на свете, смотрите футбольный матч, или хоккейный, или состязания бегунов — в данном случае не в этом суть. Вы насладились зрелищем спорта, запомнили имена особенно приглаженных вам парней и девушек. Потом пошли домой.

Правда, вы еще прочитаете о том, что видели, в газетах, поспорите с друзьями. В этих спорах будут мелькать имена Яшина или Майорова, Кучинской или Прокопенко, Смирдин или Матусевича.

Но давайте задумаемся: что вы знаете о них?

Знаете их спортивные характеристики, да еще что тот — студент, та — школьница, а этот — офицер? Не мало ли?

А между тем, развиваясь и совершенствуясь, опрокидывая мировые рекорды и наши представления о пределах возможностей человеческого организма, спорт одновременно становится все более сложным явлением общественной жизни. Перед людьми, которые решили посвятить ему свою молодость, возникают очень сложные проблемы.

Мы не беремся за непосильную задачу — тут же, вот сейчас, одним махом, разрубить гордиев узел этих проблем. Наша цель куда скромнее: дать вам возможность заглянуть за кулисы большого спорта и уловить многое из того, что действительно занимает умы людей, чьим мастерством вы привыкли восторгаться на стадионе.

Мы пригласили в редакцию «Юности» трех спортсменов, трех хоккеистов, игроков московского «Спартака». Сокращенную стенограмму беседы с ними (в стенограмме было около шестидесяти страниц) мы вам сегодня и предлагаем.

Представляем наших собеседников.

Борис Майоров. 28 лет. Инженер. Аспирант Московского авиационно-технологического института (МАТИ). Заслуженный мастер спорта. Игрок сборной СССР. Четырехкратный чемпион мира.

Евгений Зимин. 19 лет. Ученик 11-го класса. Мастер спорта. Игрок сборной СССР.

Владимир Шадрин. 17 лет. Студент-первокурсник Московского института нефти и газа имени Губкина. Мастер спорта. Игрок юношеской сборной СССР.

Любой знаменитый спортсмен — предмет зависти. Особенно футболист или хоккеист. Еще бы! Мало того, что он только и занят приятнейшим из дел — ежедневно играет в футбол или хоккей, его к тому же все знают, ему аплодируют, у него берут автографы, он разъезжает по всему свету, видит разные страны. Ну а на самом деле —

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СПОРТСМЕНОМ!

Майоров. Марку все время держать приходится. Ну, допустим, сыграл молодой Шадрин не так, ему простят. А если я сыграл плохо, пощады не жди.

Зимин. Тарасов как-то сказал: «Если проиграем, нам народ не простит».

Майоров. Конечно, не все понимают, что спорт есть спорт. Стоит проиграть, как сразу же принимают крутые меры. Да еще болельщики... Каждый об одном и том же спрашивает: «А брат твой, Майоров, будет играть в этом сезоне?» «Нет». Другой — ведь рядом стоял, все слышал наверняка — подходит и тоже: «А Женька будет играть?» Не ответишь, скажут: «Загордился».

Зимин. Это наверняка, чтобы потом сказать: «Борька мне говорил...» А вообще многие завидуют. Все — и девушки тоже — в лицо знают. Подходят разные, незнакомые: «Здорово, Женька». И все про одно и то же. А сколько нам тренироваться приходится, никто и не спрашивает.

Шадрин. Я как раз заканчивал школу, когда начал тренироваться в команде мастеров. Приходилось пропускать школу, заниматься поздно ночью. Трудно было...

Майоров. Хоккей изменился очень здорово. Когда я начинал — в 1956 году, — тренировались очень мало. Не каждый день даже. Мы и играли тогда хуже, чем теперешние ребята.

Зимин. Так ведь у вас условия были куда хуже! **Майоров.** Не было таких условий, как сейчас. Искусственный каток был один, в Сокольниках. Потом тогда к молодым иначе относились. Я в третьей тройке играл. Чуть сложнее — нас снимают. По полтора-два периода сидели на скамейке. Помню, в Электростали чуть не замерзли. Проигрывали 0:2, и тренер нас так и не выпускал до конца игры. И вроде бы прав был: в конечном счете 3:2 выиграли.

Сейчас же такой хоккей стал, что поиграл три-четыре минуты без замены — и задохнешься.

Шадрин. А мне хоккей как раз и понравился стремительностью, быстротой...

Майоров. В мое время, бывало, так относились: «Ну выиграем, ну проиграем — какая разница». Теперь так рассуждают немногие. Более по-деловому стали относиться.

— Почему?

Майоров. Заинтересованность все-таки. Вырос хоккей, его популярность. Особенно после того, как наши первый раз чемпионами мира стали. Когда я начинал играть, у меня и мысли не было о сборной. Даже позднее, когда уже в мастерах играл. Играл, как получалось. Если сессия, бывало, и матчи пропускал. Не ездил в поездки. Правда, на тренировках и в игре старался. Но только потому, что играть любил. Ну, а когда попал в сборную... А сейчас парень подает надежды, и сразу у него мысль: ага, могу попасть в сборную, значит, за границу поеду... Сами понимаете.

— А для вас хоккей все же единственная и бескорыстная любовь?

Майоров. Нет, не единственная. Футбол я больше люблю. Я в хоккей за сборную играл уже в 1961 году. А в шестьдесят третьем решил: «Ну его к аллаху, этот хоккей». Уже договорился с Симоныным, со Старостинным, и вдруг первенство мира выигрываем. На следующий год — олимпийские игры. Команда хорошая. Ну, думаю, не пойду в футбол.

Зимин. Я тоже начал с футбола. Это, конечно, игра высшего класса — красивая, умная. Только не у нас. У нас скучно играют — гоняют, гоняют мяч. Могли бы поучиться у хоккеистов.

— Однако вернемся к хоккею. К современному хоккею. Что же все-таки это значит — современный хоккей?

Майоров. Большие скорости и силовая борьба — вот что отличает хоккей сегодняшний от прошлого.

Раньше тренировались не более полутора часов в день. Не помню, сколько раз в неделю, но не более пяти. Пожалуй, даже четыре. Не было даже речи о том, чтобы тренироваться дважды в день. И не только в нашей команде, а вообще в хоккее. Даже если взять «Динамо», ЦСКА, «Крылья Советов». Сейчас тренировки дважды, а иногда и трижды в день, когда готовимся к сезону, — закон. И во время соревнований, если есть возможность, тренируемся дважды. Если есть лед, катаемся и до игры, утром. Теперь-то мы понимаем: что тренироваться раз в день, что совсем не тренироваться — одно и то же.

Зимин. Без трудолюбия классным игроком сейчас не станешь.

Шадрин. Что и говорить...

Зимин. Вон, Леша Макаров, ребята рассказывали, в детстве абсолютно бездарным был. А сейчас во второй сборной играет.

Шадрин. Если трудолюбия не хватает, ничего не выйдет.

Майоров. Нашего вратаря, Сашу Прохорова, в свое время в ЦСКА взяли. Он рассказывал, как они в Сибирь ездили: «Я все время в коньках спал. Не то чтобы не снимал, а так, рядом клал. Только приляжешь — «А ну, пойдем поработаем». В конце концов я сказал, что лучше институт кончу и буду по-тому играть. Ну, а тренер: «Как знаешь. Тогда до свидания».

Итак, отелекаясь и снова возвращаясь к главной теме, мы в конце концов выяснили, насколько безоблачна жизнь знаменитого спортсмена. И тогда совершенно естественно всплыл другой вопрос, вытекающий из первого:

— Не выглядит ли несколько преувеличенным утверждение о том, что —

СПОРТ — ПОМОЩНИК В УЧЕНИИ!

Разумеется, речь идет о большом спорте.

— Володя, ты, кажется, окончил специальную математическую школу?

Шадрин. Да.

— Из твоего класса ребята куда в основном поступали?

Шадрин. В основном в МГУ, на мехмат.

— А ты?

Шадрин. Я в нефтяной. На факультет электроники.

— Это что, дань хоккею?

Шадрин. Да. В школе у нас были преподаватели с мехмата. Они рассказывали, сколько нужно учебе уделять внимания, если действительно хочешь учиться хорошо. Я подумал и решил, что лучше будет, если я поступлю в другой институт, где также нужна математика и где тоже будет интересный факультет. Например, электроника — интересно, и хоккеем заниматься смогу.

Зимин. А я собирался в медицинский. Но мне говорят: тогда с хоккеем прощайся!

Майоров. Там же практические занятия! Нелзя пропускать. Там не только читать — резать, шутать надо.

Зимин. В педагогический хочу поступать.

— На спортивный факультет?

Зимин. Нет.

Майоров. Я бы посоветовал изучать язык. В гуманитарном все же легче учиться. Правда, занятия по языку тоже каждый день...

— Борис, вам хоккей помог окончить институт? Были какие-то поблажки?

Майоров. До пятого курса меня в институте почти никто и не знал. Календарь был не ахти какой. Если не мог, не ездил с командой. Когда вторая сборная поехала в Канаду, то мне сессию разрешили сдать по свободному графику. И на пятом курсе была такая же картина. В декабре — поездка, но тут уж мне практически оставалось один семестр учиться. А брату и Старшинову было тяжелее. Они кончали в 1963/64 году. Но с другой стороны, нас уже тогда знали и, конечно, шли навстречу. Но сдавать надо было все равно.

— А сегодня, если бы история повторилась, вы бы решились поступать в МАТИ?

Майоров. Трудно сказать. Сейчас совсем другие условия. Пять лет прошло. Раньше было легче. Вот Шадрин поступил в институт и уже играет в команде мастеров... Трудно сказать... Кстати, недавно в Минске я познакомился с интересным человеком. Был такой пловец Юрий Фомичев. Входил в число сильнейших пловцов, играл немало и в водное поло. Вот он говорил: «Если я за тренировку проплывал свыше восьмисот метров, — это считалось много. Уставал. Сейчас проплывают женщины по 4—5 километров в день, а мужчины по 5—6 километров». В свое время спорт не помешал ему окончить институт, защитить кандидатскую. Но попробовал бы он сделать это теперь... Вот сейчас Володя Шадрин поступил в институт. Женя Зимин

среднюю школу будет кончать. Кончил институт — человеку двадцать три года. Да, хоккеисту окончить за пять лет институт трудно: 44 игры за сезон, а если попал в сборную, то в декабре, когда начинается зачетная сессия, поездка. Словом, с сентября по апрель включительно — на льду.

— **А помогает образование играть в хоккей?**

Майоров. Образование помогает, конечно. Если человек, хоть и плохо учился, но все-таки закончил институт, он богаче интеллектом, чем тот, который окончил десятилетку. Головой в институте приходится много работать, а это и в спорте очень важно.

Зимин. Вон у Фирсова незаконченное среднее, а как играет! В хоккее такого игрока поискать надо! Бывает, в жизни не складно получится — не учился, когда можно было. Но если в хоккее соображает, то и в жизни, если б взялся за ум, стал бы эрудированным человеком. Так не бывает, чтобы в хоккее играл хорошо, а в жизни — бестолковый.

Шадрин. Когда в школе человек уделяет слишком большое внимание хоккею, забросит учебу, пропустит какое-то количество занятий, потом трудно догнать. А после не хватает силы воли и трудолюбия снова заниматься. Например, Витя Ярославцев. Учился раньше. Бросил, когда ему было 16. А потом снова поступал. И так несколько раз. Но вот поездки туда-сюда. Он походит неделю, месяц и бросает. А желание есть. Я с ним разговаривал. Он говорит: «Прямо не знаю, что делать».

— **А тренер?**

Шадрин. Тренер — за учебу. Я хотел из дневной школы уйти, так Бобров даже пригрозил исключить из команды, если брошу.

Майоров. Всякие есть тренеры. Некоторые думают, как помочь, а иные... иные почему требуют, чтобы учились? Справка нужна. Без нее по положению к соревнованиям не допускают.

— **А как бы сделать так, чтобы все-таки можно было учиться?**

Шадрин. Главное, чтобы у человека было желание.

Майоров. Расписание, конечно, можно так составить. Для этого надо иметь условия. Надо клубу каток иметь свой. Ну, пропустишь иногда занятия, ничего страшного в этом нет. Но всплывает вопрос: а как же очки? Не пойдет ли эта учеба в ущерб команде? Вот готовились мы к поездке за рубеж. Женька, брат, говорит: «У меня экзамены». А тренер.. Только его фамилию не надо стенографировать. Договорились? Так вот он: «Нет. Или хоккей, или учеба». Знаете, сколько брат бился, пока на экзамены отпустили. Но все-таки многое зависит от человека. Когда я поступал на первый курс в 1953 году, одновременно со мной — только в другой институт — поступал... Ну, да не в фамилии дело. Так он до сих пор на третьем курсе учится.

Майоров. Ну, скажем, играть можно до 30—35-ти. А вот дальше что? Без образования? Тренером стать? Так команд меньше, чем тренеров.

«Спорт и учеба» — эта тема тесно смыкается с другой:

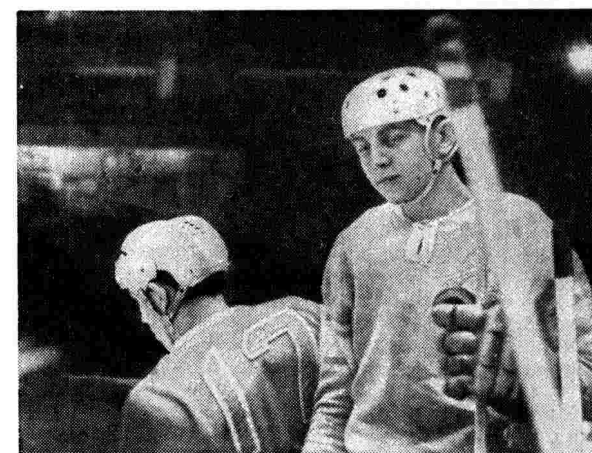
«КЕМ БЫТЬ!»

Кем быть, когда перестанешь играть?

— **Может быть, все-таки тренером?**

Майоров. Есть люди, влюбленные в это дело, фанатики. Они с радостью остаются...

Зимин. Другие остаются потому, что у них больше ничего за душой нет,



На снимках:

1. Борис Майоров. Впереди еще два периода...
2. Евгений Зимин не любит терять шайбу, но все же...
3. Владимир Шадрин ждет своего выхода.

Фото Юрия Моргулиса.

Майоров. Конечно. Но есть и другая сторона. Вот приходит новый тренер к председателю общества. Тот: «У нас команда занимает седьмое место. Надо выше поднять». Человек пришел новый и, естественно, говорит: «Обязуюсь». Не секрет, что командам дают обязательства. В плане пишут: «Занять второе, там, первое или третье». Если план не выполняется, то в первую очередь попадает тренеру.

Шадрин. Конечно, постоянные тренеры только в «Динамо», в ЦСКА да в «Химике».

Майоров. Не будь такого положения, я, может, тоже бы остался тренером. Но как подумаю... Допустим, захочу пьяницу из команды выгнать, а мне говорят: «Что ты! Он хорошо играет. Да и кого ты возьмешь? Петров не годится. Иванов не годится. А очки-то нужны. Пусть играет. Предупреди его».

— Значит, кончил играть и — прощай хоккей?

Майоров. По-разному люди к этому относятся. Взять Гурышева. Он все время где-то около хоккея — судит... В комиссиях каких-то. А Уколов — прекрасный был игрок — как-то самоустранился. Я его никогда не вижу на хоккее.

Зимин. Уколов со мной рядом живет. Его ребята иногда просят сыграть за дом — он не идет.

— Когда же все-таки лучше уходить из спорта?

Шадрин. Не знаю. Вот Локтев уходил красиво — в зените славы.

Зимин. В 33 года — красиво ушел.

Майоров. А многие уходят незаметно. Поиграли — и до свидания.

— Так когда же?..

Майоров. Надо уходить вовремя. Ни до, ни после — вовремя. Надо выбрать момент. Но как? Ну, если я, допустим, собираюсь уйти, и вдруг проигрываем первенство мира. Уйдешь — и вспоминать почти не будут. По крайней мере не так, как Локтева. А если выиграли, то как уйти? Надо быть очень мужественным человеком...

— В каком возрасте, Борис, играть уже трудно?

Майоров. В прошлом году я на матче профессионалов в Торонто специально посмотрел программу. Единственный парень — талантливый, физически сильный, — 1945 года рождения. Остальным 26 и больше. Есть и по 37. А оба вратаря играют в профессиональных командах тоже с 1945 года. Одному — 42, другому — 40. Старше нашего хоккея.

— А скорость?

Майоров. Скорости вполне хватает. Не догонишь. У них вся жизнь подчинена хоккею.

Зимин. Канадские профессионалы лишнего шага не сделают, чтобы им не заплатили. Сделал гол — плати! Пас — плати! Опоздал на тренировку — минус из зарплаты. Подписал контракт на таких-то условиях и играет спокойно.

Майоров. В Канаде тренер не спрашивает, куришь ты или нет, выпил ли бутылку пива. Хоккеисты приезжают из дома на игру. Оделись и пошли играть. А потом — каждый себе хозяин. И сборов у них никаких нет.

Зимин. А я в «Локомотиве» на сборах совсем не жил. Мне в виде исключения разрешили. Я с утра учился, а вечером приезжал на игру.

Шадрин. А теперь ведь не разрешают...

Зимин. Просто не доверяют.

Майоров. Сборы необходимы для игроков сборной. Нужно почувствовать друг друга. А в клубах сборы ни к чему. Но опять-таки от человека зави-

сит. Один и дома режим нарушать не будет, а другой и на сборе найдет, что выпить.

Тренер должен иметь право сказать: нарушаешь — уходи. И ни один клуб тебя не возьмет. Тогда бы играли долго.

Зимин. Если бы мастер поиграл до определенного возраста — пенсия, то лучше было бы. В балете и в цирке — пенсия. А мы чем отличаемся? Прав тренер Гомельский, который недавно в «Известиях» затронул вопрос о пенсиях для мастеров, отдающих свою молодость спорту.

Майоров. В современном хоккее, боюсь, до 35 вряд ли кто дотянет. Пишут: «Спорт — это здоровье!» Здоровье — это утром, когда открыл форточку и — «Приступим к водным процедурам»...

— У вас травм много было?

Майоров. Немного. Шрамы я за травмы не считаю. А травма один раз серьезная была. Ну, а сотрясений и прочего — сколько угодно. В общем, говорят: «Практически здоров».

Шадрин. Для меня сейчас хоккей не главное. Я еще учусь.

— А ты мог бы пожертвовать, скажем, матчем «Спартак» — «Динамо» ради лекции?

Шадрин. Игр меньше, чем лекций.

Зимин. Скажем, мы играем с «Динамо», а мне надо в школу. Ясно, тренер скажет: «Школа пожелет».

Майоров. А взять, например, переходы: переманивают из клуба в клуб, факт. Сулят все, что угодно, только переходи к нам. Если бы у нас условия во всех командах были одинаковые, тогда бы никто не стремился перейти. Но ведь условия разные. Парамошкин, например, уходил из «Электро-стали» в «Динамо», чтобы попасть в сборную. А вот, скажем, Славка Старшинов никуда из «Спартака» не перешел бы. Ну, а если б и перешел, я бы осуждать не стал: разные команды — разные льготы. Мне, например, тоже, что ни сули, я все равно не уйду из «Спартака». Но осуждать за это нельзя. Вообще это сложный вопрос с переходами.

— ЦСКА выигрывает все чемпионаты последних лет. Не связано ли это с переходами?

Майоров. У армейцев не очень много своих воспитанников. Разве что Полупанов и Вилкулов. Но, видно, Тарасов умеет хоккеистов делать. И в этом отношении я перед ним преклоняюсь. Если ты молодой, если у тебя не клентся, он готов днем и ночью с тобой работать. Да и дисциплина большую роль играет. Армия... В других же командах все больше от сознательности игроков зависит.

Зимин. А у нас в «Спартаке» у некоторых ее не хватает. Это надо прямо сказать...

Вот и все. Наверное, не все темы этого разговора исчерпаны до конца. Наверное, не все точки над «і» поставлены. Ясно одно: жизнь хоккеиста не так легка, как кажется. Ему трудно учиться, трудно работать. Да и будущее его отнюдь не безоблачно. Мы-то считаем, что от многих трудностей спортсмена можно избавить... Но если вы задумаете избавить его и от бремени славы, если вы захотите оградить его от назойливых, но искренних в своих чувствах болельщиков, то захочет ли Володя Шадрин, как он нам признался, стать таким же, как Борис Майоров?

Беседу вели и комментировали
Евгений Рубин и Дмитрий Рыжков





Рисунок М. Лисогорского.

● Я. Зискинд

ЗВЕРЬ В ОЧКАХ

Рассказ

Профессор Шаронов, весьма солидный, упитанный мужчина и уважаемый профессор, которого студенты за глаза называли «Зверь в очках» и «Прощай, стипендия!», пребывал в состоянии крайнего страха и волнения. И все это происходило вот почему.

Ровно пять месяцев назад профессор Шаронов стал обладателем прекрасной «Волги» цвета беж и начал учиться вождению автомобиля.

Пойти на курсы он считал неудобным и учился «частным образом». Поэтому к нему зачастили какие-то Володи, Сережи и дяди Коли — brave и бывалые, пахнувшие бензином автомобилисты, которые брались выучить Шаронова автовождению в две недели.

— Будете ездить, как часы, — говорили они, небрежно опуская в карман купюры разного достоинства.

Потом Володи, Сережи и дяди Коли терпеливо вдавливали в лысеющую голову профессора сложную технику поворотов, разворотов, трогания в горку и переключения скоростей, поражаясь профессорской бестолковости.

— Да вы смотрите сюда, — говорил усатый дядя Коля, — выжимаю сцепление, так? Затем включаю скорость, отпускаю сцепление, даю

газок — и будь здоров, поехали! Прощай пареной репы!

И действительно, все, казалось, было проще пареной репы!

Но стоило за руль сесть профессору Шаронову, как с машиной происходило нечто невообразимое: мотор то рычал, как голодный бенгальский тигр, то, два раза чихнув, вообще прекращал свою общественно полезную деятельность.

Наконец машина трогалась... Но как! Только морально опустившийся субъект в состоянии крайнего опьянения мог выделять такие петли и выкрутасы, тыкаться в барьеры и внезапно останавливаться. А человек, гордый человек, покоритель природы и создатель высокой техники (в данном случае профессор Шаронов), взмокший и злой, как двести чертей, беспомощно смотрел сквозь ветровое стекло и, понимая, что делает не то, именно не то и делал.

Но прошло время, и, слава аллаху, все это оказалось позади!

Теперь нужно было только получить выучить правила уличного движения и сдать экзамен на право вождения автомобиля.

И профессор терпеливо начал изучать «Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам Союза ССР».

Эти правила составлены, безусловно, высококвалифицированными и многоопытными людьми, которые учли все: от момента выезда из гаража до момента оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. (Почему-то этот раздел правил запоминается быстрее, чем другие разделы, а в первый раз его суховатую, но суровую прозу читать без слез невозможно!)

Да, люди, составившие правила автовождения, поработали незря! Они придумали множество пестрых и выразительных знаков, очень близких к абстрактной живописи, но полных глубокого смысла и любви к той части человечества, которая называется пешеходами.

Следует еще заметить, что у правил есть один, увы, непоправимый недостаток: их много. Они с грудом умещаются в пестро оформленной книжечке в полтораста страничек, каждое звучит грозно и непреклонно, и каждое нужно знать назубок.

Но вернемся к нашему герою. Спустя три недели профессор знал все правила и дорожные знаки не хуже, чем свое сопротивление материалов, хотя и этот материал сопротивлялся отчаянно.

А сегодня наступил тот самый день, когда будущий автоводитель пришел в Главную автомобильную инспекцию, чтобы сдать экзамен на аттестат любительско-водительской зрелости.

Профессор Шаронов был бледен и взволнован.

До открытия автоинспекции оставалось добрых полчаса, и поэтому шумное племя будущих правонарушителей толкалось и шумело в маленьком садике во дворе ГАИ.

Ровно в десять экзаменуемых впустили в маленький операционный зал ГАИ. В центре зала стояли стенды с фотографиями ужасных автомобильных аварий, которые как бы в последний раз призывали вас одуматься и не стремиться на скользкую автомобильную дорожку. Но сотни поклонников автомобилей и мотоциклов, невзирая на этот голос разума, подкрепленный фотодокументами, активно атаковали узкие окошки, за которыми сидели милосердные регистраторши и работницы ГАИ.

Профессор ткнулся в одну из очередей, но белозубый здоровяк в майке и соломенной шляпе оглядел профессора и сказал:

— Вам, гражданин, наверное, не сюда. Тут стоят только калым-

•ПЫЛЕСОС •ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС• ПЫЛЕСОС •

шки, пьяницы и аварийщики, у которых права отняли.

— Да, да, не сюда. У меня еще нет прав,— смущенно пробормотал профессор и отошел от страшной очереди.

Нашел свою.
Встал.

Выстоял два часа, испытыв огромное желание положить под язык валидол.

Но вот и это позади.

Сейчас он ждет, когда его вызовут на экзамен.

Еще полтора часа. Вызвали. Вытянул билет. Взмок и побледнел. Дали время подумать. Профессор жалко улыбнулся и начал отвечать экзаменационной комиссии.

Председатель экзаменационной комиссии, русский молодец в голубой милицмейской рубашке, молча слушал профессора, который, к собственному удивлению, утратил обычную стройность речи и путался в придаточных предложениях. Мало того, в его памяти всплыла

неуклюжая фраза, когда-то сказанная усатым дядей Колей, и профессор заключил свою речь так:

— Даю газок — и будь здоров, поехали!

Молодой экзаменатор улыбнулся и опустил глаза. И улыбка была добрая, а не ироническая, с какой обыкновенно смотрел на своих студентов Шаронов. Напротив, он взглянул в экзаменационную карточку профессора и сказал:

— Вы, Анатолий Михайлович, успокойтесь, потому что, как я вижу, понимать вы понимаете, а объясняете неточно. Давайте еще раз.

«Ах, какой молодец! — воскликнул профессор. — Понял мое состояние и помог!»

И тут профессор обрел уверенность, начал отвечать спокойно — и сдал! Понимаете, сдал экзамен по правилам уличного движения!

Потом Шаронов сдавал автовождение и...

Прежде всего виноват был он сам, а во-вторых, экзаменатор. Нет, он был совсем не так доброжелателен, как его молодой коллега, председатель комиссии. Скорее напротив. Бросал иронические взгляды, переспрашивал сухим голосом, понятно ли задание. Словом, по манере это был сам профессор Шаронов во время экзаменов: иронический, жесткий и внешне беспристрастный.

Короче, Шаронов срезался. Придется сдавать еще раз через десять дней.

На следующий день в институте была экзаменационная сессия, и студенты были поражены: «Зверь в очках», он же «Прощай, стипендия!», принимал экзамены совсем не так, как обычно. Он задавал дополнительные вопросы, давал время на размышления, успокаивал нервных, словом, «Зверь в очках» был человеком.

Очевидно, чтобы понять состояние другого человека, нужно самому побывать в его шкуре!

● Арк. Инин, Л. Осадчук

О Б Щ Е Е М Н Е Н И Е

Профторг Кашкин подошел ко мне в перерыве, затаял меня в дальний конец коридора и, сделав круглые глаза, зашептал:

— Ты что себе думаешь? Ты думаешь, никто ничего не видит? Ты думаешь, это тебе сойдет?

— А что случилось? — спросил я.

— Он еще спрашивает! — шепотом ужаснулся Кашкин. — Тебя вчера видели с Леной! Ты шел с ней по улице и открыто болтал!

— Ну и что? — спросил я.

— Как что? — Коля сделал глаза еще круглее и уже не шептал, а шипел: — Как что?! Весь коллектив только и говорит об этом. И учти: уже создано мнение. Ты должен честно рассказать обо всем своей жене.

Через три минуты то же самое шептала мне комсорг Тоня. Она видела, как я повесил в раздевалке свое пальто рядом с пальто Лены.

— Вы зашли уже слишком далеко, и наш долг — открыть вам на это глаза! — отшептала Тоня и удалилась.

Конструктор Андрей Андреевич тоже видел. Видел, что в очереди в институтской столовой я стоял за Леной.

— Просто так не стоят, — шептал он мне так, чтобы слышали другие, — ты думаешь, мы дураки? Все только и шепчут об этом. Если у вас чувство, вы должны честно признаться и пожениться.

Когда я выходил из института, вахтерша тетя Глаша понимающе подмигнула мне и шепотом спросила:

— Что это вы сегодня сами? Вчера, я видела, вы с Леночкой выходили...

...Я пришел домой и рассказал все жене. Жена заплакала и рассказала мне, что у нее в поликлинике сложилось общее мнение, что она должна честно сообщить мне о своих отношениях с доктором Васиным. Все видели, как она с Васиным ела мороженое, ехала в одном трамвае и смеялась над одним анекдотом.

Все было ясно. Коллектив ошибаться не мог. Конечно, мы с женой по-прежнему считали, что любим друг друга, что должны быть вместе, но...

Больше года я прячусь от знакомых и незнакомых женщин. Я не уступаю женщинам место в трамвае, не занимаю за женщинами очереди в магазине, а на 8 Марта сказываюсь больным...

И все-таки...

Вчера на улице я на какую-то долю секунды потерял бдительность и тут же носом к носу столкнулся с курьершей Валеи. Отступать было некуда. Я быстренько поздоровался и побежал за угол. Но было поздно.

По другой стороне улицы шел профторг Кашкин.



Рисунок И. Бронникова.

● ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС.

Содержание журнала «Юность» за 1966 год

№№ журн.

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

АДАМОВ Аркадий. Стая	9—11
АЛЕКСИН Анатолий. А тем временем где-то	12
АНТОНОВ Сергей. Разорванный рубль	1
БАГРЯК П. Кто?	7
ГОФМАН Генрих. Братья молодого гвардейца	5
ЖЕРНАКОВ Николай. Белая ночь в окне	7
КУЗНЕЦОВ Анатолий. Бабий Яр	8—10
МЕРАС Ицхокас. На чем держится мир	4
ПОЛУХИН Юрий. По ту сторону добра	3—4
РОМАНИНА Марина. Город моего отца	11
РЫБАКОВ Анатолий. Каникулы Кроша	2
СЛАВИЧ С. Сто часов	6
ФРОЛОВ Вадим. Что к чему?	5—6
ЧУКОВСКИЙ Николай. Ранней ранью	11—12

РАССКАЗЫ

АКСЕНОВ Василий. На площади и за рекой	5
БЫКОВ Василь. Своими	12
ИСКАНДЕР Фазиль. Три рассказа. Лошадь дяди Кызыма. Время счастливых находок. Дом в переулке	3
КАТАЕВ Валентин. Сорренто	6
КАТАЕВ Павел. К сестре на свадьбу	8
КРАСАВИЦКАЯ Мария. «Бешеная тетка»	12
КУРАНОВ Ю. Приморские улицы	5
ЛАСКИН Борис. В гостях у дяди Коли	3
ЛЕСС Ал. Невыдуманные рассказы	1
ЛИХАНОВ Альберт. Сто шестой элемент	7
МАРАМЗИН Владимир. Портрет забора как он есть	12
МИНУТКО Игорь. Одесский трамвай	7
НОСИК Борис. В последнем рейсе	9
ОКУДЖАВА Булат. Промоксис	1
СИСНЕВ Виссарион. Кивиток	2

СТИХИ

АДО Улуру. «О, если б моему стиху...» Сопка. Озеро. «Сопка спит, под снегом дышит...» «Как в собственную душу...»	3
АХМАДУЛИНА Белла. Ночь. Немота	6
БАБАДЖАН Рамз. Октябрьское утро	11
БАРДИН Владимир. Топографы. «Я, как всегда, открыто дверь...»	7
БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр. На том стоим	5
БЕЛШЕВИЦА Визма. Беатриче. «Не ходите, женщины, на берег прогуливаться...» «Я до дна испила осень Салацгривы...»	2
БЕЛЯЕВ Михаил. «Этот ров отыскали ветра...» Баллада о буханке черного хлеба.	

«Взбеленились густые снега...»	9
БЕМБЕЕВ Тимофей. Друг. Скачки	12
БОКОВ Виктор. Из новой книги стихов	12
БОЛКВАДЗЕ Заур. Музе	9
БОРОДУЛИН Рыгор. Скрипачи. «Как захлебнулся от радости жаворонок...» Помытые половницы	6
БРИТАНИШСКИЙ Владимир. Дом. Рерих. «Копилки многолетний свет...» «Взаимопонимание людей...» «Не поселится ли олени...» «Мы топор и лопату кладем про запас...»	2
ВАНШЕНКИН Константин. «Порой стихи случалось мне встречать...» «Белеет доска подокозника...» Инерция. «В ранний час в березовых хоромах...» «Резко озаренные луной...» Верлибр	4
ВАСИЛЬЕВ Флор. Кремлевские куранты	4
ВАЦИЕТИС Ояр. Синий рассвет	2
ВЕЙЦМАН Мари. Нежность. Рассвет	9
ВИНОКУРОВ Евгений. Государственность. Велолухачи.. «Когда нацизма вырвалась машина...» Природа. Дон-Кихот. «Страшные нужды усилила...» «Когда вода была уже по пояс...»	4
ВЫШЕСЛАВСКИЙ Леонид. Живое сердце. Дума. Баллада о тополе. «Ты, уходя, оставила на счастье...»	10
ГАБРИЧИДЗЕ Нелли. 1945-й	11
ГАМЗАТОВ Расул. Граница. Голова Хаджи Мурата. Про сокола с бубенцами. В зеленом, желтом и багрянном. Воспоминания. Песня молодых	9
ГЛАЗОВ Григорий. «Наш полк ворвался за полночь в деревню...» Госпиталь. «Как странны притохи воспоминаний...» Прощание.	12
ГОЛОДНЫЙ Михаил. «Еще воздушные пираты...» «Темнеет, гаснет зимний день...»	2
ГОЛУБКОВ Дмитрий. Страница старой книги. «Цветет бузина...» Бессмертье.	5
ГОРДЕЙЧЕВ Владимир. Салют Победы. Школа мастерства. Побратимы.	7
ДАВЫДОВ Сергей. Пискаревское кладбище. Набережная Грина в Кирове. Зачем волшебнику штаны?	6
ДАМИАН Ливиу. Прозрение. Продавцы книг. Зрители. «Да, мама, моря ты не видела, родная!»	10
ДЕМЕНТЬЕВ Андрей. Дума о съезде	1
ДЖАЛИЛЬ Муса. Ночь. Тюрьма. Иншар. «Не для того из вечной тьмы...»	3
ДМИТРИЕВ Олег. Большевик. Начало нэпа. Окно напротив Московское мгновение. Очередь 1946 года. Черепаша.	3
ДМОХОВСКИЙ Александр. «Остаются мгновенья».	7
ДОРИЗО Николай. «Вы наши дымовы...» Сочиненье на тему Слова Сосед.	3
ДРОФЕНКО Сергей. Святые горы. Зима. Деревья. Бескоры-	5

стие. Песенка о Наташе. Стихи о тишине.	2
ДРУНИНА Юлия. «И если захочу я щегольнуть...» «Мысль странная мне в голову запала...» Успех.	12
ЕВТУШЕНКО Евгений. Римские цены. Процессия с мадонной. Жара в Риме. Факкино. Итальянские автографы. Памяти Ахматовой	8
ЖДАНОВ Игорь. «Мне снятся фиолетовые чащи...»	2
ЖИГУЛИН Анатолий. «Я сыну купил заводную машину...» «Сухой красноватый бурьян на заре...» Кордон Песчаный «Я спал, обняв сырую землю...»	1
ЗАВАЛЮК Леонид. «Приносит новый день свои слова...» Две встречи. «Ранимость — благо для поэта...» Весенняя прогулка с записной книжкой. Разговор с молодым человеком о доброте	10
ЗЛОТНИКОВ Натан. «Волна открытая, нагая...» «Оползеньцы...» «Не знаю, долго ли я спал...» «Звезда стоит одна над нашим домом...» После грозы. «Даленой осени черты...» «Войду без стука...» «Обыденное не забывающая...» «Ваше грустное молчанье...»	12
ИНДЖИЕВ Лиджи. Буря и деревья	12
ИОФФЕ Сергей. Баллада о костре	7
ИСКАНДЕР Фазиль. Упряжка. Хранитель ночного огня. Телефон.	9
КАЗАНЦЕВ Василий. Вдохновение. «Неудержимо, как с горы...» Туннель. «Опять тишина...» «Когда я бежал за последним вагоном...» Арбуз	6
КАРПЕКО Владимир. Сотворение мира	5
КАХИДЗЕ Медея. Здесь столько солнца	9
КАШЕЖЕВА Инна. Верю!	3
КОЛЕСНИКОВА Юлиана. «В настоящем грядущим живешь...» «Я тебя поняла. Ты скромный...»	3
КОРКИНА Алла. «И белый снег, и белый сад...»	3
КОРОТИЧ Виталий. Сады. «Благословляю справедливость гнева...»	4
КОСТЕНКО Лина. «Угасли кострища стоянок...» «Сон лесной пришел ко мне свободный...»	4
КОСТРОВ Владимир. Заполярный райком.	3
КРОНГАУЗ Анисим. «Мы все себе кажемся больше...» Притча. Конец.	12
КУКСОВ Юрий. Андромеда. «Как страшно оступиться в тишине...»	3
КУЛИЕВ Кайсын. Тому, кто придет вслед за мной. «Наверно, и чинара не мечтает...» Слово. В дождь «Я видел, как селенья догорают...» «Большая боль не вопиет...» «Старик крестьянин подводил итог...» «Рекка бежит, скалистый берег гложет...» «Не тот герой из нас...» Гора	5
КУНЯЕВ Станислав. Ожидание. Золотые квадраты. «Как	

- жарко трепещут дрова...». «В магазине живые цветы...».
- КУШНЕР Александр.** День защиты детей. «Никогда не наглядеться...». «Мы в городе...». «Я без ума от лип прекрасных...».
- ЛИСНЯНСКАЯ Инна.** Подростки. «...И возникают города...». «Тому, кто в небе не витал...». Химки. «Покаянной иду, покаянно...».
- ЛИСНЯНСКИЙ Марк.** Его я не видел ни разу. Песчаная горка. Обручальные кольца. Памятники.
- ЛЬВОВ Михаил.** Поэты Победы. «Был паром наш белый...».
- МАРТИНОВ Леонид.** Проза Есенина. Единая стезя. Диалектика полета. Твист в Крыму. «Есть люди...». Вдохновенье.
- Лето. Мягкая рухлядь. Часы. Двигатели. Моды. Леонардович. Погасшая молния. Любовь.
- МАТВЕЕВА Новелла.** Песни: Фокусник. Заклинательница амей. Цыганка-молдаванка. Пожарный. Песня про котел. Страна. Дельфиния.
- МОРИЦ Юнна.** Скрижаль. «Ни пылинки с чужого стола...». Снег в ноябре. «Великой нежностью апрель обременяет...». «Легко за окнами синее...». «Мне нравится зеленый бильярд...». «Ночной провинции узор...».
- Мудрое слово. (Народные изречения и пословицы Дагестана).
- НАЗАРОВ Вячеслав.** Песня. Утро.
- НИКОЛАЕВ Александр.** На Курской дуге.
- НИШНИАНИДЗЕ Шота.** Память.
- ОИСЛЕНДЕР Александр.** На грани мира. Письмо, найденное в ранце.
- ОКУДЖАВА Булат.** На тихоокеанском берегу. Не о смерти. Александр Сергеевич. Поэзия в столовке заводской.
- ОЛЕЙНИК Борис.** «Ты скажи, откуда очи...».
- ПОПОВ Леонид.** Зимний путь. Такая белая зима. Прощание. Талантом и удачей отмечен. Сомнения. Якутский стих.
- ПОЦХИШВИЛИ Морис.** Руставели.
- ПРАСОЛОВ Александр.** «Когда прищелканный полыхнул фугас...». «В себе ненужного не трогай...». «Я хочу, чтобы ты увидала...». «Схватил мороз рисунок пены...».
- ПРЕЛОВСКИЙ Анатолий.** У моря. Птица. Конь. Наука.
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт.** В День поэзии. «Или Тихий, или Великий...». Жара. Случай. «По предсказанью радио шел град калибра крупного...». «Говорите по-советски...». «Я засыпал усердно в преддверии зари...».
- РУБЦОВ Николай.** Русский огонек В горнице. «А между прочим, осень на дворе...».
- РЫЛЕНКОВ Николай.** Дай припасть к руке твоей, Россия! Аист. «В страницы книг вникая год за годом...». «В мальчишеских мечтах...».
- СЕЛГА Гунар.** На плотах. Летят пчелы в сторону Елгавы. Детство. Руки крестьянина.
- СЛУЦКИЙ Борис.** 9 мая 1945 года. 9 мая 1965 года. «Украину поперек и вдоль...».
- «Грамотный обучает неграмотных...». «У времени вечный завод...».
- СМЕЛЯКОВ Ярослав.** Стихи, написанные на почте. Стихи, написанные в фототелье. Стихи, написанные 1 Мая. Стихи, написанные ненароком.
- СОЛОЖЕНКИНА Светлана.** Раздумье. Есть тихий дом... Наствления.
- СОФРОНОВ Анатолий.** Стихи из цикла «Притяжение разлуки».
- СТАРШИНОВ Николай.** «Я, как грач, хлопотлив и черен...». «Вся даль уже просвечена...». Весенний разговор... Стихи студентов Литературного института имени А. М. Горького: **Василия МАКЕЕВА, Юрия БЕЛИЧЕНКО, Анатолия ТРЕТЬЯКОВА, Ларисы ТАРАКАНОВОЙ, Виктора СМЕРНОВА, Газима БАГАНДОВА, Михаила ШАПОВАЛОВА, Диомиды КОСТЮРИНА**.
- СТУРА Лиа.** Смеются дети.
- СУХАРЕВ Валерий.** По Оке.
- СУХАРЕВ Дмитрий.** Последняя декада декабра. Лес. Мать, а ведь самая малина.
- СЫНГАЕВСКИЙ Микола.** Триптих.
- ТИМОФЕЕВ Лев.** Судьбы.
- УЛЗЫТУЕВ Дондог.** Жаворонок. Напутствие. «И вот теперь уже сквозят годы...».
- УТКИН Иосиф.** Поход.
- ФОНЯКОВ Илья.** Земля и небо Вьетнама.
- ХАЛИЛ Зейнал.** Из цикла «Черное море»: 1. Обращение. 2. Я морем стать захотел.
- ЧАНТУРИЯ Таризл.** «Нагревается за день река...».
- ЧАРКВИАНИ Джансуг.** Глиняные кувшины.
- ЧИЛАДЗЕ Тамаз.** «Я помню дождь, восторженный, весенний...». Ингури.
- ЧУХОНЦЕВ Олег.** «Я был разбужен третьим петухом...». «Я назову тобой бездомный год...». Арбатский марш. Прощание с осенью.
- ШАЛАМОВ Варлам.** «Не спеши увеличить запас...». «Нынче я пораньше лягу...». После поездки. Над старыми тетрадями Баратынский.
- ШАХОВСКИЙ Борис.** Когда-то в госпитале.
- ШЕВЕЛЕВА Тамара.** «Когда дневная четкость слышится».
- ШЕФНЕР Вадим.** Первопутник. Лес осенью. Письмена. «Природа все ушла и взвесила...». Сводь.
- ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь.** Проблема преподавания. «Суббота — в девятнадцать лет...». «Не торопись трещать, будильник...». «Безлюдный берег Западной Камчатки...». «Канавы надо было вырыть летом...». Сон в океане. Баллада о верблюде-рыболове.
- ЩИПАЧЕВ Степан.** Сквозь дымку. На жатве.
- ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ФЕЛЬЕТНЫ, ВОСПОМИНАНИЯ, ЗАМЕТКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ**
- АКИМОВ И.** Герои-комсомольцы.
- АМЛИНСКИЙ Владимир.** История нормального мальчика.
- АРКАНОВ Арк.** Восемь с половиной.
- БАТАШЕВ Андрей.** Квнтет мастеров.
- БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр.** В предоктябрьские дни 1917 года.
- БРЕЖНЕВ В.** Секрет орловского хлеба.
- БУХАНОВ Виктор.** Лунное притяжение.
- Зеленое райское яблоко.
- ВАСИЛЬЕВ Сергей.** Полет на Гомель.
- ВАСИНСКИЙ А.** Письмо на «гражданку».
- ВАТОВА Е.** Волшебская трудовая коммуна и ее организатор.
- ВЕДЕРНИКОВ Е.** Счастливая акула капитана Чайки.
- ВОЛИН Павел.** Нескончаемая эстафета.
- ВОХМЯНИН Г.** Самый смешной случай.
- ГАЛЛ В.** Победа без выстрела.
- ГЕРШБЕРГ С.** Весна. Пятилетка. Юность. Без прикрас.
- ГИНЗБУРГ Евгения.** Студенты двадцатых годов.
- ГЛУХ З.** Кропоткинская.
- ГОГОЛЬ Б.** Искусство торговать.
- ГОРБ Бронислав.** Люди одной стройки.
- Голос прошлого.
- Пять секунд, шестая.
- Пятёрка по черчению.
- ГУДКОВ Игорь.** «Ничто не забыто...».
- ГУСЕВА Александра.** У могилы учительницы.
- ДАНИН Д.** Начало было так далеко.
- «Двенадцать дней одного года». (Почта «Юности»).
- ДОЛИНИНА Н.** «Никакого подвига он не совершил...».
- ЕЗЕРСКИЙ С.** Желаю счастья!
- ЕФИМОВ А.** Новые рубежи
- ЖУКОВ Н.** Праздник искусства книги.
- ЗАХАРЬКО В., МАРТЫНОВ В.** Завод отправился в разведку.
- ЗВЕРЕВ Илья.** Романтика для взрослых.
- З. Ю.** Случайное дело Воронина
- ЗЕРЧАНИНОВ Юрий.** Космическое Узморье.
- Клич на Крутицах.
- Четыреста шестьдесят первый толчок.
- ИВКИН А.** Кадиевская легенда.
- ИЛЬИН Виктор.** В комнате боевой славы.
- КАДЖАЯ В.** Алмазное дно Щугора.
- Винари — значит «Кто это?»
- Спасая Севан.
- Музыка, музыка.
- КАДЖАЯ В., ШМЫГАНОВСКИЙ В.** Свадьба большой панды.
- КАМШАЛОВ А.** Светлое пламя революции.
- КНИПЕР Вл.** Двенадцатый рейс.
- КОВАНОВ П.** Вы — молодые хозяева земли.
- КОНЕВ И. С.** В битвах за Москву.
- КРАМИНОВ А.** Кызыл-кумский пловчик.
- КРАУЗЕ Юрий.** Скрытой камерой.
- КУПЦОВ Иван.** «Куда ты скачешь гордый конь...».
- КУШНИРОВ Радий.** На деревне расставания поют...
- ЛЕВИНА С.** «Осторожно, варенье!».
- ЛЕВИТАН Юрий.** Говорит Москва.

ЛИХАНОВ Альберт. Сто везений Юрия Журавлева
 ЛУКАНИН В. Факелы над Ильинским.
 ЛУКЬЯНОВ С. Дом № 3 на Кудринской площади.
 ЛЫСЕНКО Л. Счастливого плаванья. «Сескар»
 «ЛЮБОВЬ И БУДНИ» (Отклики на письмо Инны Н.)
 МАХАТАДЗЕ И. Судьба «Маврикия»
 МИКОЯН А. И. Из воспоминаний о Серго Орджоникидзе
 МИЛЬЧАКОВ Ал. Тридцать восемь лет назад.
 «Моему дальнейшему потомству...». К 90-летию со дня рождения М. М. Литвинова.
 НИКИТИН Ю. Мы летаем на змее.
 Памятник любимому писателю.
 ПАПЕРНЫЙ З. Уважайте труд художников!
 ПЕТРОВ А. Дежурства в тот вечер не было.
 ПОГРЕБИНСКАЯ А. Незабываемые встречи.
 РОЗОВСКИЙ Марк. Неоновый треск.
 РОМАНЕНКО Я. Золотой венок советскому поэту
 РУМЯНЦЕВ А. М. Предвидимое Завтра.
 СИДОРОВСКИЙ Лев. Парень с «Красного Треугольника»
 Человек из песни.
 В карауле молодые деревца
 СОЛОМАТИН Н. Просроченная командировка.
 СТЕЛЬМАХ Александр. Сколько лет до города.
 СТРЕЛЬБИЦКИЙ И. Двенадцать дней одного года
 СТУЧЕНКО А. Т. Нас водила молодость.
 ТИМОФЕЕВ Лев. Татьянины яблочки.
 ТИХОНОВ Александр. Спор еще не окончен.
 ФЛИНТ Владимир. Я видел гнездо стерха.
 ЧУКОВСКИЙ Николай. В осаде.
 ШАПОРЕВ Юрий. Цветы саксау...
 ШЕВЕЛЕВА Екатерина. Дин Рид — гость «Юности»
 ШИРЯЕВ Владислав. Летопись «неунывак».
 ШТЕРИН Владимир. «Там, где я работаю».
 ШУР Михаил. Еще шестнадцать мальчиков
 ЗРЕНБУРГ Илья. О собаках.
 ЯКОВЛЕВ Б. Многогранен, как жизнь...
 «Мы партия новаторов...».
 По мандату долга

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

АЛЕКСЕЕВ А. Я — конференсье.
 АНИСИМОВ Гр. Живая палитра Москвы.
 Щедрость художника
 АНТОКОЛЬСКИЙ Павел. Николай Тихонов (К 70-летию со дня рождения).
 БЕРЕСТОВ Валентин. Встречи с Маршаком
 БУТОРИНА Я. Эстонские графики в поиске.
 ВАРШАВСКИЙ Я. Когда впечатления обманывают.

ВОЛЫНСКИЙ Леонид. На родной почве
 Суздальская зима
 «ВСТУПАЮСЬ ЗА УНИЖЕННЫХ». К 350-летию со дня смерти Сервантеса.
 ГЕЙДЕКО Валерий. Заводская проходная
 ГЕНРИ Эрнст. Чума на экране
 ГОРЯЕВ В. Микроскульптура Игоря Морозова.
 Думает, мечтает, советует Сергей Коненков.
 ЗУРАБЯН Т. Простое и великое. (К 90-летию со дня рождения С. Д. Эрьзы).
 ИВАНОВ О. Устремленные в будущее.
 КАЛАДЗЕ Карло. «Сквозь поколения и века»
 КАМЕНСКИЙ Александр. Музыка революции.
 КАРПИНСКИЙ Л. Нелюбимое зеркало «адепщины».
 КОЛОСОВ Марк. Под знаменем комсомола.
 КУЗНЕЦОВ Феликс. В мире боец...
 К зрелости.
 КУПЦОВ Иван. Художник взялся за перо.
 КУРИЛКО М. В добрый час!
 ЛАКШИН В. Разговоры с Маршаком
 ЛЕСНЕВСКИЙ Станислав. Силуэты времени.
 МЕДЫНСКИЙ Григорий. «Песенная поэзия Новеллы Матвеевой».
 МИЛЬЧАКОВ А. Партией воспитанные.
 НЕКРАСОВ Виктор. Глаз, рука, сердце.
 Первые премии Ленинского комсомола.
 ПРИЛЕЖАЕВА Мария. В мастерской художника
 Слово к нашим читателям.
 (Передовая статья)
 ТЕ ЛАН ВИЕН. Винтовки и дотосы.
 ФРОЛОВ В. Открытия и надежды.
 ШТРАУХ Максим. Сережа, Сергей, Сергей Михайлович.
 «Я, чье имя Руставели...» (К 800-летию со дня рождения поэта).

НАУКА И ТЕХНИКА

БИЛЕНКИН Дмитрий. Всемирно ли тяготение?
 БОБРОВ Л. Шестое чувство
 ВЛАДИМИРОВ С., КАРЕВ М. Информационный взрыв в науке.
 Вокруг земного шара
 КЛЕЙМАН А., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ О. Одно из чудес нашего века
 КОРЕНЕВ Владислав. Чувства глазами кибернетики
 ЛАДА И. Завтра — 2000-й год
 МАЛАХОВ Анатолий. Прорыв во времени.
 Новости советской науки
 ПЕТРОВ Рэм. Биологические химеры.
 ПОДОЛЬНЫЙ Роман. Человек: вчера, сегодня, завтра.
 РЕПИН Леонид. Они нас любят.

СПОРТ

БЕЛОУСОВА Людмила, ПРОТОПОПОВ Олег. «Полпула грации»
 БЕРМАН Александр. Человек на лыжах
 БЛИЗНЮК Семен. Скорость в упряжке.
 ВОРОНИНА (Артамонова) Инга. «Я учусь ходить по земле»
 ЗЕРЧАНИНОВ Ю. Тамара, Андрей и Наташа дают интервью.
 КАДЖАЯ В. Кто же финишировал первым?
 Какова спортивная жизнь?
 КУЧИНСКАЯ Наташа. Моя гимнастика.
 МЕЛЬНИКОВ Вячеслав. О не признанном тренере и при страстном репертере.
 НЕМУХИН Игорь. Радость гонки
 Приз «Юности» вручен
 Прогнозы, прогнозы...
 САМОЙЛОВ Н. На приз «Юности»
 САТИРОВ Георгий. Двадцать четыре часа в сутки
 СЕМЕНОВА Елена. Девяносто шесть.
 ТЭННО Георгий. Не культ, а культура.
 ФИЛАТОВ Лев. Плюс непо знаваемое.
 Чемпионы среди нас.
 ШЕСТЕРНЕВ Альберт. Счастье — союзник сильных

«ПЫЛЕ СОС»

АЗОВ М., ТИХВИНСКИЙ В. Басни с прописными истинами.
 АРК. Арк. Возьмут или не возьмут.
 ВИНОГРАДСКИЙ И., МИЛЯВСКИЙ О. Живая очередь.
 ГАЛКИНА Галка. Об истоках и потоках
 ГАБЕЛКО Вл. Где Худяков?
 ГОЛЕНДЕР Г. Как липку
 ГОРИН Гр. Почему повязка на ноге?
 Какая наглость!
 ИНИН Арк., ОСАДЧУК Л. Общее мнение
 ЖАМИТДИН Г. Штрихи.
 Каков вопрос — таков ответ!
 (Из переписки Галки Галкиной)
 КАМОВ Феликс. Хочу быть дворником
 КАРАБУТЕНКО Иван. Ворона на снегу
 КРИВИН Феликс. Маленькие новеллы.
 КУДИНОВ Михаил. Вопросы-тательный знак.
 ЛАСКИН Борис. Значение бороды в жизни молодого человека второй половины XX века
 МАРТАШВИЛИ Л. Инфаркт.
 МИН. Евг. Слон и Москва
 ПАНКОВ Вл. Жираф, который мог петь на радио.
 ПАРХОМЕНКО А. Осадка.
 Рыцарь обычая
 РЫКЛИН Г. Его любимое занятие
 СМОЛЬНИКОВ П. Моя бригантина
 СТАНИЛОВСКИЙ Наум. Юморески.
 ЯК. ЗИСКИНД. Зверь в очках

М



*На стендах
«ЮНОСТИ»*

В. ЧЕЛОМБИЕВ.
Угольный разрез.

В. МЯГКОВ.
Утро.



В. МЯГКОВ.
Портрет Абдулиной.



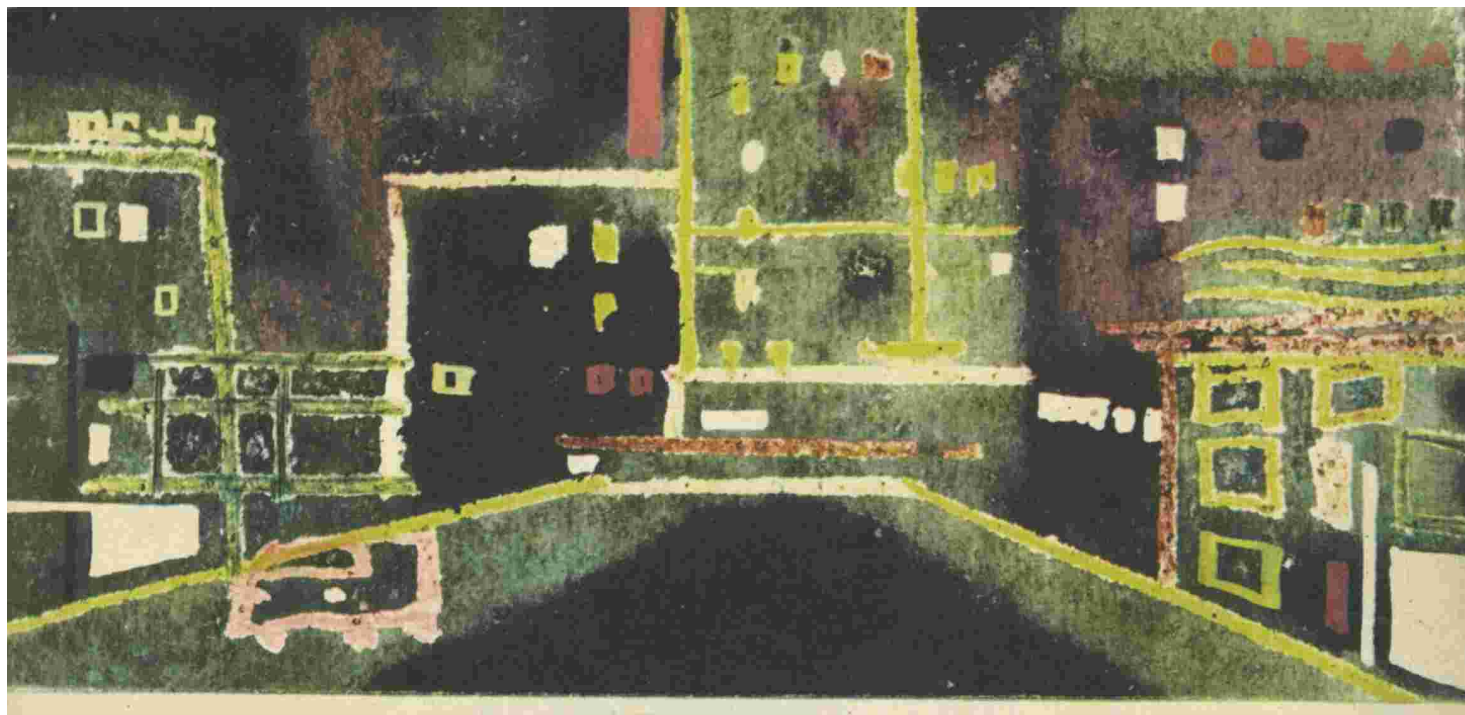
А. ИШИН.
Шмидтиха.

Из серии работ
«Три месяца в Норильске»:

художники

А. ИШИН, В. МЯГКОВ и В. ЧЕЛОМБИЕВ,
окончившие
Московский художественный институт
имени В. И. Сурикова
в 1966 году.





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120.